



Юрий
Давыдов

«TERRA» - «TERRA»

Scan Kreyder - 04.11.2019 - STERLITAMAK



БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Юрий Давыдов

СОЧИНЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том второй



ПЛАУ ВИНД,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕЙТЕНАНТОВ

ИДИ ПОЛНЫМ ВЕТРОМ

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.Р7
Д13

Оформление художника
Е. Мухановой

Оригинал-макет подготовлен
Гуманитарным центром «ЭПРОФ»

Д $\frac{4702010000-256}{A30(03)-96}$ Подписное

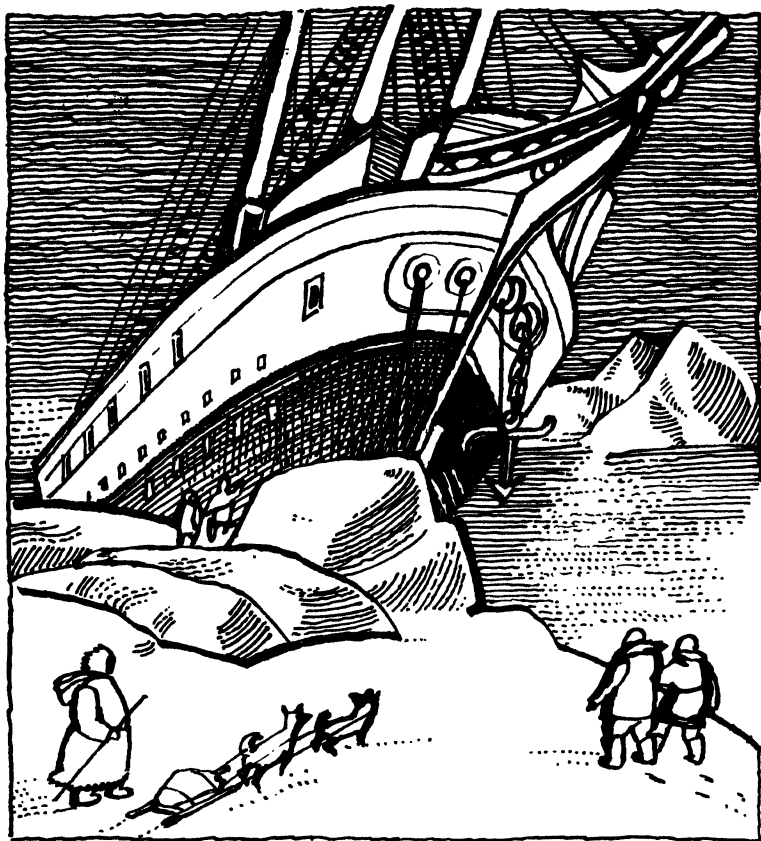
ISBN 5-300-00485-5 (т. 2)
ISBN 5-300-00483-9

©Издательский центр «ТЕРРА», 1996

ПЛАУ ВИНД, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕЙТЕНАНТОВ

Плау винд — сильный ветер, связанный с линией шквалов...

Прох Л. Словарь ветров



Часть первая

ПОЧИН «РЮРИКА»

Глава 1

«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»

Ударил набат, и лейтенант опрометью выбежал из дому.

Вот уже несколько дней Северная Двина гнала в море сизый ледолом. Над крутыми зазорами то натужливо скрипело, шуршало и ахало, то вдруг рвались раскатистые гулкие взрывы. А нынче за полночь река свирепо кинулась на Архангельск.

Лейтенант жил в Соломбале. В этом предместье были приземистые казармы, склады флотского имущества, рубленные избы, лесные биржи, выгоны.

Вешние паводки чуть не каждый год досаждали архангельским обывателям; нынешнее наводнение, однако, выдалось на редкость сокрушительное, и лейтенант Коцебу, как и все, ночь напролет спасал малых ребят, домашний скарб, казенное добро.

К рассвету Двина смирилась. Мутные воды ее медленно пятились, сыто урча и закручиваясь воронками, оставляя обломки льдин, поваленные изгороди, разбитые баркасы, вывоченные на берег купеческие суда.

А как уж развиднелось, соломбальцы, горюя и ругаясь, принялись ладить свои жилища, амбары да лавки, как это делали испокон века русские мужики после всяческих разорений.

Забот-хлопот было выше темечка. Ведь навигация стояла не за горами, и народ архангельский, накрепко связанный с морским промыслом, готовил снасть, суденышки, солонищу — словом, все, необходимое артельщикам.

День за днем пошел своим чередом навстречу северному лету, и у флотских жизнь тоже своим чередом потекла, и лейтенант Коцебу зажил той обыденщиной, какой живал уж не первый год.

Играли зорю. Заспанные матросы разбирались поротно. Разобравшись, справив переключку, отправлялись на работы; на епанчах, похожих на плащи, поблескивали медные литеры: «А» — артиллерист, «Э» — экипажский, «М» — маячный...

В ранний холодно-розовый час сходились на верфях мас-

теровые, строители кораблей. Завидев коренастого краснолицего дядю, ломали шапку: «Андрею Михалычу почтение!» То был Курочкин, знаменитый не только в Архангельске, но и в Санкт-Петербурге, «мастер доброй пропорции».

Лейтенанту Коцебу по душе были адмиралтейские верфи. Ему нравились скупо-хозяйские распоряжения Курочкина, люб был запах металла и дегтя, шум работ.

Но вот и Двина, и заливы очистились ото льда, небо будто изнутри высветилось, и солнышко глядело веселее, и уж сыростью не пронимало до хрящиков, — пришла пора: беломорская навигация открылась.

Коцебу еще мичманом ходил под звездами Севера. На «Орле» плывал из Архангельска в Кронштадт, в столицу российского флота. Там, на Балтике, получил военный транспорт с невоенным именем «Фрау Корнелия». «Фрау» была первой, которой командовал он самостоятельно. И тогда же стал «первым после бога», как величали моряки командиров кораблей. А потом снова отрядили лейтенанта в Белое море, и вместо транспорта досталась ему военная яхта «Ласточка».

Учебные, или, по-тогдашнему, практические, плавания продолжались до октября. В октябре усталая флотилия салютовала Архангельску. Корабли разоружали. Матросы перебирались в солонгальские казармы, господа офицеры — во флигели, на частные квартиры.

Ложилась зима. К рождеству, смотришь, снегу навалило под застрехи. В улицах скрипел санный полоз, заиндевелившие лошаденки, мотая головами, везли на флотские склады сосну, срубленную у двинских берегов, вологодский мачтовик везли, и чугунные балластины с уральских заводов, и олонецкую парусину. Обозники с седыми бровями и бородами вразвалку шагали подле саней, звучно прихлопывая рукавицами.

Лейтенант зимовал в жарко натопленном флигеле. Досуга было вдосталь. Он много читал. Потом, отложив книги, брался за перо и писал в Петербург.

В Петербурге в Морском корпусе служил его первый флотский наставник Иван Федорович Крузенштерн. Пятнадцать лет стукнуло Отто, когда Крузенштерн, родственник, как говорится, десятая вода на киселе, взял его в дальнее плавание. Напрямик, с порога объявил Иван Федорович, чтоб не ждал вьюноша жизни праздной и коли решил на морскую судьбину, то должен быть готов ко всему. За три года кругосветного плавания Крузенштерн сделал из Отто «соленого» моряка. А когда воротилась «Надежда» в Кронштадт, обнял его и благословил: «Ну, братец, спущен корабль на воду — сдан богу на руки. Служи честно!»

И вот теперь лейтенант писал капитану первого ранга. Благодарил за выучку, писал, что службой доволен, яхтой

своей и подчиненными тоже доволен. Да только вот реет душа, как соловецкая чайка: попытать бы силушку, опять узреть Великий, или Тихий, где столько неизведанного. Он-де прослышал, что купеческая Российско-Американская компания посылает корабль в свои владения, просил назначить капитаном. И что же? Вежливый отказ... по молодости лет. А ведь ему, черт возьми, третий десяток, и уж не один год он «первый после бога».

За стеной, у соседей, рвали гитарные струны, хмельные голоса несли вразнобой:

Мы будем пить,
Корабль наш будет плыть
В ту самую страну,
Где милая живет!

Коцебу сидел пригорюнившись.

Глава 2

ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Львы спали на снегу. Хлопья снега густо забелили их гривы и спины. Было холодно, ветрено; они угрюмо спали.

Швейцар отворял высокие двери, свет из сеней падал, и чудилось, что на львиных насупленных мордах проступает свирепое недоумение.

Каменные львы возлежали у парадного подъезда дома номер 229 по Английской набережной. Дом был большой, в три этажа, фасадом на Неву, а двором и воротами — к Галерной улице.

В доме жил Николай Петрович Румянцев. Сын знаменитого полководца, холостяк и богач, граф лет сорок подвизался на дипломатическом поприще и удостоился звания государственного канцлера. По табели о рангах это звание равнялось фельдмаршальскому; осталось оно за Николаем Петровичем и после «удаления от дел».

Человек независимых суждений, Румянцев обзавелся сонмом недругов в вельможном Петербурге. Однако Александр I не без колкости говаривал им: «Граф никогда и ничего не просил у меня для себя, тогда как другие просят почестей и денег то для себя, то для родных».

Впрочем, если бы Румянцев только и был что дипломатом, министром да канцлером, имя его вошло бы в длинный перечень высших сановников империи, и только. Но старик из дома на Английской набережной числился в другом, куда более почетном списке.

Матушка-Русь видывала немало чудодеев всяческих — любителей рысаков и псарен, оранжерей и балета, кулинарии и пиротехники. Румянцев слыл покровителем науки. И не просто меценатом, но подвижником науки.

Вечерами к освещенному подъезду графского дома редко подкатывали кареты с гербами. Скромные партикулярные люди, офицеры в морских шинелях, тыча ноги в морды каменных львов, обивали снег. Посетителей не мытарили в прихожей; они поднимались пологой мраморной лестницей во второй этаж, и Николай Петрович радушно усаживал гостей у камина.

Давно дружествовал Румянцев с Крузенштерном. Знакомство завязалось еще в ту пору, когда капитан готовил корабельный поход вокруг света. Поход совершился, открыв эпоху русских «кругосветок». После плавания Крузенштерн занялся обработкой материалов путешествия, а вечерами нередко навещал дом на Английской набережной.

В библиотеке, у камина из темно-розового орлеца¹, Румянцев и Крузенштерн обсуждали проект, воспламенявший их воображение. О, если б удалось снарядить такую экспедицию! Именно теперь, когда сокрушен Наполеон.

— Вот, вот, сударь мой, — толковал граф, — как тут не вспомнить великого Петра? Помните? «Ограда отечеством безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государства чрез искусства и науки». Золотые слова, сударь мой!

Крузенштерн улыбался. И впрямь, что может быть лучше: находить славу государства чрез искусства, чрез науки? И знает петровский завет Николай Петрович назубок. Да и как же? Слова-то дедовы. Да-да, дедовы, ведь батюшка Николая Петровича, фельдмаршал Румянцев-Задунайский, не только тезка царя-преобразователя, но и его побочный сын... Было о чем поразмыслить графу Румянцеву и капитану Крузенштерну: лет тридцать, как в забвение канула великая географическая задача. Лет тридцать, не меньше. А бились над нею веками.

О, если б мановением волшебного жезла явились они в эту залу, за окнами которой летучая мгла и метель Петербурга! Сколь их было, известных и безымянных? У, какая толпа окружила бы Румянцева и Крузенштерна, задумчиво вперившихся в огонь камина! Они были разными, эти британцы, навигаторы и шкиперы, эти горемычные искатели Северо-западного пути. Но одна мечта, неотвязная, как бред, как лихорадка, томила их души: найти короткий путь к лучезарной Индии, к душным и влажным островам пряностей, к узорчатому прибою, бьющему в берега Китая.

¹ Орлец — старинное русское название минерала родонита.

Дорогой вокруг Африки и далее — Индийским океаном, по зеленым и длинным его валам, — владели удачливые мореходы с Пиренейского полуострова. Поручкой в том были и корабельные флаги с изображением крепостной стены и пяти рыцарских щитов, и пушечные жерла, похожие на люки в бездну, и жилистые воины, не знающие пощады, и торжественно-гулкие католические мессы. Дорога вокруг Африки и далее — Индийским океаном была занята.

Оставался британцам мрак и ужас Севера, гнездилища злых духов. Там, за бурной гибельной далью, мерещились королям и королевам, лордам и купцам увесистые, как ядра, слитки «благородного» металла; гладкие, как голени красавицы, слоновьи бивни; жгучие, как ослепительный блеск, зерна перца. Эй, кто охотник попытать счастье? Есть ли храбрецы в портовых харчевнях старой Англии? Ни бога ни черта не страшатся голодранцы и молчаливые кормчие, позабывшие, что такое улыбка. И вот уж валки смоленые суда покидают туманную родину, белые скалы ее.

Многие исчезали без вести, как дымчатые облака. Иные возвращались. Над их путевыми записями морщили лбы картографы, строгие и важные, как алхимики. Когорта капитанов, навигаторов, штурманов: Джон Девис, Генри Гудзон, Вильям Баффин... Десятилетия слагались в века, надежды сменялись разочарованием. Но вновь трясли мощной купцы и лорды, вновь парламент сулил награды, и сургуч королевской печати вновь отягощал инструкции капитанов. В XVIII веке даже самые пылкие поняли: не легок, не короток Северо-западный путь, не обещает он солидных выгод в торговле с Китаем и Индией, нет, не обещает. И все же он нужен, очень нужен тем, кто утвердится в просторах Канады...

Если бы мановением волшебного жезла явились они сюда, в эту залу, за окнами которой летучая метельная мгла, если бы они явились, искатели великого пути, то был бы среди них и тот, в ком воплотился мореходный гений английской нации, — капитан Джеймс Кук. Его корабли были некогда у берегов Аляски. Не из Атлантики, а из Тихого океана толкнулся к воротам Северо-западного пути капитан Кук. Увы, даже ему не суждено было отворить те ворота — полярный Нептун отпугнул упряма...

Играет, пышет жаром камин из темно-розового орлеца, тени колышутся на бронзовой решетке. Есть о чем поразмыслить графу Румянцеву и капитану Крузенштерну: великая загадка, «оставленная Европою, яко неразрешимая».

Львы бодрствовали. Было светло и тихо, как бывает в Петербурге майскими вечерами. Фонарь в сенях не горел, и

когда швейцар отворял высокие двери, на львиных мордах сохранялось выражение хмурой грусти.

В один из тех вечеров матрос-денщик принес пакет, адресованный его сиятельству. В пакете была записка на двух больших листах. Граф прочел строки, выведенные аккуратной рукой военного писаря:

При сем имею честь представить Вашему высокопревосходительству смету издержек предполагаемой экспедиции. Не могу скрыть от Вашего превосходительства, что хотя 50 000 рублей за корабль Вам, конечно, покажется много, но весьма сомнительно, чтобы можно купить оный дешевле, ежели будет снаряжен для дальнего вояжа.

Жалованье полагаю командиру 2000, а лейтенанту 1000 рублей, что составляет не более того, чем пользуются офицеры на военных кораблях в чужих краях, получая жалованье свое серебром; но не деньги, а слава может служить побуждением участвовать в таком знаменитом вояже...

Далее был перечень расходов.

Николай Петрович сложил листки и спрятал в ближний ящик затейливого бюро.

Однако месяцы минули, прежде чем автор записки пожаловал к Николаю Петровичу. На сей раз с рукописью, обряженной в твердый переплет: «Начертание путешествия для открытий, сочиненное флота капитаном Крузенштерном».

Итак? Итак, будущая экспедиция предпримет «покушение к отысканию» начала Северо-западного прохода. Для этого надобно совершить огромное плавание от стен Кронштадта через три океана до скал Аляски.

Иван Федорович взял аспидную доску и грифель: худо, совсем худо стал слышать Николай Петрович. Приходится наскоро, обрывая фразы, чиркать грифелем по доске...

План составлен, расходы определены. Кого избрать исполнителем? И Крузенштерн называет лейтенанта Коцебу.

Очень способный. Нет, нельзя нынче пригласить: в Архангельске. В службе десять лет. Молод? У молодых больше рвения, горячее кровь. Был в кругосветном. Умеет производить астрономические наблюдения и вычисления по ним. Да, это важно. Англичане не доверяют хронометрам, он, Крузенштерн, знает цену этому инструменту, приохотил и Коцебу. Экипаж? Набрать бы из наших военных моряков.

«Я, — писал грифелем капитан, — шесть лет был в английском флоте. Много дивлюсь искусству тамошних моряков. Однако избрал бы для опасного предприятия одних только русских».

Румянцев поднялся, в задумчивости отошел к окну. Неув кровавил багровый, чуть не в полнеба закат. Мелкие волны

покусывали гранит набережной. Пахло вечерней свежестью, речной водою и, кажется, дальним ельником.

Ну что же, граф Румянцев добьется перевода Коцебу на Балтийский флот. Он попросит об этом у морского министра... Правда, после отставки он неохотно навещает министров, особенно этого шаркуна — маркиза де Траверсе. И еще у него будет просьба: командировать господина Крузенштерна в Лондон — купить приборы у Баррода, карты — у Эрроусмита, все самое лучшее. А по пути за границу пусть-ка Иван Федорович не потяготится заглянуть в финский главный город Або¹. Хорошая верфь, и мастера хорошие. Он, Румянцев, еще лет эдак двадцать назад тому был наслышан про тамошнюю верфь... Как он наречет бриг? О, это уже решено. Граф Николай Петрович корпит над древностями российскими, так вот, бриг нарекает он «Рюриком».

Глава 3

В НЕПТУНОВОЙ ЛЮЛЬКЕ

Под дугой коренника лопотал колоколец: «Гони, денег не жалей, со мной ездить веселей, гони, денег не жалей, со мной ездить веселей...» Заяц выскочит на большак, прижмет уши да и задаст стрекача, петляя и подпрыгивая. Ямщик на облучке перекрестится: «Ду-урная примета».

А барин завернулся в тулуп, барину мысли покоя не дают: как-то примет «молодого мореходца» его сиятельство канцлер Румянцев? Иван-то Федорович заверил: пошлет-де тебя граф, непременно пошлет, приезжай только поскорее, милый друг. А не ровен час, отказ... Что тогда? Легко сказать — приезжай скорей! Сколь времени понапрасну убито, только вот недавно получили в Архангельске приказ: отрядить в Санкт-Петербург господина флота лейтенанта Коцебу.

В ямских станах обдавало сосновым жаром. Становихи собирали на стол. Хорошо было в натопленной избе, но Коцебу не сиделось — он торопил с подставой. И, умащиваясь в сани, закутываясь в тулуп, опять понукал возницу.

— И-эх, барин, — ворчал ямщик, — куда-а спешишь, все там будем. — Но лошадей погонял, предвкушая чаевые. Полосатым шлагбаумом начался державный стольный град.

— Пожалуйте-с подорожную, — просипел унтер.

Шлагбаум поднялся. Кибитка въехала в город: каменные ряды домов, решетки, горбатые мостики над замерзшими ка-

¹ Або — ныне город Турку в Финляндии.

налами. Ямщик осадил на Малой Морской, у трактира «Мыс Доброй Надежды». Лейтенант скорым шагом вошел в трактир. Велел подать рябчика и водки.

— За добрую надежду! — сказал он себе и осушил чарку.

Даже Ревель¹ не радовал — милый, тихий, опрятный Ревель, городок его детства. Пусть гордо взирают башни Вышгорода и шпиль Олай-кирхи вонзается в небо; пусть звучит органный хорал в старой церкви, окруженной каштанами, а белесое море оглаживает прибрежные камни. Что ему до того? Ведь нет и нет окончательного решения!

Вот уже несколько месяцев, как Коцебу на Балтике. Уже свиделся он и с Крузенштерном и с Румянцевым. Свидание было непродолжительным. Румянцев обещал решение свое сообщить письменно.

Крузенштерн передал потом, что Николай Петрович остался весьма доволен молодым моряком и очень хвалил рвение, с которым тот стремился в поход. Но хвалить-то хвалил, а письма все еще не было. На беду, и самого Ивана Федоровича не было ни в Петербурге, ни в Кронштадте: в Лондон уехал Иван Федорович.

Но пришел конец ожиданию. Счастливый лейтенант схватил перо:

Письмо Вашего сиятельства принесло мне неописанную радость. С получением его мне казалось, что я уже плаваю на «Рюрике», борюсь с морями, открываю новые острова и даже самый Северный проход; но, опомнясь, нашел, что еще далеко от сей цели. Главная моя забота есть та, чтобы корабль сооружен был прочным образом; медная обшивка есть один из важнейших пунктов, и потому приступаю к ней прежде всех. «Рюрик» будет обшиваться медью в Абове...

И он поспешил в Або.

Городок в глубине Замкового фьорда, на берегу реки Аура, встретил лейтенанта приветливо. Может, так казалось оттого, что Коцебу пребывал в отменном расположении духа. Впрочем, правду сказать, город был куда как хорош: прямые чистые улицы, старинный замок, где кочевали тени рыцарей и златокудрых дев, университет, основанный еще королевой Христиной, и этот изящный рисунок — мачты и рей над гаванью, в шхерах, среди островков.

А лучше всего — можно побиться об заклад, — лучше всего — верфь, существующая с 1740 года. И боже мой, сколько судов родилось тут! Сколько судов начало на абоской верфи свою

¹ Ревель — ныне город Таллинн.

жизнь, беспокойную, как само море, как сама Нептунова люлька.

И здешний «мастер доброй пропорции» напоминал архангельского Курочкина неторопливой уверенной повадкой, скупостью слов и жестов. Да и народ был ему под стать: честные финны, неутомимые и молчаливые. А фамилия мастера, одна только фамилия внушала доверие — Разумов.

Русская балтийская эскадра вот-вот должна была вернуться из плавания в европейских водах. В дни шумных празднеств по случаю окончательного одоления Наполеона корабли посетили дружественную Англию. Потом во французском порту Шербур они приняли на борт русских гвардейцев. Теперь эскадра шла домой.

Кончится кампания, и Коцебу, пользуясь дозволением начальства, выберет для своего брига лучших из лучших матросов. И не силком, нет, по доброму согласию. А в составе эскадры — бриг «Гонец». А бригам командует давний приятель, тоже лейтенант. Лейтенант Глеб Шишмарев. Вот бы сманить Глебушку на «Рюрик»! То-то бы здорово! Но тут, однако, загвоздка: Глеб-то произведен в лейтенанты годом ранее Коцебу, да и раньше Отто ступил на палубу. А посему захочет ли еще Глебушка идти вторым «после бога»? Вот в чем загвоздка... Остается уповать на покладистый Глебов нрав. И в расчет еще следует принять, что плавание предстоит славное. Нет, согласится Глеб, непременно согласится. Ведь пошел же Лисянский под началом Крузенштерна, а Юрий Федорович тоже был старше да и нравом ой как крут.

Пришла балтийская эскадра. Встала на якоря частью в Ревеле, частью в Кронштадте. Коцебу, не мешкая, занялся набором добровольцев. Дело сладилось скоро: охотников оказалось с лихвой. Плохо только — Шишмарева в Ревеле не было, обретался Глеб не то в Кронштадте, не то в Питере.

Минули святки, ударили крещенские морозы.

В один из тех студеных дней, в послеобеденный час, когда ревельцы, посасывая трубки и прихлебывая кофий, вели ленивые, с потяготливой зевотцей беседы, вдруг на улицах слышалась песня:

Воет ветер, рвутся снасти,
Прощай, любя моя Настя...

И с двупалым свистом грянул басовитый хор:

Ай, калинка, ай, малинка,
В море не нужна нам жинка...

Матросы шли в сторону Нарвского тракта.

Затрещала парусина,
Прощай, милая Арина.

Ай, калинка, ай, малинка,
В море не нужна нам жинка...

Смолкла песня, поземкой занесло след матросских сапог. А домоседы-ревельцы все еще качали головами, жалея служивых, которых погнали бог весть куда в эдаку-то холодину.

Погнали матросов сперва в Петербург, оттуда — в Або, где достраивался бриг «Рюрик». Было матросам хоть и нелегко «на пешем ходу», да зато уж вольно, и радовались они, что надолго оставили «за кормой» и казарму с дымными печами, и утоптаный плац, где часами гонял их фельдфебель, добиваясь «справного фрунту».

Дорогой в Або шли будущие «Рюриковичи», были с ними теперь двое офицеров: и сам капитан Коцебу, и друг его — рослый, круглолицый Глеб Семенович Шишмарев. Согласился-таки Глеб на второго «после бога». Да и то сказать: чье сердце не дрогнет от зова дальних странствий? Вторым так вторым, решил Шишмарев. Ведь не с кем-нибудь, а со старым приятелем, с Отто Евстафьевичем.

Ветер швырял сухой снег. Финские сосны гудели над головой, как ванты. Всхрапывали лошади, тащившие сани с рундуками и харчем.

Лейтенанты приглядывались к служителям. Народ подобрался молодцы молодцами. Только вот кузнец корабельный Цыганцов заметно приуσταвал к вечеру. Однако отшучивался: «Помилуйте, ваше благородь, это так, пустяки, не привычен я к сухопутью».

Двенадцать дней взяла дорога из Петербурга в Або. Наконец в сумятице метели возникли блеклые огни, запахло дымом. И потянуло всех в теплынь — шинели скинуть, разуться, в бане попариться, спросить самоварчик.

Граф Румянцев диктовал письма. Писарь быстро и округло водил гусиным пером, исписав лист, посыпал чернила песком из фарфоровой песочницы, похожей на перечницу.

Николай Петрович адресовался в Лондон, Мадрид, Лиссабон, Филадельфию: вскоре, дескать, отправляется в ученое плавание российский бриг «Рюрик», а посему он, канцлер Румянцев, покорнейше просит оказывать экипажу всяческое содействие.

Посланники и консулы отвечали в дом на Английской набережной, что известия о вояже «Рюрика» уже опубликованы в разных газетах, что правительства Англии и Испании, Португалии и Американских Соединенных Штатов не находят препятствий для означенного вояжа и уже сделали указания губернаторам, вице-королям, начальникам приморских крепостей и командирам портов.

Успокоительные вести долетали и от Крузенштерна, командированного в Лондон.

Иван Федорович в английскую столицу попал в хорошее время. То был медовый месяц русско-английских отношений. Словно позабылись недавние распри: и союз русского царя с императором французов, самого страшного врага Британии, и устремление петербургского двора к черноморским проливам, весьма неприятное англичанам. Говоря по правде, все это вовсе не было забыто, но заслонились событиями 1812—1814 годов. В Англии ясно сознавали: наступление от Москвы-реки до Сены спасло не только Европу, но и «жемчужину английской короны» — ведь Наполеон Бонапарт грозился маршировать по русским печальным равнинам к поднебесным индийским рубежам и далее, в сказочный край...

Теперь, после разгрома наполеоновской Франции, даже в британском адмиралтействе, где особых симпатий к русским морским силам никогда не питали, — теперь даже в адмиралтействе радушно встретили капитана русского флота...

И вот Иван Федорович, к радости старика Румянцева, благополучно вернулся, вот он снова сидел в доме на Английской набережной — белобрысый, с серыми, несколько выпуклыми глазами, долговязый, — сидел и рассказывал, пользуясь грифелем и аспидной доской.

Он был счастлив доложить его сиятельству, что ученая экспедиция на «Рюрик» весьма интересуется секретаря британского адмиралтейства сэра Джона Барроу. Путешественник и географ, сотрудник журнала «Квартальное обозрение», сэр Джон, пожалуй, самый ярый в Англии поборник поисков Северо-западного прохода. Признаться, сэр Джон раздосадован русским почином. Однако досада не помешала ему помочь Ивану Федоровичу. Извольте знать, ваше сиятельство, некий мастер Фингам изобрел прекрасную спасательную шлюпку с воздушными ящиками, и сэр Джон приказал изготовить такую же для «Рюрика». Кроме того, Барроу настоятельно советует купить мясо в запаянных банках — оно долго сохраняется и, конечно, куда полезнее и вкуснее солонины... А вот, ваше сиятельство, карты, у лучших картографов приобретены. Кто знает, не суждено ль молодому мореходцу не токмо исправить, но и дополнить эти карты? Надежда к тому всякая: ведь «Рюрик» долго и много будет в южных широтах, а они тороваты на сюрпризы...

Граф извлек из зеленого бювара плотный лист. Крузенштерн прочел копию протокола заседания комитета министров:

Так как г. государственный канцлер отправляет корабль свой вокруг света из патриотического усердия к пользе государства...

снабдить означенный корабль надлежащим патентом для поднятия на оном военного флага.

Уж кто-кто, а он, капитан флота Крузенштерн, знал, что военный флаг в чужих широтах есть свидетельство наиважнейшее: кораблю под таким флагом следует оказывать уважение, ибо он представляет державу.

На верфи собрались абоские жители. Бриг сиял медью обшивки. Грянул оркестр, бриг сошел со стапелей под звуки труб. Он взметнул искрометный вал, накренившись с борта на борт, погасил рыжие всполохи меди. И Коцебу, позабыв об угрюмой солидности, приличной «первому после бога», подбросил шляпу и закричал: «Ура!» И это «ура» подхватили Шишмарев и Разумов, артельщики и матросы, рыбаки и ребяташки — все, кто видел спуск корабля на воду. Музыка грянула громче. Матросы и корабельных дел мастера не спеша, без толкотни стали подходить к бочонку с водкой, подле которого стоял, степенно раздувая усы, подшкипер Никита Трутлов.

И вскоре уж отправились моряки из Або в Ревель. В Ревеле взяли астрономические инструменты и хронометры, привезенные Крузенштерном, потом поспешили в Кронштадт — грузиться.

Плыли уж длинные светлые дни и короткие белые ночи. В трубу можно было разглядеть цветные фейерверки Петергофа и Ораниенбаума. А морякам не до празднеств, не до развлечений: знай свое хлопотливое дело, готовься, моряк, в плавание не на месяц, не на два — на годы.

Бот № 118 доставлял из Петербурга всевозможные припасы. Скрипели на бриге блоки, орал боцман, топали матросы. Принимай тюки с одеждой и бельем, ящики с крупами и маслом, полные пресной водой огромные, на 60 ведер, бочки, укладывай свинец и порох... Все на бриге так и кипело. А купцы уже подписывали «Генеральный щет его сиятельству графу Николаю Петровичу Румянцеву».

В те суматошные дни на «Рюрик» явились двое молодых людей: один подвижный, смуглый, лет двадцати; другой постарше, сухощавый, с размеренными движениями и добрыми близорукими глазами. Первый был живописец Логгин Хорис; второй был медик Иван Эшшольц.

В конце июля 1815 года пожаловал на «Рюрик» сам Румянцев, а с ним капитан Крузенштерн и кронштадтское начальство в адмиральских чинах. Они придирчиво осмотрели корабль, нашли везде образцовый порядок. Граф Николай Петрович перекрестил и обнял Коцебу. Крузенштерн расцеловался с офицерами, обернулся к матросам, поднял руку:

— В путь, ребята! С богом!

ПОЭТ И НАТУРАЛИСТ

Карета, стуча большими колесами, подкатила к отелю «Белый орел». Кучер в широкополой шляпе проворно спрыгнул с козел и отворил дверцу кареты. В тот же миг на порог отеля выскочил хозяин-пузанчик и, обдергивая куртку, низко кланяясь и улыбаясь, зачистил:

— Добрый день, сударь, милости просим, сударь...

Приезжий потребовал комнату во втором этаже и чтобы непременно окнами на рейд.

Хозяин проводил гостя и, одолеваемый любопытством, быстренько скатился по лестнице, чтобы потолковать с кучером. Увы, этот пентюх только и мог сообщить, что господина зовут Адельберт фон Шамиссо и что он, сдастся, ничего себе, хороший, а впрочем, кто его там разберет.

Утром гость спросил перо и чернила. Хозяин, войдя в комнату, застал его у распахнутого окна с «долландом» в руках: господин озирает рейд в подзорную трубу, сработанную в лондонской мастерской знаменитого Джона Долланда.

Туман над рейдом уже истаял. Матросы купеческих судов выгружали заморские товары. Сторожевой фрегат выбирал якорь. Несколько баркасов с алыми парусами неслись, как наперегонки, к морю. Этот поспешный бег алых парусов ничего не подсказал владельцу «долланда». Между тем суда с далеко приметными парусами принадлежали копенгагенским «лоцманам, — они спешили встречать какое-то иностранное судно.

Шамиссо положил «долланд», сел к столу. Письма были для него литературным занятием, и нынче Адельберт предался ему с особенным удовольствием, потому что под окнами бойко шумел порт — романтическое место, где начинается столько удивительных приключений. Шамиссо, однако, не успел навести глянец на послание к Эдуарду Хитцугу, ибо услышал смягченные расстоянием пушечные удары.

Буум... Буммм... Округлые, как ситнички, облачка возникли вдаль. Семь раз ударили пушки — корабельный салют столице Дании. Ветер распластал пороховой дым, прижал к волнам, и перед Шамиссо картинно означился двухмачтовый бриг.

В тот же день, в девятый день августа 1815 года, Адельберт переправил багаж на борт русского брига «Рюрик». А поздним вечером он возлежал на койке в тесной каюте и, потягивая трубку, размышлял, как в одно краткое мгновение могут меняться обстоятельства жизни...

Ему было тридцать четыре года, этому отпрыску старинной фамилии. Родители его некогда бежали от «ужасов»

французской революции, ребенком завезли его в немецкие земли. Пятнадцати лет он стал пажом бледногубой королевы Луизы, восемнадцати — надел офицерский сюртук. Однако ни дворцовый паркет, ни вахтпарады не прельстили Адельберта. Дворянскую шпагу променял он на тяжелый посох странника: бродил по дорогам, осененным яблонями и вишнями, перебивался случайными заработками и слагал стихи, как мейстерзингер. Он сочинял по-немецки, но в строфах стихов, как и в его жилах, пульсировал галльский гений — прозрачный, четкий, солнечный!

В восемьсот десятом году Шамиссо посетил Францию. Ему не пришлось по душе золотые пчелы Наполеона. Императорскому Парижу предпочел он вольнолюбивую Швейцарию.

Потом Адельберт опять появился в Берлине: его манил университет. С прилежанием, не свойственным вдохновенным пиитам, он принялся за естественные науки. А как-то летом, поселившись за городом, единым духом написал своего «Петера Шлемиля» — очаровательную сказку, покорившую самого Гофмана.

Зимой восемьсот пятнадцатого года молодой натуралист прослышал о русской кругосветной экспедиции. Это было первое после долгих войн ученое путешествие. Но как, как участвовать в нем? Выручил случай — верный слуга мечтателей, способных действовать. Один из друзей Адельберта, Эдуард Хитцуг, водил знакомство с писателем Августом Коцебу. Писатель был плодовит и бездарен. Но Хитцуг, кривя душой, строчил хвалебные и почтительные письма: ведь сочинитель приходился отцом капитану Коцебу и родственником капитану Крузенштерну. А ради друга Адельберта разве не стоило малость покривить душой? И вот фортуна, как говорится, улыбнулась — из Петербурга пришло согласие. Тогда-то и наш поэт, подобно герою своей сказки Петеру Шлемилю, надел семимильные сапоги.

С первых же дней Шамиссо почувствовал дух корабельного товарищества, непритязательного и, быть может, грубоватого. Больше других ему приглянулся медик Эшшольц; он мысленно называл его «лучшим парнем в мире».

Поболтав с живописцем Хорисом и увидев рисунки, Шамиссо решил, что юноша — «добродушие в большей степени, нежели искусство»; впрочем, подумалось ему тут же, этот Хорис совсем неплохой портретист.

Капитана наблюдал Шамиссо в часы судовых работ. Адельберт хорошо помнил прусских плацпарадных болванов, и ему нравилось, что капитан строгостям внешней службы предпочитает заботу о здоровье и отдыхе команды, нравились его энергия, свежесть молодости. Что же до лейтенантов, то Шишмарев показался ему «круглой сияющей луной», и

Адельберт с удовольствием слушал его раскатистый добродушный смех. Но вот Иван Захарьин неприятно поражал какой-то болезненной раздражительностью.

Когда бриг подходил к английским берегам, Шамиссо уже сочинил краткие аттестации «рюриковичам». Он намеревался сообщить их Эдуарду Хитцугу. О себе же решил написать иронически: пока он только «пассажир на военном корабле, где не полагается иметь пассажиров».

Глава 5

К МЫСУ ГОРН

Пассат гудел в вантах. Ночами летучие рыбы шлепались на палубу. Гремели ливни. И налетали шквалы, сменяясь незначай ленивыми штилями. Атлантикой шел «Рюрик».

В чередѣ походных будней выдался однажды день, когда на грот-матче забелела афишка, извещавшая, что ныне будет дана «пѣса собственного сочинения — «Крестьянская свадьба».

В закатный час, золотой и тихий, собрались все в той части корабля на верхней палубе, где обычно читали приказы и не разрешали сидеть. Но теперь шканцы походили на деревенскую околицу.

Пѣса «собственного сочинения» оказалась не ахти какой, но зрители надорвали животики. Уж очень позабавила их «невеста» с насурмленными бровями, с ватными бедрами, в цветастом платке.

— Ай да Тефей! Штукарь! — раздалось со всех сторон при выходе «невесты», в которой зрители тотчас признали Тефея Карьянцына. — Давай ходи, покачивай! Ну и девка!

Жениха играл матрос Прижимов, черный как жук, быстрый, ловкий. Свахи, родители невесты и жениха, дружки — все это были бравые служители «Рюрика». Да и оркестр из них же: балалаечники, ложечники... А после спектакля «партер» сорвался с места: пошел забубенный перепляс, палуба под сапогами покрывала.

Такие увеселения на корабле, находящемся в дальнем плавании, покажутся, может быть, кому-либо смешными, — писал Коцебу, — но, по моему мнению, надо использовать все средства, чтобы сохранить веселость у матросов и тем самым помочь им переносить тягости, неразлучные со столь продолжительным путешествием...

Близилась Бразилия. Невдалеке от матерого берега на «Рюрик» рухнула буря. Она рвала и метала с ночи до полудня.

Потом шторм медленно растратил свою ревущую силу. Волны побежали с глухим рокотом, словно бы ворча: «Мы довольны, мы нагулялись, с нас хватит...» Морякам открывался, как на театре, Новый Свет: остров Святой Екатерины, португальская крепость Санта-Круц.

На следующий день начались официальные визиты в городок, который носил звучное и длинное имя — Ностра Сеньора дель Дестерро¹. Он был притиснут к океану крутыми горами, плотными тропическими зарослями.

Сойдя со шлюпки, Коцебу быстрым машистым шагом миновал белые каменные домики с большими окнами без стекол, немощеную площадь с плохонькой церковью и явился в резиденцию губернатора.

Губернатор де Сельвейра скучливо выслушал сообщение о том, какой корабль пришел в бухту, куда он следует и в чем терпит нужду. Выслушав, майор, выпячивая нижнюю губу, лениво отвечал, что он, правда, получил соответствующее извещение из Рио-де-Жанейро, но ему, губернатору, нет никакой охоты заботиться о научных предприятиях вообще и о «Рюрик» в частности. Коцебу холодно откланялся и пошел к капитану порта, надеясь, что моряк лучше поймет моряка.

Он не обманулся. Капитан Пино всегда оказывал странникам хорошие услуги. Пино, широко улыбаясь, обещал без задержки снабдить бриг всем необходимым, посоветовал, где удобнее разбить палатку для проверки навигационных инструментов, и, крепко пожимая Коцебу руку, пригласил офицеров и ученых на обед.

Почти три недели отдыхал бриг у острова Святой Екатерины.

Капитан и штурманские ученики разбили палатку в пальмовой роще. Лейтенант Шишмарев день-деньской толкался на корабле: после атлантических штормов дел невпроворот. И Шишмарев распоряжался корабельными работами, ободряя матросов соленой шуткой, над которой и сам в охотку грохотал добродушным басом.

А Шамиссо, Эшшольц и Хорис? О, эти почти все время на берегу. Нет, не в белом городке, соловеющем на солнце-пеке, а там, где не видать уж ни души, где дыбятся горы, обросшие густыми лесами.

Вот они, долгожданные тропические леса. Так и взманивают их сумеречные таинственные глубины. Но лишь заглохнут тропы, и плотный, как влажная ветошь, воздух, и тишина первобытная, и мертвенная недвижность цепенят сердце. Тогда вот вспомняешь иные леса: бронзу сосновых боров, трепет осинников, творожную белизну берез.

¹ На современных картах — город Флорианополис.

Натуралисты являлись спозаранку, в добрые часы. Хищники спали, нажравшись теплого мяса. Солнце, пронизывая зеленую плоть пальм, бразильского дерева и смоковниц, еще не успевало обратить лесной воздух в тугой и душный морок.

Но и утренней порою путешественники не видели роскошной бравурной пестроты, присущей, как им казалось, тропическому ландшафту. Нет, была густая масса зелени, плотной и тяжелой, точно бы маслянистой. И в этом месиве происходила мистерия битвы за жизнь. Лианы, как убийцы, набрасывались на деревья, душили их, ползли, извиваясь, все выше, выше к солнцу, чтобы там, вверху, распустились свои наглые пурпурные цветы. И мириады едва приметных насекомых — «маленькие владыки большого мира» грызли, сверлили, точили живое тело растений, обращая все и вся в труху, гниль.

Да, это было так. Но именно здесь трое молодых людей с брига «Рюрик» почувствовали себя подлинными участниками ученой экспедиции. Здесь и теперь начали они сбор коллекций, заполнили первые листы путевых альбомов.

В полдень натуралисты, потные и обессиленные, брели восвояси и, выбравшись на дорогу, вздыхали с облегчением. Вдоль дороги, на давно раскорчеванных и возделанных землях, негры гнули спины, а над ними хлестко похлопывали витые бичи надсмотрщиков.

Рабы! Сколько их перемерло в вонючих, как выгребные ямы, трюмах невольничьих кораблей? А те, кто выжил, обречены были на муку в Южной Америке, в португальской каторге.

Кофейные плантации, кофейные плантации... Дома колонистов с резными флюгерками... Монастырь, льющий звон колоколов во славу девы Марии... И протяжная песня чернокожих, монотонная песня о порогах далекой реки Конго, о высоких и сочных травах Мозамбика...

Городок как опрокинут солнечным ударом, темной стеною море за ним. В улочках, на площади — никого, попрятались жители. Увидишь разве босоногого воина с ржавым ружьем. Должно быть, послал его с поручением комендант крепости Санта-Круц, а солдатик-то соблазнился стаканчиком-другим да и прикорнул в тени питейного дома.

Рейд гладкий, как поднос. У раскаленной пристани господ ученых дожидается шлюпка. Матросы разбирают весла, шлюпка отваливает, и под веслами — синие воронки.

А на бриге уже пошабашили, уже отобедали, развалились ребята кто где. Устали, намаялись. И под парусом-тентом храпит во все носовые завертки их благородие лейтенант Шишмарев, прикрыв лицо большим белым платком.

Лишь один матрос не разделяет с товарищами ни трудов,

ни отдыха — Серега Цыганцов. О чем ты задумался, корабельный кузнец? В сотый раз клянешь судьбину, день тот клянешь, когда сорвался ты с реи и грянулся грудью о твердые шканцы? Злая хвороба привязалась к тебе, и нет от нее спасу. В кронштадтском госпитале лохматый лекарь поил тебя горькой микстурой. И вроде бы отпустило вчистую... Своей волей пришел Цыганцов к капитану Коцебу, на строгий вопрос о здоровье гаркнул: «Так что отменно, ваше благородь!» Почему, зачем отправился ты в трудный вояж? Какие дали манили тебя?.. Трудно дышит кузнец, тоскливо глядит в ровную синеву чужого неба,

В январе 1816 года мыс Горн прислал морякам зловещий, как рев корсаров, шторм.

Чудище подкралось с кормы, взмахивая космами, вздыбилось, накренилось, ухнуло с пушечным гулом. Клокоча и крутясь, волна разнесла деревянные поручни, сшибла с ног капитана и швырнула за борт. На мгновение Коцебу увидел резко наклоненный борт, вспененную пучину и в то мгновение покончил все счеты с жизнью. Но он поторопился: под руками у него, бог весть откуда, взялся конец манильского троса, и в следующую секунду Коцебу уже карабкался, напрягая все мускулы, на палубу.

Он перевел дыхание и огляделся. Руки у него дрожали, и в животе, под ложечкой, был противный холодок. Ох, дьявольский вал! Пушку, как полено какое, бросил справа налево, сорвал крышу с капитанской каюты, повредил руль... Ну, здравствуй, мыс Горн! Черт возьми, ты себе, однако, верен.

Гремел шторм, играл с «Рюриком» в сумасшедшую, гибельную игру, а в тот самый день в Петербурге, как бы затихшем в обильных снегопадах, Николай Петрович Румянцев писал капитану «Рюрика»:

Письма, каковыми Вы меня в свое время, милостивый государь мой, удостоить изволили из Копенгагена и Плимута, я исправно тогда получил; а ныне Вас премного благодарю за письмо Ваше из Генерифа; я радуюсь, сведав, что Вы духом своим и искусством превозмогли все трудности, которые буря и шторм непогоды при берегах Англии Вам ставили в пути. Желая и надеюсь, что нынешний наступивший год проводить изволите в безбедном плавании и во всяком успехе...

Я Вами и путешествием Вашим так занят, что мысленно, право, с Вами более времени провождаю, нежели с теми, с кем здесь живу. Теперь ожидаю от Вас писем из Бразилии и надеюсь, что до поры и времени благополучно обойдете мыс Горн; но тогда буду спокоен и доволен, когда сами об успешном своем плавании уведомить меня изволите... При пожелании Вам, милостивый государь мой, от искреннейшего сердца здравия и бла-

гополучия с совершенным почтением честь имею быть Вам, милостивый государь мой, покорный слуга граф Николай Румянцев.

На почтовых повезли письмо из столицы в Охотск, чтоб морем переправить на Камчатку, а там уж оно дождется, наверное, адресата.

Глава 6

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЙ

Ночью при луне открылась земля — в зыбком свете маячили вершины Анд. Расчеты штурманов оправдались: бриг приближался к чилийскому заливу Концепсьон.

С восходом солнца все высыпали на палубу. Утренние зори в океане — всегда чудо. Но в то утро не только волны и перистые облака розовели и золотились, но и горы — испанские, блистающие, грозные, однако не тяжко громоздкие, а словно бы тихо колышущиеся посреди туманов. А ветер этой утренней зари пел о солнце и земных радостях, о хижинах и чернооких женщинах... И вдруг в какое-то неуследимое мгновение все вокруг — и море, и небо, и берег — засияло ровно, ярко, молодо, и тогда моряки, будто очнувшись, заметили бугристый мыс Биобио, а потом и острые камни, помеченные на карте под именем Битых Горшков.

Залив был пустынен — ни парусов, ни шлюпок. На скалах блаженствовали тюлени. Поселяне — черные отчетливые фигурки — шли к маисовым полям. Высоко-высоко кружили орлы.

Ветер дул южный. «Рюрик» лавировал. Во второй половине дня показались строения Талькауано — порта города Концепсьон. Холостым выстрелом капитан попросил лоцмана. Дождаться, однако, пришлось долго: бриг поначалу сочли пиратским, и лоцманы, да и не только они, отпраздновали труса.

Лишь сутки спустя якорь «Рюрика» лег на илистый грунт. Начались обычные церемонии: встречи с испанскими чиновниками, взаимные приглашения и балы.

Губернатор, подполковник испанской службы, принял Коцебу не так, как португальский майор на острове Святой Екатерины. Подполковник тоже в свое время получил официальное извещение о русской научной экспедиции. Но он не выпячивал губу и не корчил равнодушно-задумчивую мину. О, совсем напротив — подполковник д'Атеро был любезен до приторности.

— С тех пор как стоит свет, — воскликнул он, пожимая руку Коцебу, — ни разу российский флаг не развевался в

нашей гавани! Вы первые посетили вице-королевство, и мы надеемся, что вам придется по сердцу страна, которую справедливо величают Италией Нового Света. Мы рады, синьор, приветствовать народ, который в царствование великого и мудрого императора Александра, жертвуя собой, доставил Европе свободу.

Как ни удивительно, губернатор далекой от России южно-американской провинции был заинтересован в дружбе с русскими. Если огромную Бразилию держала в рабстве маленькая Португалия, то другие обширные пространства Южной Америки закобалила Испания. Но времена менялись. В испанских заморских владениях разгоралась освободительная война. В Чили колонизаторы чувствовали себя так, будто вот-вот начнется извержение давно уже спавшего вулкана Аконкагуа.

Мадридский двор собирался отправить за океан карательные войска. И тут-то руку испанскому монарху протянул не кто иной, как самодержец всероссийский, глава Священного союза европейских государей — Александр I: он сулил военные корабли. Вот почему испанский губернатор был столь предупредителен и любезен с русским офицером...

Как и на острове Святой Екатерины, Шамиссо и Хорис почти не показывались на бриге. Хорис рисовал ландшафты, жителей залива Консепсьон. Шамиссо часами бродил в миртовых рощах, в густых зарослях.

Шамиссо бродил в одиночестве: его друг Эшшольц ухаживал за матросом Цыганцовым. Законы, управляющие человеческой жизнью, оказались сильнее и доктора, и лекарств. Цыганцов помер. Его схоронили на берегу. Треснул ружейный залп, откатилось вприпрыжку эхо. На норд-осте, в той стороне, где за тысячами миль осталась родина, там, на норд-осте, широко и властно полыхали зарницы.

Но прежде чем уйти из залива Консепсьон, «Рюрик» теряет еще одного матроса. В списке экипажа против его фамилии появилась отметка: «Сбежал в Чили». И все. Почему столь краткая? То ли капитан не придал значения бегству нижнего чина, то ли не счел нужным поразмыслить о судьбе простолюдина. Остается гадать: какая же непереносимая обида камнем отягчала Шафея Адисова? Может, не раз и не два изведаль он прелести «крепостного состояния», а может, просто дрогнул малый перед чарами Италии Нового Света. И должно быть, подался он в глубь чужой страны, потому что никак ему нельзя было оставаться в городке: в железа заковали бы беглеца, в темницу замкнули. А там, в горах, глядишь, и привязался он к какому-нибудь индейскому племени, как иные испанцы, спасавшиеся от лихого правосудия. Словом, навсегда затерялся матрос где-то в Чили...

Дельфины за кормою, у бортов медузы с сине-зеленым гребнем. И над мачтами уже не странствующий альбатрос, а краснохвостая птица фаэтон.

Когда-то сумрачный Магеллан медлительно пересек эти неведомые европейцам волны. С той поры десятки, сотни, тысячи килей пронесли над пучинными глубинами Великого, или Тихого, мимо острых его рифов, зеленых гористых островов и блаженных атоллов. Линзы бессчетных подзорных труб приближали к мореходам то пустынные зазубренные горизонты, то желтые отмели в кружевах кипенного прибоя. И все ж немало тайн было в этом безмерном просторе. Не зря ж Крузенштерн с Румянцевым уповали на «приращение географических познаний» в Великом океане.

— Господа, мы проложим курс так, чтобы миновать на ветре Хуан-Фернандес. — И Коцебу оглядел всех с таинственно-намекающим видом.

— Ах, Хуан-Фернандес, — мечтательно отозвался Шамиссо. — Вот бы где побывать!

Шишмарев вопросительно поднял брови.

— Есть, сударь, веская причина, — улыбнулся ему Шамиссо. — Если угодно, объясню...

— Э, нет, — возразил Коцебу. — Не лучше ль вечером, чтоб и служители знали?

— Отчего же? Охотно, капитан, — ответил Шамиссо. — Но тогда требуется помощь: ведь я еще не силен в русском языке.

И вот отблески звезд взыграли на волнах, вот зажгли фонарь на корме и у компаса фонарь, и на баке расселись матросы; пришли Шишмарев, Эшшольц, Хорис.

Шамиссо рассказал следующее.

— Однажды из перуанского порта Кальяо шел в Чили некий мореход по имени Хуан-Фернандес. Вопреки обыкновению, не стал он держаться берегов, а взял мористее. Более ста миль отделяло судно от берегов, когда Хуан-Фернандес наткнулся на необитаемые островки. Среди них был и тот, что зовется Мас-а-Фуэро. Что такое Мас-а-Фуэро? А вот что: зеленые долины, и чистые ручьи, и миртовый лес, и благорастворенный воздух, пахнувший мятой, и стада коз, грациозных, как барышни, и пестрые стайки веселых колибри. Райская обитель, не правда ли?

Этот островок был сюрпризом мореходу Хуану-Фернандесу в 1563 году. Минуло полтора года лет. Жил ли кто, не жил ли на островке — неведомо. Некоторые хроники утверждают, что навещали его пираты. Почему бы и нет? Отличный уголок, сократыый от нескромных глаз... А в самом начале восемнадцатого века английский капитан, обогнув, как и «Рюрик», мыс Горн, поднимался с божьей помощью на север и, должно быть за пресной водою, надумал посетить

одну из бухт Мас-а-Фуэро. В тот день, а может и накануне, старший боцман Селькирк повздорил с капитаном. Причина? Кто ее знает... Так вот, перепалка кончилась тем, что боцман плюнул и объявил, что он, разрази его гром, не желает служить эдакой скотине и лучше уж останется на острове.

Но когда корабельная шлюпка отвалила от берега, Селькирк побледнел: в ту минуту он явственно вообразил жизнь на необитаемом острове. Душа шотландца дрогнула, он попросился на борт. Увы, капитан дьявольски усмехнулся. Однако все же снабдил несчастного боцмана одеждой, оружием, еще кое-чем. Ну и молитвенник сунул. Добрый малый понимал: не единым хлебом... Вскоре паруса истаяли за горизонтом, а боцман долго еще стоял на берегу, погруженный в горестное оцепенение.

Итак Селькирк зажил на островке. Потекли дни, недели, месяцы. Сперва отшельник тосковал, мучился, но потом притерпелся, а потом даже и вовсе не печалился о грешном мире с его суетой сует. Построил хижину. Выучился ловить коз. Приручил козлят и порой, поставив их на задние ноги, отплясывал с ними менуэт. Когда одежда изнасилась, смастачил платье из козьих шкур. Вот только сапожное ремесло у него никак не ладилось, и боцман щеголял в чудовищной обувке.

— Погодите! — воскликнул Шишмарев. Он давно уже пыривался что-то сказать. — Простите, ведь это история...

— Тс-с, — остановил его рассказчик, — минуту, Глеб Семенович, минуту... — И Шамиссо продолжал: — Селькирк отжил на острове уже четыре года и четыре месяца. И вот однажды в бухту вошли корабли капитанов Роджерса и Куртнея. Моряки изумились, заметив на скале бородатого человека в одеждах из козьих шкур. Но еще круче изумились, признав в нем земляка. Селькирк был рад-радешенек. Однако не желал покидать свою обитель, и Роджерс с Куртнеем едва не силком увезли его в Англию.

Шамиссо улыбнулся Шишмареву.

— Вот я и говорю, — поспешно молвил лейтенант, — история-то эта, правда несколько измененная, знакома мне, ей-богу, знакома! Помнится, дал мне дед книжку, называлась она «Жизнь и приключения Робинзона Крузо, природного англичанина». Робинзон этот, господин Шамиссо, похож как две капли воды на вашего боцмана Селькирка. Признаться, Робинзон был другом моей юности. Да и совсем еще недавно купил я в Питере два томика. А перед отплытием черт догадал подарить приятелю в Кронштадте. Негоже, знаете, а жалею, ей-ей...

— И справедливо, — заметил Шамиссо, — книга удивительная. Написана лет сто назад и будет жить еще столько же,

если не дольше... — Ваша правда, Робинзон и Селькирк похожи, как родные братья: ведь историю шотландца использовал сочинитель Дефо.

Все спят на палубе, на вольном воздухе. Бодрствуют лишь вахтенные. Рулевой, поглядывая на картушку компаса, мурлычет под нос. И старик океан подпевает. Чудится, не плывет «Рюрик» — летит сквозь звездную тьму, килем едва касаясь волн.

Спит истомленная за день команда. Не могут уснуть лишь поэт Шамиссо и художник Хорис. «Где найти слова, чтоб описать это?» — думает один. «Где взять краски, чтобы передать это?» — думает другой...

Серебряная дудка подшкипера приветствует солнце. Поднимается команда, вяжет койки, шлепает босыми ногами. Второй заливистый сигнал — и закипает приборка.

Присев на корточки, матросы что есть силы трут палубу сухим мелким песочком. Палуба белым-бела, но оттого-то и чиста она, что драят ее каждое утро.

Длинные швабры, привязанные к пеньковым тросам, опускаются за борт; разбухшие, тяжелые и серые, они вновь вытягиваются на борт. Матросы отжимают их и уже с полегчавшими швабрами пятятся от носа к корме.

— Эй, шибче! — покрикивает Трутлов на матросов, лопающих палубу. — Не бойся, братцы, она выдюжит!

Из камбуза выглядывает шоколадная физиономия; коверкая русские слова, кок обещает матросам сытный харч. И матросы смеются, отирая пот: уж больно забавно гуторит! А кок, уроженец Вест-Индии, нанятый в Копенгагене, сверкает сахарными зубами.

Офицеры приложили к глазам подозрные трубы. Ведь с утра реют морские птицы, а это верная примета близкой земли. Во-он они, фрегаты и фаэтоны... Первые парят легко, разбойно высматривая рыб; вторые, вытянув длинные красные хвосты, сильно и часто машут крыльями.

И вдруг — неистовый крик:

— Бере-е-ег!

Поросший кустарником островок. Он окружен острыми зубьями коралловых рифов, в рифах кипит бурун. Островок схож с тем, что некогда описал голландец Скоутен. Скоутен назвал его Собачьим. Однако... однако означил его вовсе не на этом месте.

Широта, определенная Коцебу, разнится от Скоутеновой на двадцать одну минуту...

Душные тропические дни сменяются звездным блистанием. Гремят грозы, гуляют ветры. Птицы, птицы — вот кто настораживает моряков.

— Бе-е-рег! — кричат с мачты.

Да, на зойд-весте темная полоска мили в три, не больше. И тут уж прочь сомнения, никто, ни единая душа не заикалась об этом островке. Твой он, капитан Коцебу.

Кокосовые пальмы клонили вершины: добро пожаловать! Но как «пожаловать»? Как проскочить гибельный бурун? Пойди-ка рискни, и океан шваркнет судно о коралловые рифы, а тогда уж, понятно, «со святыми упокой...».

Двое смельчаков, сняв шапки, вытянувшись во фронт, просят дозволения достичь берега вплавь.

— Вплавь? — переспрашивает капитан. — Гм! Меня удивляет ваша отвага, ребята. — С минуту он пристально глядит на матросов. — Ну что ж...

Сгрудившись, притаив дыхание, «рюриковичи» следят за храбрцами. Те вымахивают саженками. Вот скрылись, исчезли, пропали из виду... Но вот показался один, потом и другой. Смотрите! Смотрите! Они выбрались из воды, они выходят на берег. Живы, здоровы, черти! Ура!

И вернулись они тоже вплавь, вторично одолев ярость буруна. Перевели дыхание, рапортовали: берег, кажись, обитаем. Обитаем? О, Коцебу не может медлить, никакими силами не удержать его на бриге. Он велит спускать шлюпки. Зовет с собой Шишмарева, ученых зовет. Шишмареву любы мореходные фортели, а вот ученым... да-а, те уж следуют за Отто Евстафьевичем с некоторой оторопью.

Все ближе берег. Грохот наката глушит голоса. По знаку Коцебу десять сажений троса скользнуло в воду. Позади, неподалеку от шлюпок, дышал на волне плот. Давешние пловцы опять прыгнули в воду, прихватив толстый трос; плывут, трос тянется за ними, разматывается.

Вот они опять на берегу — крепят трос затяжным узлом за стволы двух сросшихся пальм. А другой конец закреплен на плоту. Итак, «сообщение» налажено: становись, брат, на плот, перехватывай трос, сам себя буксируй. А уж там, у берега, уповай на судьбу: бурун легко и мощно подхватит плот, бросит его на рифы, а следующая волна вынесет на береговой песок, такой белый, такой ослепительный, такой мелкий! Переправился... Слава те, господи. И опустевший плот опять подтягивают к шлюпкам, на страх и радость очередному «десантнику».

Тропка — узенький поясok — скользнула в чащу. Но коли есть тропка, стало быть, и впрямь островок обитаем? Уж не притаились ли туземцы за этими рослыми папоротниками, не целят ли копьями из тех вон кустарников, что издают сильный и пряный запах? Гуськом идут моряки, чутко прислушиваясь, крепко сжимая оружие. Идут все дальше... Никого. Ничего. Ни следа, ни крика, ни шепота. Только отодвигается и стихает прибой, все отчетливее и как бы строже шорох пальм.

Э, право, пора и отдохнуть. Ведь блаженство — растянуться на земле! Не на палубе, а на сырой земле, хоть здесь она и суха, как порох. «Привал», — командует капитан. Располагайтесь, господа ученые. Располагайтесь, матросики. И-и, как же это распрекрасно, когда небо сквозит за листвою. С землито все милее. И птахи какие-то трещат крылышками, и какие-то чудные, неуклюжие существа с клешнями, как у крабов, взбираются по стволу пальмы, и дышится так легко, так легко, ну благодать, ей-богу!..

И вдруг общий кейф был нарушен матросом Скомороховым. Ойкнул, вскочил ошалело Михайло, озирается, потирает загривок, глаза вытаращил — ни дать ни взять, ему дьявол мерещится. Что такое? Что случилось? Да не ори, объясни толком!

А Михайло тычет пальцем вверх, ругается — и ни в зуб ногою. Ага, вона что! Оказывается, тот самый-то «краб» саданул матроса по шее... кокосовым орехом! И пребольно, как булыжником.

— О-о, пальмовый разбойник, — усмехнулся Эшшольц, грозя пальцем.

Все рассмеялись. Доктор объяснил:

— Да-да, так его в книгах называют.

Скоморохов сжал кулаки: вот уж он покажет этим «крабам» где раки зимуют.

— Ни-ни, — испуганно остановил его Эшшольц. — Клешни знаешь? Нож острый! Лучше уж без греха: подберем орешки, полакомимся.

— Дельно! — кивнул капитан. — Молоко, братцы, слаще сладкого.

Подобрали орехи, сняли зеленую оболочку, потом тонкую мягкую скорлупу, пригубили — и уж за уши не оттянешь, такой он был, этот прохладный целебный сок. Мотали головами, облизывались, и физиономии у всех одинаковые, как у мальчишек-лакомок.

— Чудо!

— Не древо — царица-а-а.

Недели не было без того, чтобы с салинга не раздавалось: «Бере-ег!» Фазтоны и фрегаты едва не задевали верхушки мачт. Островитяне в юрких лодках устремлялись навстречу бригу.

В эти апрельские и майские дни восемьсот шестнадцатого года мореходы не знали покоя. Восторг открывателей полнил сердца. Нечто поразительное было в этих островах: зорко оглядываешь горизонт, куда уж зорче, а они все равно являются внезапно. В других широтах острова вырисовывались издали, постепенно. Но там, где теперь шел бриг, была «страна южных коралловых островов». Коралловые островки едва возвышались над уровнем моря. И потому возникали

они стремительно. Возникнут, покажут себя — и вот уж пропали за крутым океанским валом. Будто и не были, будто пригрезились. Но корабль на гребне, и опять коралловый остров.

Создали те острова не вулканические силы. Нет, их тихохонько возвели мириады живых организмов и водоросли, известковые водоросли, плавно колышущиеся среди волн.

Отдельная особь коралла-строителя зовется полипом; в старину говорили «цветок океана». Полип и вправду напоминает цветок розовый или бурый, темно-красный или синий, зеленый или лиловый. Полипы-цветы образуют колонии, краса которых, явственная в часы отлива, превосходит оранжевую. Покорные общему закону, они множатся, стареют и умирают, оставляя блеклые скелетики. Как и все сущее, чтоб жить, кораллы должны уничтожать. Их трепетные щупальца, их нежные венчики терпеливо поджидают добычу — планктон, органические частицы.

Впрочем, не только кораллы возводили островки. Множество растений и животных трудились на этом безмолвном строительстве: зеленые и красные водоросли, раковины моллюсков, из которых выделялась величиною тридакна, обладающая тяжелой раковиной и великолепно раскрытого «плаща»; и панцири морских ежей, и известковые остатки морских звезд и кубышек.

Бесшумно, с молчаливым упорством идет работа кораллостроителей. И так же молчаливо, упорно работают их недруги — рыбы, сплюснутые с обоих боков, с прихотливо изогнутыми плавниками и крепкими зубами, сверлящие водоросли, губки. У этих разрушителей мощный союзник — океанский прибой. Он дробит полипняк, растирает, как жернова, в белый, блеснящий глаза песок.

И еще одна разительная примета коралловых островов: все они атоллы, все коралловые кольца, внутри которых всплескивают мелководные лагуны. Одни лагуны казались с борта «Рюрика» темно-синими, другие отливали темной зеленью. При сильном накате океанский вал расшибался о рифы, и тогда над лагунами проносилось радужное облако водяной пыли.

Вот о таких днях мечтал лейтенант и кронштадтской осенью, и архангельской зимою, и в светлую весеннюю пору, когда на абоской верфи достраивался «Рюрик». И лейтенант действительно не променял бы свои открытия на «все сокровища мира».

Коцебу знал, что еще не один и не два острова можно сыскать в здешних широтах. Он достал из резного шкафчика Крузенштернову инструкцию, пробежал знакомые едва ли не наизусть строчки:

Двукратное через все Южное море переплытие корабля в разных совсем, направлениях бесспорно послужит к немалому распространению наших познаний о сем великом Океане, равно как и о жителях островов, в величайшем множестве здесь рассеянных.

Двукратное переплытие... «Рюрик» еще вернется в южные широты. А теперь, теперь туда, где в холодной мрачности лежат угрюмые мысы, обглоданные злой волною.

Глава 7

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Стокгольмские купцы подвели Коцебу: медные листы, поставленные шведами для обшивки брига, за год плавания прохудились.

Медные листы «Рюрику» отдала «Диана», знаменитый корабль Василия Головнина. Ветхий шлюп давно стоял на мертвых якорях в Петропавловской гавани; с приходом «Рюрика» его час пробил.

Исправляли «Рюрик» без малого месяц. Пора было приступать к поискам Северо-западного прохода, тихоокеанского начала заветного пути. Все, кажется, было хорошо: бриг починен, запасы пополнены, найден алеут-переводчик.

Хмур и озабочен один лишь доктор Эшшольц. Он заходит в каюту и плотно затворяет дверь. Беседа у него с капитаном невеселая. Доктор уверяет, что лейтенант Захарьин плох, надо оставить Ивана Яковлевича на Камчатке.

Захарьин и впрямь давно и круто занемог. Правда, в дни бразильской стоянки ему несколько полегчало, но потом он почти уж не подымался.

Коцебу сознавал, каково ему будет с одним офицером. Отныне начальнику экспедиции, у которого и без того хлопот с избытком, придется попеременно с Шишмаревым править вахты. А разве по-настоящему исследуешь Берингов пролив, коли один из них всегда должен быть на брига? Обидно и за Ивана Яковлевича, обидно за товарища. Ведь еще гардемаринном познал боевые схватки в Дарданеллах и при Афоне, куда ходил на фрегатах эскадры адмирала Сенявина. Пуля не достала, ядра не тронули, а тут, видишь ты...

Коцебу послал за Шишмаревым. Бодрый, свежий, в обычном своем ровном расположении духа, явился круглолицый Глеб. Выслушав капитана, помрачнел:

— Эх, Иван, Иван... — И, помолчав, припечатал ладонью об стол: — А нам, друже Отто, никак нельзя отступать. Вдво-

ем так вдвоем! Помнишь кадетскую присказку? Жизнь — копейка, голова — ничего. Полагаю, простимся с Иваном — и в путь-дорогу, была не была!

Бухту на северо-западном берегу Америки капитан называет именем Шишмарева, а островок в горле бухты — именем путешественника и гидрографа Гаврилы Сарычева¹.

«Рюрик», как привязанный, держался поблизости от берегов. Офицеры и ученые прилипли к правому борту. Малейшая излучина — екают сердца: кто поручится, что здесь, именно здесь не отворяются ворота Северо-западного пути? Ведь Джеймс Кук сих мест не исследовал.

И в первый августовский день подзорные трубы тоже были обращены к берегу. Как позавчера, как давеча, владело людьми напряженное ожидание. И еще до полудня в какую-то ослепительную минуту все они увидели внезапный поворот береговой черты.

«Рюрик» ложится на другой галс. «Рюрик» бросает лот. «Рюрик» движется. Ба! Что это? Проклятый ветер слабеет, паруса вянут. Прикусите язык, ребята, бранью не пособишь... Совсем заштилело. Делать нечего — отдавай якорь, жди у моря погоды.

Но Коцебу невтерпех. Спускайте шлюпку. Живо! Вот так. Загребные навалились, еще навалились, ну, не жалея силушки, по чарке лишней в обед. Живо, живо!

Капитан махом, на одном дыхании взлетает на высокую скалу. Стоп! Спокойно, спокойно. Осмотрись внимательно, Отто. Господи, радость какая: насколько глаз хватает, простирается водная гладь; мягко, в четверть силы, солнце бьет сквозь плотные тучи, и гладь эта тоже мягкая, светло-серая, светло-свинцовая.

Капитан снял фуражку. Пролив или бухта? Бухта или пролив? Он глядел на эту землю. До горизонта тянулись скучные топи, озера были как блюдца, блестели изгибы речки. Тишина. И в тишине комариный стон.

Спустившись со скалы, Коцебу хотел продолжить шлюпочное плавание, но матросы указали на восток. Оттуда летели байдары; в каждой туземцы с копьями и луками. На носу байдар торчали длинные шесты с лисьими шкурами.

Встреча была дружеской, хотя эскимосы попрытали в рукавах длинные ножи, а Коцебу и его спутники сжимали ружья. Капитан одарил эскимосов табаком. Они было пустились на хитрость: пока шло одарение, перебежали в конец очереди и, плутовато щуря и без того маленькие глазки, делали

¹ Названия сохранены на современных картах.

вид, что еще не получили свою порцию. Коцебу, улыбаясь, замахал руками, эскимосы расхохотались.

Шлюпки, окруженные байдарками, возвратились к бригу. Завязалась торговля. Наблюдая эскимосов, капитан подталкивал в бок Шишмарева. Зрелище было забавное: эскимосы рядились, торговались, спорили, но все это без злобы, со смехом и шутками.

Задул ветер. Якорь был выбран, паруса наполнились, и «Рюрик» двинулся. Стемнело. Полагалось бы отстояться до утра. Коцебу рискнул, и бриг шел всю ночь. Едва брызнуло солнце, один из матросов взобрался на мачту, а все с жадным нетерпением задрали головы.

— Не вида-а-ать! — весело крикнул марсовой.

Итак, все еще открытая вода. Но нет, рано торжествовать... Тс-с... «Рюрик» шел вперед. Быть может, впереди узкий проход? Быть может! Все помыслы, все надежды сосредоточились на этой светлой полоске.

Еще одна ночь осторожного плавания. Утро было ненастное, погодливое. Но оно не омрачило мореходов, ибо вперед манил проход. Правда, шириною миль в пять, но все же проход!

Баркасы часто приставали к берегу. Коцебу со своими спутниками взбегал на утесы. Увы, громады скал отбрасывали мрачные тени. Не проход, а большой залив. Или, как тогда говорили, зунд.

Но надежда еще тлела...

Отужинав, путешественники расположились на ночлег. Ночь выдалась бурная. Лил холодный дождь. Поутру моряки хотели было воротиться на бриг, но шторм пригрозил, и они не посмели. Едва обсушились у костра, как доктор Эшшольц, неутомимый собиратель минералов, удивил всех новой находкой. Оказалось, под тонким слоем растительности — мощный лед. В те времена не существовало понятия «мерзлота». И сам Эшшольц, и Коцебу, и Шамиссо говорили — «ископаемый лед», «лед первородный».

На следующий день капитан с отрядом прибыл на бриг. Еще день медленного плавания, еще день тщетных поисков прохода.

Двенадцатого августа командир вновь ушел на гребном баркасе и байдаре. Заметив широкий рукав, он приободрился. Берег возвышался, поворачивая с юга на запад, глубина была достаточная, и шлюпки безбоязненно проникли в узкий, извилистый рукав.

Среди скал притулился шалаш. Эскимосы — старик и юноша — выбежали из шалаша, потрясая луками. Шлюпки подошли к берегу. Старик натянул тетиву, целя в капитана. Коцебу приказал товарищам не стрелять и не трогаться с места, а сам, безоружный, зашагал к шалашу. Эскимосы спе-

рва удивленно покачивали головой, потом побросали луки, шагнули навстречу пришельцу.

В шалаше было дымно. В углу на шкурах спали дети. Молодайка, украшенная металлическими кольцами, щедро звеневшими при каждом ее движении, возилась у огня.

Обменялись подарками, и Коцебу знаками расспросил старика, далеко ли тянется водный поток. Старик сел на землю, проворно сгибаясь и распрямляясь, изобразил усиленную работу веслами. Девять раз вытягивался он в рост, закрывал глаза, похрапывал. Стало быть, догадывался капитан, плыть девять дней. Девять дней, черт возьми! Славный старик, славные эскимосы. Если только это так — девять дней! — то он, капитан Коцебу, достигнет открытого моря.

Эскимосы проводили моряков к шлюпкам. Шли с ними об руку, улыбаясь, похлопывая по плечу. Старик нес капитанское ружье. Неподалеку от берега из-за скалы вывернулся Хорис. Он, оказывается, бродил по окрестностям с карандашом и тетрадкой. Хорис показал свои рисунки эскимосам; они тотчас признали сородичей и ослабились. А когда живописец несколькими штрихами нарисовал старика, тот присел разинув рот.

Коцебу продолжал путь. Вода под килем была солоноватой, и это ободряло капитана. Однако глубины все уменьшались, а мели так зачастили, что пришлось отказаться от шлюпки.

Ожидания не сбылись: не пролив, не водный коридор, ведущий в открытое море, к Северо-западному пути, нет — обширный залив. По решению «рюриковичей» быть ему отныне зундом Коцебу.

Глава 8

СНОВА НА ЗЮЙД

Сперва, понятно, начальство бранилось. Потом ринулись матросы. Баня истоплена на совесть, пару — полка не видать. Ворвалась голая орда — пошла потеха.

— Банный веник и царя старше! — кричит чернявый Прижимов, яростно нахлестывая согбенного боцмана.

— Веник в бане всем начальник, — побряхтывает боцман.

Со сладостным остервенением моется команда «Рюрика» в жарко натопленной баньке на берегу острова Уналашка. Красные, потные, размлевшие выходят моряки в предбанник, надевают свежее исподнее, предвкушают чарочку, без которой, известно, после мытья да парилки никак не обойтись.

— Эх, братцы мои, семь пудов сняло, семь на семь потов сошло. Баня парит, баня правит.

— Давай, давай, — поторапливает боцман, — шевелись, живей на корабль, пушай другие...

Три недели, как «Рюрик» ушел из залива Коцебу, оставив за кормой несбывшиеся надежды. Три недели ходил у берегов Азии и Аляски. Моржи поднимали клыкастые головы, киты взметывали фонтаны, а один из них, наглое чудище, облепленное ракушками и водорослями, окатил палубу «Рюрика», как из пожарной кишки.

Это нагромождение страшных утесов, — писал капитан «Рюрика», — заставляет человека размышлять о великих превращениях, которые некогда здесь последовали, ибо вид и положение берегов рождает предположение, что Азия некогда была соединена с Америкой.

В зимние месяцы, согласно инструкции, «Рюрик» должен был заняться повторными исследованиями на юге Тихого океана.

Стояла уже середина сентября, бриг был изготовлен к походу. Прощаясь с Уналашкой, капитан вручил местному начальнику перечень всего необходимого для будущих атак на Северо-западный проход. Ни капитан, ни его экипаж не отпустились от поисков, и Коцебу просил жителей Уналашки смастерить еще пять байдар, нанять в помощь матросам алеутов и раздобыть толмача, знающего язык туземцев Аляски.

...Дон Луи отродясь не марал столько бумаги в один присест. Прежде всего — изложить суть дела калифорнийскому губернатору дону Паоло Венченге де Сола. И дон Луи излагает без особой, признаться, точности:

В четыре часа дня русский корабль, под названием «Рюрик», водоизмещением в 200 тонн, с командой в 40 человек, включая офицеров, бросил якорь в порту. Его командир Коцебу, тот самый, чье имя упомянуто в королевском приказе от 27 июня прошлого года.

Закончив письмо и присыпав его песком, лейтенант берет другой лист.

Я, — продолжает дон Луи, — переписываю Вам следующий королевский приказ... Ваше высокопревосходительство, так как король был извещен послом России, что его император собирается послать русский корабль, под названием «Рюрик» и под командованием Коцебу, в научную экспедицию вокруг света, — его величество полагает, что испанские должностные лица в Южной и Северной Америке будут благосклонно принимать упомянутый корабль, если он появится в каком-либо порту. Как королевский приказ, я сообщаю это Вашему высокопревосходительству с тем, чтобы поставить Вас в известность. Да хранит Вас бог много лет.

Уф, святая Мария, еще одна копия, и, пожалуй, длиннее первой. Подписана в Лондоне два месяца спустя после мадридской. Подписана испанским послом в Англии. Дон Луи Аргуэлло, вздохнув, прогоняет дерзкую муху, успевшую запятнать пышный титул посла, и опять склоняет голову.

...обеспечить сохранность и не создавать никаких препятствий кораблю Коцебу, — рукой, привычной к пистолету, а не к гусиному перышку, переписывает начальник «президио», — и по возможности оказывать ему помощь, согласно доброй воле, миру и дружественному союзу с Россией, который, можно надеяться, будет длиться вечно, если будут существовать дружеские чувства. Согласно сказанному выше, я даю сей документ с печатью посольства и скрепленный фамильной печатью в Лондоне.

— Ох, слава те, господи, все кажется... — И дон Луи зовет курьера.

Красавец солдат шелкает шпорами, прячет пакет за пазухой и скачет на рысях в Монтерей, к губернатору.

Старик Румянцев не напрасно привел в ход старые дипломатические связи: документы, выправленные русскими послами и консулами, помогали Коцебу. В Сан-Франциско, куда «Рюрик» прибыл второго октября после быстрого и бурного перехода из Уналашки, был он встречен весьма приветливо.

В дни калифорнийской стоянки Коцебу посетил две духовные миссии — святой Клары и святого Франциска. Замечания его, если бы они были высказаны там же, в Калифорнии, наверняка охладили бы гостеприимство испанских хозяев. Конечно, Коцебу мог бы возразить, что истина, дескать, дороже. Он, наверное, промолчал. Но уж в своих записках душой не покривил. Не просвещение «диких» светом христианства увидел он, а просто-напросто бесшабашный грабеж.

Миссионеры уверяли нас, — иронически отмечал Коцебу, — что этих дикарей весьма трудно обучать из-за их глупости, но я полагаю, что господа не много заботятся об этом. Кроме того, они рассказывали нам, что индейцы приходят из дальних внутренних частей этой страны и добровольно им покоряются (в чем мы, однако, тоже усомнились).

Сомнения капитана подтвердились, когда он увидел невольников на плантациях католических пастырей, а потом и казармы, в тюремном смраде которых из тысячи индейцев ежегодно умирало триста.

Первый день ноября застал «Рюрика» снаряженным к океанскому плаванию. Шамиссо переправил на борт коллекцию калифорнийских растений. Эшшолец — мешок минералов, а Хорис — многочисленные рисунки.

Теперь путь лежал к Гавайским островам¹.

Размеренно потекла жизнь на двухмачтовом бриге. Честно, поровну делят вахты начальник экспедиции и лейтенант Шишмарев. Разбирает свои гербарии, попыхивая трубкой, Шамиссо. Доктор Эшшольц сортирует минералы, упаковывает в маленькие ящики. А вечерами все слушают удивительные истории Эллиота де Кастро.

Португалец попал на бриг в Сан-Франциско. Он упросил Коцебу доставить его на Гавайи. Ого-то, ему было чем развлечь слушателей! Куда там и Петеру Шлемилю — герою сказки Шамиссо: приключения Эллиота де Кастро — авантюриста и бродяги, то богача, то нищего — вот это феерия! Его сжигало солнце Буэнос-Айреса, он мерз на Аляске, задыхался в джунглях, нежился в «соломенных дворцах» островных королей и дрых под забором, завернувшись в дырявый плащ.

Глава 9

СОЛНЕЧНЫЙ АРХИПЕЛАГ

Острова легли у северной кромки тропической зоны Тихого океана. При мысли о Сандвичевых островах мореходу тотчас вспоминается судьба Кука. Для Коцебу участь знаменитого англичанина имела особое значение...

Джеймс был замыкающим в ряду тех, кто на протяжении веков штурмовал Северо-западный проход. Отто, волею Румянцева и Крузенштерна, был первым, кто возобновил борьбу после долгого антракта. Кук открыл архипелаг в 1778 году и дал ему имя тогдашнего лорда адмиралтейства графа Сандвича; после неудачного плавания на севере Кук вернулся к берегам архипелага. Теперь Коцебу правил к Сандвичевым островам с тем же, что и Кук, замыслом: зимние месяцы — югу, летние — северу.

Но Джеймсу Куку, высокому, крепко скроенному человеку, не суждено было больше разгуливать по корабельной палубе. На Сандвичевых островах он был убит, и матросы, прикрыв его останки британским флагом, отдали их морю... «Доведется ли мне-то, — думал Коцебу, — отсюда, с Сандвичевых, вновь идти на норд? Конечно, времена изменились. Теперь здесь не убивают белых, и ты, Отто, не чета Куку. А потому не робей, не робей, все будет отменно, и ты вернешься на Север».

Минуло три недели после ухода из Сан-Франциско. Кончался ноябрь. Не внезапно, как коралловые острова, а за

¹ Гавайские острова — старое название Сандвичевы острова.

много миль замечен был остров Гавайи, самый крупный в архипелаге¹. На расстоянии полусотни миль показал он «Рюрику» огненный нимб вулкана Мауна-Лоа.

Вот уж когда взаправду понадобился бродяга Эллиот; здесь его знали и простые смертные, и богатые «дворяне», и колонисты-европейцы, и Камеамеа — повелитель Гавайских островов. Эллиот де Кастро указал капитану безопасную стоянку, а сам съехал на берег с дипломатическим поручением. Воротившись на бриг, он не без торжественности объявил, что король ждет гостей.

Утром командир российского военного брига и его помощник в сопровождении Эллиота отправились на остров.

Когда Шишмарев положил руль влево и шлюпка обогнула песчаную косу, открылись невысокие спокойные волны залива, соломенные шалаши, банановые деревья и белые, похожие на европейские домики.

Король шел к берегу. Толпа нагих подданных с немым любопытством следовала позади.

Матросы напоследок особенно сильно ударили веслами, и шлюпка с разгона плавно врезалась в песок.

Король Камеамеа — геркулес с мощной, низко посаженной головой, одетый в белую рубаху и красный жилет с черным шейным платком, — шагнул к капитану и, улыбаясь широким умным лицом, пожал ему руку.

Дворец Камеамеа был меблирован без излишеств: несколько стульев и стол. Впрочем, стулья казались островитянам излишеством, и королевские сановники разместились на циновках.

«Чтобы быть красивым, надо страдать», — замечают французы, разумея тиранию моды. Французское присловье вспомнилось нашим лейтенантам, когда они оглядели гавайских вельмож — дородных толстяков в черных фраках на голом теле. Туземцы выменивали эти фраки у поджарых янки с купеческих кораблей, и черные одеяния едва застегивались на брюхастых сановниках. Они обливались потом и тяжело дышали. Но «чтобы быть красивым...».

У дверей соломенного дворца стояли стражники с ружьями и пистолетами. Невозмутимо наблюдали они, как король усадил гостей за стол, как слуги обнесли всех вином и фруктами, как белолицый капитан пил во здравие Камеамеа I, а Камеамеа I выпил в честь капитана и его друзей.

Коцебу по-английски обращался к переводчику — лысоватому штурману, сменившему судовую каюту на гавайскую сладкую жизнь. Переводчик, выслушав капитана, доложил его величеству просьбу русского о снабжении припасами и добавил, что русские отблагодарят щедро.

¹ Его именем и обозначают теперь весь архипелаг — Гавайские острова.

— Вы совершаете плавание, как Кук и Ванкувер, а значит, не занимаетесь торговлей, — отвечал гавайский геркулес, — поэтому и я не намерен производить с вами торг, но хочу снабдить вас безвозмездно. Это дело решенное, и нет более надобности о нем упоминать...

Коцебу встал и поклонился. Переговоры закончились. Но король не отпустил гостей. Королю хотелось послушать про далекую страну — Россию. Он расспрашивал долго, с живостью и неподдельным интересом.

Чем дольше беседовали офицеры с королем, тем более убеждались в правоте путешественников, высоко ценивших Камеамеа. Да, это был умный человек. Это был человек, который, как говорят англичане, «сам сделал самого себя». И точно, Камеамеа не наследовал королевство от папеньки, а создал в свирепых войнах с царьками архипелага. Он завел флот, раздобылся огнестрельным оружием, взимал с купцов пошлины и, привечая корабельщиков, заимствовал все, что казалось ему достойным и полезным. Камеамеа царствовал давно и царствовал спокойно. Но взор его не тускнел: он пристально следил за вассалами, жестоко карал ослушников.

Пока островитяне доставляли на бриг мясо и плоды, пока туземцы рубили и возили (к радости матросов, избавленных от тяжелой работы) дрова, словом, пока жители островов снаряжали «Рюрик» к дальнейшему плаванию, экипаж отдыхал.

Натуралисты Эшшольц и Шамиссо пополняли гербарии и коллекции, и снова неутомимый Логгин Хорис рисовал окрестные виды, утварь, хижины, растения.

А Коцебу сказал Камеамеа, что очень хотел бы посетить остров Оаху, и король незамедлительно прислал на бриг опытного лоцмана.

Слабый береговой ветер нешибко двинул «Рюрик». Лоцман стал рядом с рулевым. Когда достигли пролива, отделяющего острова Гавайи и Маун, добрый пассат налег на паруса, и бриг пошел бойчее.

Острова, проливы, склоны гор, банановые и кокосовые рощи, хижины туземцев, напоминавшие матросам амбары русских деревень, ястребы в высоком небе да тихая, мелодичная песня смуглого лоцмана... И так — два дня.

А на третий — бухта Гонолулу. В глубине ее, в окружении домиков и хижин, высилась крепость с полосатым флагом короля Камеамеа.

У причала встречал русских старик Джон Юнг. Тот самый Юнг, о котором Коцебу читал в «Путешествии» Ванкувера.

За много лет до прихода к Гавайским островам брига «Рюрик» у острова Маун стоял английский корабль «Эленор». Капитан Меткальф из-за чего-то повздорил с островитянами и пустил в ход пушки. Произошло сильное кровопролитие, после чего «Эленор» покинул Маун. Однако скорый на рас-

праву капитан не предполагал, какая кара ждет его за этот поступок. Некоторое время спустя к Маун пришла другая шхуна, и островитяне перебили почти весь ее экипаж; убит был и шкипер, сын воинственного Меткальфа. А спустя еще несколько лет папаша снова появился у острова. Он сам не посмел ступить на берег и послал туда боцмана. Джона Юнга встретили ласково, но обратно на корабль не пустили. Так Юнг остался у сандвичан. Камеаеа приблизил его, боцмана стали величать «гиери-нуе» — «великий господин», он занялся королевским флотом, а потом построил крепость, полосатый флаг и белые стены которой видели теперь Коцебу и его спутники.

Коцебу шагал с Юнгом и не мог поверить, что этому человеку перевалило на восьмой десяток: бывший боцман, а теперь «гиери-нуе», был крепок, свеж и бодр.

В доме Юнга за сигарами и стаканом вина был долгий разговор.

Жизнь островитян лишь мимолетному взгляду казалась столь же отрадной, как пейзажи солнечного архипелага. Все принадлежало царькам — и земля, и хижины, и сами туземцы. Царьки припеваючи обитали в своих легких чертогах, окруженные верной стражей, неверными женами и усердными слугами. Безбедно текли дни жрецов. Они ревниво хранили идолов, святость всяческих табу, а подземная богиня Пеле грозила нерадивым «прихожанам» раскаленной лавой.

Король Камеаеа жаловал жрецов. У него не было охоты перенимать христианство подобно тому, как он перенимал у европейцев корабельную архитектуру. Со слов Юнга узнал Коцебу, как Ванкувер попытался навязать сандвичанам Библию.

— Камеаеа, — рассказывал бывший боцман, потчужа слушателей мучнистыми бананами, — терпеливо внимал увещаниям. Потом сказал: «Хорошо. Ты хвалишь своего бога, а наших поносишь. Но если твой бог так силен, как ты утверждаешь, то он выручит, конечно, тебя. А ежели, напротив, сандвичевы боги сильнее заморского, то они вызволят своих жрецов». И король предложил Ванкуверу вместе с главным жрецом взобраться на утес и... броситься вниз головой в море. Кто останется в живых, у того, значит, вера истинная. Ванкувер смешался и, не придумав никакой увертки, наотрез отказался от страшного испытания.

— Но об этом-то он ничего не сообщил в своей книге, — смеясь заметил капитан «Рюрика».

Юнг улыбнулся.

— Не про все, — сказал он, — что в жизни с тобою случается, напишешь.

Остров Оаху, где жил Джон Юнг, считался «садом Сандвичевых островов». Не говоря уж о натуралистах и художнике,

не терявших ни часа, Коцебу тоже предпринял небольшую экскурсию. Один Шишмарев остался на корабле и не скрывал своего огорчения.

Утром группа, состоявшая из Коцебу, доктора Эшшольца, подштурмана Хромченко и двух проводников, двинулась в путь. Дорога лежала на запад, к Жемчужной реке.

Вскоре увидели путники поле таро¹. Хорошо обработанное и снабженное шлюзами, оно было залито водой; зеленые стебли, казалось, плавали на полированной глади.

Дальше — сахарные плантации. И на склоне горы — деревня. Оттуда тянуло дымком, оттуда слышался... женский плач. Проводники объяснили: в деревне кто-то болен и вот жены рвут на себе волосы, царапают в кровь лицо и голосят, отгоняя злых духов.

Туземцы знали, что в Гонолулу на больших парусных кораблях часто являются гости. Но в такую глушь редко кто забирался. Распрямив затекшие спины и приставив ладони к глазам, гавайцы смотрели на белых, не решаясь приблизиться. Храбрецом оказалась шестилетняя девчонка. Она вприпрыжку подбежала к Коцебу, глянула на него сияющими глазами, обернулась и закричала:

— Идите! Скорее! Не будьте глупыми!

Коцебу протянул девчужке нитку бисера. И тотчас, как изпод земли, появились ребятишки, а за ними, соблюдая некоторую осторожность, потянулись взрослые.

В деревне путников угостили на славу. Был испечен поросенок, принесены груды бананов, поданы клубни таро. Вино, захваченное с корабля, пришлось кстати.

Деревенские музыканты ударили палочками по выдолбленным тыквам; глухие ритмичные звуки, чуждые европейскому слуху, были исполнены колдовской прелести.

Глава 10

РОКОВОЕ ТРИНАДЦАТОЕ

В дверь постучали.

— Да-да, — сказал Коцебу. — Иду.

Он поднес фонарь к часам. Стрелки приближались к полуночи: пора на вахту.

Благодать южных широт канула в прошлое. День ото дня свирепели штормы, становилось холоднее, и теперь уж без всякой радости вступали на очередные вахты, неизменные,

¹ Таро — тропическое растение с крупными клубнями; употребляется в пищу.

как смена времен, и матросы, и Шишмарев, и сам капитан Коцебу.

На палубе Отто сразу же оглох и ослеп: океан ревел, соленые брызги колкой метелью неслись поверх брига. Качало отчаянно. Шторм переходил в ураган. Двое матросов едва управлялись со штурвалом, удерживая «Рюрик» на курсе. Увидев Прижимова, Коцебу постарался улыбнуться:

— Ну как, братец, а? Круто забирает, однако!

— Эх, ваше благородь, не пришлось бы того, — серьезно отвечал Прижимов, — число-то тринадцатое!

Ветер рвал с волн седые гребни.

— Береги-и-сь! — завопил кто-то из темноты.

Капитан мигнуть не успел, как водяная громада рухнула на палубу, шмякнула его обо что-то твердое и острое.

Очнувшись, он почувствовал слепящую, как взрыв, боль в груди. Потом, переведя дух, услышал стон: Прижимов уткнулся лицом в палубу.

Вся команда выскочила из кубрика. Доктор с Хорисом унесли Прижимова. Коцебу побрел в каюту. Дотащился до койки — и снова потерял сознание. Боцман накрыл его шерстяным одеялом и на цыпочках ринулся за доктором.

Коцебу долго не поднимался. Разбитая грудь болела нестерпимо. Он до крови закусывал губу. Глаза его стекленели, лицо покрывалось потом. Временами, когда боль стихала, одна и та же мысль жгла мозг: ужели не удастся?! Ужели не исполнит главного? Он подумал: человек умирает, лишь согласившись умереть. Нет, капитан отнюдь не согласен «отдать концы». Вот он сейчас соберется с силами и встанет. Да-да, встанет... Бедный Глеб! Туго тебе одному... Вот он сейчас поднимется... Кто злится на свою боль, тот одолевает ее... Он опирался на локти. В глазах мутилось, он чувствовал на лбу руку Эшшольца...

Двадцать четвертого апреля 1817 года открылись наконец снеговые главицы гористой Уналашки. Два месяца простоял «Рюрик» в гавани.

К бригу ежедневно подходил баркас со свежей рыбой и говядиной. Присланы были и байдары, и алеуты, и толмачи-переводчики — все, что просил капитан прошлым летом.

Коцебу чувствовал себя дурно. И все же, когда наступил час съемки с якорей, он вышел из каюты; он спокойно командовал. Однако уже через пять дней плавания нестерпимая боль уложила капитана на обе лопатки.

Доктор опасно посматривал на его побелевшее лицо с запавшими глазами. Осторожно щупал пульс. Пульс слабел. Глубокий, продолжительный обморок. И внезапно — судороги. Потом — кровохарканье. И опять — судороги.

Приуныли на бриге, не слышать уж ни шуточек Шишмарева, ни вечерних песен на баке. Какие там шуточки да

песни... Все ходят на носках, разговаривают вполголоса, и Петруха Прижимов, вздохнув, повторяет:

— Проклятое тринадцатое. Это, братцы, все одно что по-недельник.

Обогнув остров Святого Лаврентия, моряки встретили сплошной лед, и тогда Эшшольц напрямик объявил, что капитану нельзя оставаться не только среди льдов, но и близ них, а ежели он будет упорствовать... Эшшольц умолк. Коцебу потупился.

В ту ночь капитан «Рюрика» не сомкнул глаз. Желваки вздувались на серых худых щеках. Нет, черт подери, он пойдет дальше. Пойдет или сложит голову... Но что станет с «Рюриком»? Что станет с экипажем? Он в ответе и за корабль, и за людей. Нравственно велик каждый, кто «полагает душу своя за други свои». Однако велик ли тот, кто честолюбия ради обрекает на гибель товарищей?

Глава 11

ЗАБЫТАЯ ПЕРЕПИСКА

В небольшом эстонском имении Асс к югу от Везенберга¹ Крузенштерн жил отшельником, но постами и молитвам не предавался.

Важный труд замыслил капитан первого ранга: подробный «Атлас Южного моря», обширные к нему комментарии. На долгие годы затягивалась работа, но Крузенштерн не пугался и не унывал: уместна ль торопливость, коли хочешь изобразить графически и описать словесно Великий океан? Он работал над атласом и внимательно следил за всеми открытиями, «обретенными» в том океане.

За полдень капитан первого ранга отодвигал карты и чертежи и рассматривал последнюю почту. Член Петербургской Академии наук и Лондонского королевского общества, он часто получал послания ученых-друзей, просьбы оценить то или иное сочинение по мореходству и картографии, предложения написать статью в «Записки адмиралтейского департамента», в английские «Квартальное обозрение» и «Флотскую хронику». А с тех пор как с борта «Рюрика» начали поступать донесения, Румянцев, по старой приязни, просил Ивана Федоровича делать из них извлечения «для удовлетворения любопытства читающей публики».

В восемьсот семнадцатом году Румянцеву стало известно

¹ Везенберг — ныне город Раквере.

об открытии на Аляске обширного залива, названного именем Коцебу. Граф радостно сообщил об этом «отшельнику» Крузенштерну, однако присовокупил со вздохом, что сие не есть открытие Северо-западного прохода.

Иван Федорович немедленно отписал в дом на Английской набережной:

Сколь ни желательно сие важное открытие, не могу и ласкать себя надеждою, что оно свершится сим путешествием; но довольно для славы экспедиции «Рюрика», ежели г. Коцебу откроет хотя некоторые следы, могущие вести к достижению сего славного предмета. Весьма щастливо для «Рюрика» то обстоятельство, что Кук в 1778 и Клерк в 1779 годах просмотрели сей обширный залив, который открыл наш молодой мореходец; теперь уже нельзя завидовать англичанам, что они дошли до широты 70°, где, кроме льдов, ничего не видно.

День за днем педантично и сосредоточенно, не думая, что там, в Петербурге, под адмиралтейским шпилем, он мог бы ускорить свою карьеру, трудился моряк-гидрограф.

«Страна коралловых островов»... Что-то еще отыщет «наш молодой мореходец»? Почему знать, как судьба распорядится, может, не решив главной задачи, он сделает славные дела в южных широтах?

Была летняя пора. Звезда Сито из созвездия Плеяды указывала крестьянам начало страдного дня. Поспевала рожь.

В сумерках неподалеку от дома слышался говор эстонцев. Они возвращались с полей и видели, как в доме морского капитана зажигаются огни.

Неприметно накатила зима, обильная снегопадами. Замело дороги, и почтовые тройки, позвякивая колокольцами, не без труда добирались до уединенной мызы¹ к югу от городка Везенберга.

Крузенштерна не манили ни чопорные баронские семьи в Ревеле, ни блистательный Санкт-Петербург. Разве что встретиться б там с Николаем Петровичем. Что-то подельывает неутомимый старик? Да и в столице ли он, не уехал ли в свой Гомель, без помехи заняться милыми сердцу российскими древностями?

Чу, колокольцы! Все ближе, ближе... Почта! Эх заиндевел почтарь-то... Ну-е-с, поглядим, поглядим, что там новенького на божьем свете!

Так и знал! Прямо-таки удивительный старик, этот граф Николай Петрович. Вот, пожалуйста, «Рюрик» еще в море, а он уже толкует о другой экспедиции. Прав английский сочи-

¹ Мыза — хутор, загородный дом с хозяйством.

нитель, сказавший о Румянцеве: «Его свободный патриотический дух заслуживает глубочайшего восхищения».

Несколько раз перечитал Крузенштерн румянцевское послание, но ответом медлил: надо хорошенько все обдумать.

В снежные сумрачные декабрьские дни восьмьсот семнадцатого года между эстонской мызой и особняком на Невской набережной завязалась оживленная переписка.

Давно уж утонули в архиве эти листы, как погрузились на дно старые, отслужившие срок фрегаты. Но так же как корабельные останки, пропитанные солью морей, горят в каминах редкостно красивым пламенем, так и эти листы, будучи прочитаны ныне, лучатся пытливым мыслью.

Вот что отвечал Иван Федорович 19 декабря 1817 года:

Сиятельный граф! Милостивый государь!

Занявшись сочинением, которое непременно нужно было мне кончить без прерывания, не выполнил поспешно приказания Вашего сиятельства, чтобы доставить Вам мысли свои касательно предполагаемой Вашим сиятельством экспедиции в Баффинской залив¹.

Точное исследование сего обширного залива любопытно по двум причинам: во-первых, ежели существует сообщение между Западным и Восточным океанами, то оно должно быть или здесь, или в Гудзоновом заливе. Последний залив осмотрен разными мореплавателями, и хотя еще есть в оном место, не со всею строгостью исследованное, но более вероятности найти сие сообщение в Баффинском заливе, нежели в Гудзоновом; во-вторых, относительно географии, обозрение сего залива весьма любопытно, ибо он со времени открытия его в 1616 году не был никогда осмотрен; новейшие географы сомневаются даже в истине его существования, по крайней мере, не думают, что Баффин² действительно видел берега, окружающие сей залив. Читав журнал Баффина, я твердо уверился, что он обошел берега оною, хотя, конечно, нельзя полагать, чтоб он сделал им верную опись. Сомнение, действительно ли существует Баффинской залив, родилось, может быть, от предполагаемых трудностей плавания по морю, наполненному почти всегда льдом.

В 1776 году лейтенант Пикерсгил отправлен был английским правительством для исследования берегов Баффинского залива, но он не прошел далеко, скоро возвратился. Вот единственный опыт, сделанный для того, чтобы узнать сколько-нибудь о сем заливе; неудача сего предприятия, произведенного, впрочем, не искусным морским офицером, учеником славного Кука, не дока-

¹ Ныне море Баффина.

² Баффин Уильям (1584—1622) — английский полярный исследователь, участник ряда арктических экспедиций.

зывает, однако, еще невозможность успехов вторичного предприятия...

Итак, ежели Вашему сиятельству угодно будет нарядить экспедицию в Баффинской залив, то два важных предмета исполнятся: 1) опись малоизвестных берегов сего залива; 2) решение задачи о существовании сообщения одного с Восточным океаном.

Но, по моему мнению, сия экспедиция не должна быть принята прежде возвращения «Рюрика» по следующим причинам:

1) что мы тогда известны будем о успехах его в западной части сего края, все замечания, им там сделанные, могут много способствовать подобным исследованиям с восточной стороны;

2) что сей важной экспедиции кажется никому нельзя поручить с такую верною на успех надеждою, как нашему молодому моряку. Я уверен, что он охотно примет на себя начальство сей экспедицией, он преисполнен ревностию и еще в таких летах, в которых можно все еще принять;

3) надеяться можно, что «Рюрик», с некоторой починкой, может годиться и для сего путешествия.

На сию экспедицию должно употребить непременно два года, не только для того, что в одно лето нельзя всего осмотреть будет, но и чтобы дать начальнику довольно времени выполнить сделанные ему поручения с всею возможною точностью, даже определить можно и третий год на сие исследование. Зимовать, я полагаю, по крайней мере одну зиму, на Гренландском берегу, где датчане имеют разные заселения...

С божиею помощию «Рюрик» возвратится в исходе 1819 года; 1819 год пройдет на исправление «Рюрика» и на приготовление к сему предприятию, а в 1820 году отправится рано в назначенный путь, а в 1822 году возвратится... Представляю, впрочем, мною здесь сказанное на Ваше благоусмотрение. Остаюсь в ожидании Ваших дальнейших указаний...

Десять дней спустя — 29 декабря — Румянцев писал Крузенштерну

Милостивый государь мой Иван Федорович!

Благодарю за письмо, каковым меня удостоили от 19 декабря. Я с большим вниманием прочел ученое Ваше в нем рассуждение о Баффинском заливе; любопытно бы было берег одного объехать и окончательный географический жребий определить так называемому Жамесову острову и сообщению двух океанов, но время есть, и я представляю себе лично о том с Вами беседовать.

Однако времени уже не было. Правда, Румянцев еще не мог знать об этом. Дело-то в том, что едва Крузенштерн успел отправить обстоятельный ответ Николаю Петровичу, как на мызу Асс пришел пакет из Лондона.

Без малого два месяца добирался этот пакет с берегов

Темзы. Письмо, писанное в кабинете британского адмиралтейства, было датировано 3 ноября, попало же оно в руки капитану первого ранга в канун святок. Начиналось оно традиционным «дорогой сэръ», однако на сей раз то была не просто вежливая формула, но обращение совершенно искреннее. Пакет из Лондона прислал Ивану Федоровичу его старинный знакомец и друг Джон Барроу.

Секретарь британского адмиралтейства делился теми же идеями, что и Николай Петрович: Англия бралась за снаряжение большой экспедиции для отыскания Северо-западного прохода.

Итак, два человека — русский в Петербурге и англичанин в Лондоне — замыслили одно и то же. Ну что ж, как говорят французы, «прекрасные умы встречаются».

При сем имею честь, — сообщал Иван Федорович в Петербург, — препроводить Вашему сиятельству копию с письма, полученного мною вчерашнего числа от секретаря английского Адмиралтейства известного г. Баррова. Из оного извольте увидеть, что английское правительство имеет намерение отправить в будущее лето экспедицию в Баффинской залив для отыскания сообщения между Западным и Восточным океанами. Я, конечно, напишу г-ну Баррову, что Ваше сиятельство уже давно решились тотчас по возвращении «Рюрика» отправить подобную экспедицию, но при всем том отложу ответ свой на его письмо, покуда Вы не изволите сообщить мне мысли Ваши касательно английского отправления. Кто бы ни открыл Северный проход, буде он существует, у Вашего сиятельства нельзя отнять, что Вы первый возобновили сию уже забытую идею и что, следовательно, ученый совет только Вам обязан будет за сие важное открытие.

Письмо это быстро достигло столицы. Может, капитану первого ранга подвернулась оказия; может, он наказал почтарю не медлить с доставкой и подкрепил свой наказ щедрыми чаевыми. Как бы там ни было, в последний день года, 31 декабря, Румянцев прочитал его.

Прежде всего, решил он, Англия больше России заинтересована в открытии Северо-западного прохода, в открытии пути вдоль канадских берегов, где рассеяны фактории торговых компаний. Во-вторых, он, граф Румянцев, пусть очень богатый и очень тороватый человек, не может тягаться с морской державой. Он сделал, пожалуй, все, чтобы обратить внимание ученых на решение великой географической загадки. Итак:

С.-Петербург. 21 декабря 1817 г.

Милостивый государь мой Иван Федорович!

Получив письмо, каковым меня удостоить изволили, я с удовольствием усмотрел из приложенной копии г-на Баррова, что английское правительство имеет намерение в будущем лете отыс-

кивать через Баффинской залив сообщения между Западным и Восточным океанами. Я Вас прошу, при приличном приветствии, которое заслуживает сей почтенный муж, сказать ему от меня, что я точно таковое намерение имел, но охотно от оного отстал, предпочитая сам ту экспедицию, которую может снарядить английское правительство, и буду выжидать ее успеха...

Глава 12

ДОМОЙ

В тот самый день, когда старый граф размышлял над письмом Барроу и запиской Крузенштерна, в последний декабрьский день восьмьсот семнадцатого года на бриге все были заняты корабельными работами.

«Двукратное переплытие» Великого, или Тихого, не далось даром. Паруса и снасти, шлюпки и помпы, большая часть обшивки износились, обветшали, сделались непригодными для предстоящего плавания Индийским океаном и Атлантикой. И вот, достигнув Филиппин, бедный, усталый «Рюрик» положил якорь близ Манилы.

Кому рождество, веселье да забавы, а матросам — в руки топоры, парусные иглы, нагели, молотки. Несколько недель взял судовой ремонт; лишь в конце января нового, восьмьсот семнадцатого года лейтенант Коцебу со своим экипажем вступил под паруса.

Многое доведется вынести этим парусам. Они примут на себя ветровой натиск двух океанов. Их выбелит зной Африки, они отсыреют в туманах Ла-Манша. И Балтика ласково овеет те паруса запахом песчаных отмелей, опресненных вод Финского залива...

А покамест на борту шла своим чередом корабельная обыденщина. С восходом солнца свистала дудка, и матросы, шлепая босыми ногами, драили палубу. В семь часов все в ту же тесную каюту сходились на завтрак капитан и лейтенант, натуралист Шамиссо, доктор Эшшольц, художник Хорис.

Все как будто по-старому на корабле, как и год и другой ранее. Но иные теперь вечерние беседы. Теперь уж говорят и мечтают о будущем.

Логгин Хорис грезил Италией, мастерскими римских живописцев, солнцем Калабрии. Думы Эшшольца прозаичнее: тихо улыбаясь, говорит он о родном Дерпте, об университете, о ленивом течении речки Эмбах. Шамиссо видел себя в Берлине: он напишет подробный отчет для натуралистов, одновременно — повествование о плавании «Рюрика», закалит на медленном огне ясную, точную прозу. Когда спрашивали о будущем

Шишмарева, то «русский русский», как звал его Шамиссо, отвечал коротко: «Кронштадт. Флот. — И добавлял: — Люблю, знаете ли, нашу службу, хоть иному и кажется она скучной».

А капитан? Отчего капитан задумчив и хмур?

Да, вот она, эта старая запись в дневнике... Капитан Коцебу, тебе по гроб не забыть, как ты отчаивался в своей каюте. Было тихо, оплывали свечи. Твоя тень была недвижна. А на бриге ждали. Ждал Глеб, ждал Эшшольц. Они твердили: «Нельзя! Надо возвращаться!» Но «да», окончательное «да» должен был сказать ты, «первый после бога»... Оплывали свечи, было тихо. А там, на норд-осте, смутно белели сомкнутые ледяные поля...

И вот она, эта старая запись в дневнике:

Моя болезнь со времени отплытия из Уналашки день ото дня усиливалась. Стужа до такой степени расстроила мою грудь, что я чувствовал в ней сильное стеснение; наконец последовали судороги в груди, обмороки и кровохаркание. Теперь только я понял, что мое положение опаснее, чем я предполагал, и врач решительно объявил мне, что я не могу оставаться в близости льда. Долго я боролся с самим собой; неоднократно решался, презирая опасность смерти, закончить свое предприятие, но, когда мне приходило на мысль, что, может быть, с моей жизнью сопряжено сбережение «Рюрика» и сохранение жизни моих спутников, тогда я чувствовал, что должен победить честолюбие. В этой ужасной борьбе меня поддерживала твердая уверенность, что я честно исполнил свою обязанность. Я письменно объявил экипажу, что болезнь принуждает меня возвратиться. Минута, в которую я подписал эту бумагу, была одной из грустнейших в моей жизни, ибо этим я отказывался от своего самого пламенного желания.

3 августа 1818 года широкие невские воды приняли бриг. Петербург был омыт ливнем, кровли блестели.

Послышалась команда, отдан был якорь, и вот уж мачты кругосветного корабля бросили шаткую тень на Английскую набережную.

Говорят, в ту минуту подняли свои косматые головы каменные львы, что возлежали у подъезда румянцевского дома.

Глава 13

НА МЫЗЕ МАКС

Стояла пора бабьего лета. Покой убранных полей, петушинный распев на зорях и сытое вечернее мычание стада, скрип гладкого колодезного ворота, неспешные разговоры о нынеш-

нем урожай, о том, какая выдаться зима, о дровах и варенье... Благодать деревенской тишины после трехлетнего грохота волн.

Бывший капитан «Рюрика» не оставлял своих проектов. Негоже одним британцам искать Северо-западный путь. Никак негоже, особенно теперь, когда российский флот возобновил дальние вояжи. Англичане англичанами, да и нам не отстать бы.

Он писал «Краткое обозрение предполагаемой экспедиции». Пусть корабли сперва достигнут Сандвичевых островов. Там, в солнечном архипелаге, повреждения исправят и трюмы пополнят. Потом один корабль возьмет курс на Берингов пролив, двинется далее «Рюрика» и оставит за кормой давний рубеж Джеймса Кука, а коли Нептун будет столь милостив, откроет и ворота Северо-западного пути. На сквозное же плавание — из океана в океан — покамест уповать затруднительно... А тем временем другой корабль предполагаемой экспедиции пересечет Великий, или Тихий, и приблизится к Южной матерой земле, к Антарктиде.

Разумеется, высказываясь далее составитель плана, будет, пожалуй, справедливым, ежели первый корабль вверят именно лейтенанту Отто Коцебу...

Поля, проселки, мызы были уже укрыты снегами, когда капитан поскакал на почтовых в столицу. Обернулся он быстро — меньше чем в месяц. Тоненькие листочки — письма Коцебу своему флотскому учителю Ивану Федоровичу — рассказывают о похождениях нашего моряка в столице.

«Вы будете немало удивлены, — сообщал он Крузенштерну, — но мое путешествие в Петербург уже закончено, и дела совершенно успешны». И Коцебу поведал Ивану Федоровичу об этих успешных делах. Прежде всего он представил проект графу Румянцеву. Николай Петрович, говорит Коцебу, «нашел сочинения исключительно хорошими, несколько раз обнял, поцеловал меня и сказал: «Это должно заинтересовать государя». А Коцебу добавляет, что ему, мол, кроме одобрения Румянцева, иной похвалы и не надобно. Потом капитан имел аудиенцию у морского министра маркиза де Траверсе.

Маркиз, настроенный несколько недоверчиво, заговорил наконец всерьез. «Мне кажется, — насмешничает Коцебу, — он понял что «Рюрик» с пользой совершил свое путешествие». И обходительный маркиз с манерами лукавого цередворца любезно предложил Коцебу принять под свою руку будущую экспедицию в Берингов пролив.

А до поры до времени Коцебу нежился в деревенском уединении. Жарко играли печи, наполняя опрятные комнаты тихим сосновым теплом. За окнами сизые метелицы наметали сугробы. Неслышно катились дни.

Коцебу в мыслях своих возвращался к «рюриковичам».

Бестревожно думал об ученых и штурманах: этим жизнь хороша. Но у матросов, у нижних-то чинов... Каково им теперь? Что-то с теми, кому он, капитан, столь многим обязан? Опять тянут лямку строевой службы с ее мордобоем и линьками, на которые так щедры господа офицеры.

Коцебу письменно просил Николая Петровича выхлопотать отпуск бывшим своим соплавателям. Однако отпуск героям «Рюрика» никак не выходил: нужно было высочайшее соизволение. А известно: «до бога высоко, до царя далеко»... И Коцебу жаловался Крузенштерну: «Я уже хлопотал, чтобы матросы, которые находятся в Ревеле, не делали слишком тяжелые работы, но некоторые командиры развлекаются тем, что мучают именно этих людей».

В феврале 1819 года, когда метели перемежались оттепелями, Коцебу пригласили в столицу, к маркизу. Беседа вновь шла об экспедициях в Берингов пролив и в Антарктиду, в подготовке которых участвовали Крузенштерн, вице-адмирал Сарычев — цвет тогдашних «зееманов», то бишь ученых моряков.

Заканчивая аудиенцию, министр поднял на Коцебу блеклые, почти белые глаза, молвил ласково:

— Вы получите корабль. Непременно. А может быть, и два.

И лейтенант, счастливый, веселый, вернулся на свой эстонский хутор. Жди весны, Отто. А потом — в Кронштадт. И настанут хлопотливые предотъездные дни, когда не чужешь под собою ног и ругаешься с портовыми ревизорами, и когда так хорошо жить на свете...

...Был апрель. Дорога еще не просохла. Ямщик-эстонец в шапке с кожаным козырьком степенно правил лошадьми. Шишмарев ехал на мызу Макс. На душе у него было скверно.

Черт подери, Крузенштерн обещал послать Отто утешительное письмо. Письмо письмом, но ему, Глебу, не худо бы напрямик объясниться с Отто Евстафьевичем. Анафемски неприятное дело, а надо, если по совести и чести, надо ехать. И вот он едет, и вот уж неподалеку эта самая мыза Макс.

Поди ж ты, нежданно-негаданно показала фортуна тыл его милому другу. Как все это приключилось, Шишмареву, в общем-то, понятно. Гаврила Андреевич Сарычев, вице-адмирал, недолюбливает Крузенштерна и неприязнь свою простирает на многих его земляков. На Отто в том числе. Да и Крузенштерн, по правде сказать, пересолит. Во главу всей экспедиции прочил именно «своих» — Коцебу, Беллинсгаузена. Вот Гаврила Андреевич и восстал. Нашелся и предлог: Коцебу, говорил Сарычев, отменный мореходец, но здоровьем своим внушает опасения. И генерал-штаб-доктор того же мнения. Крузенштерн было спорить, но поди-ка переспорь Гаврилу-то Андреевича. А податливому маркизу лишь бы тишь да гладь... М-да, как «все это» приключилось, Шишма-

рев понимал. Но вот как «все это» он объявит своему старинному приятелю? Приготовить надо Отто... Сперва про здоровье... Так и так, мол, здоровье, друг, — наивысшее благо, прочее приложится, жизнь-то еще не прожита, ну и так далее. Оно ведь точно: со здоровьем у Евстафьяча швах... Что там ни толкуй, а тринадцатое число... Пусть иные отщучиваются, а нет ничего хуже, как в понедельник с якоря сниматься, и хуже тринадцатого ничего нет. И опять вспомнился Шишмареву распроклятый шторм, после которого капитана «Рюрика» одолела тяжкая болезнь...

Ямщик свернул с тракта, проехал аллеей меж черных, сквозивших на весеннем солнце деревьев и осадил лошадей.

На крыльце стоял Коцебу. Увидев Глеба, он и обрадовался, и удивился. «Ну, помогай, господи», — подумал Шишмарев, вываливаясь из коляски. Они обнялись и расцеловались.

Кабинет был убран просто. Бюро красного дерева, потертый сафьяновый диван, два стула. И трофеи «кругосветки»: костяные наконечники гарпунов с берегов Аляски, сосуд, сплетенный из кореньев на каком-то из атоллов Тихого океана, индейский колчан со стрелами, подаренный в Сан-Франциско.

— А хорошо у тебя в дому-то, — вздохнул Шишмарев, усаживаясь в кресло. — Одно недостает...

— Уже, — весело усмехнулся Отто.

— Когда поспел?

— Недавно.

— Позвольте спросить, сударь?

— Амалия Цвейг.

— Ревельская?

— Ревельская.

— Скоро ли?

— Нет, Глеб, не скоро.

— Отчего же?

— Нетрудно догадаться.

Шишмарев пожал плечами. Отто рассмеялся:

— Когда вернемся, повенчаюсь. А перед отплытием — прошу на обручение.

Шишмарев прикусил губу: «Перед отплытием»... Бедняга ни о чем не догадывается... Отто не заметил замешательства Шишмарева, спросил весело:

— Ну-с, а вы когда же, государь мой? Надеюсь, Лизонька?

Лизонька... Он любил ее, но пока ходил на «Рюрике», Лизонька улепетнула с каким-то мичманом в Севастополь. Шишмарев махнул рукой:

— Срок не вышел, брат. Правда, родительница приглядела соседскую, да я шаркнул ножкой, а матушка в сердцах брякнула: «Экой болван».

Отто смеясь погрозил пальцем:

— Смотри не засидись в женихах.

Он провел Шишмарева в столовую. Денщик накрывал на стол. Шишмарев узнал Ванюху Осинова, матроса «Рюрика».

— Здравия желаю, ваше высококордие, — сказал денщик, подставляя Шишмареву стул.

— Этому, надеюсь, неплохо, — кивнул на него Коцебу и взял графин с вином. — Желаете? А! Извини, душа моя. Ну прошу здешней. — Он переменял графин и налил Шишмареву водки. — Нда-с, Осипову, надеюсь, нехудо. О прочих того сказать не могу.

— То есть?

— Попали наши с тобою матросики... Как это говорится? В ежовые рукавицы? Вот, вот. Не пойму отчего, но особенно достается тем, кто с нами плавал. То ли счеты со мною бог весть за что сводят, то ли еще что, а слышал, нашим несладко. Я уж начальству писал, просил хоть несколько облегчить участь. Ведь три года не в Кронштадте, не в Ревеле — в океане. Труды тяжкие. Никто и слова в ответ. Вот так, братец. Ну, думаю, начнем сборы в поход, кликнем наших, старых. Верно?

Отто был весел, разговорчив. А Шишмарев все больше мрачнел. Конечно, он не повинен, он заслужил свое назначение, и не он перебежал Отто дорогу. И все-таки ему было неловко.

Допоздна засиделись. Шишмарев разглядывал карты, которые Коцебу хотел приложить к отчету о путешествии, а Отто рассказывал, что Крузенштерн торопит, что литератор Греч исправит слог, что граф Румянцев дал денег для печатания этой книги... Спать они улеглись, когда половину третьего пробило.

Проснулся Глеб рано, как привык просыпаться еще в морском корпусе. Он лежал, протирая глаза и потягиваясь. Потом потрянул головой, вскочил с постели, раздвинул портьеры, уютно прозвеневшие бронзовыми кольцами, и тотчас зажмурился от яркого света, и ему почудилось, что он совсем еще мальчонка, дома, и что вот-вот войдет старая нянюшка. От этого весеннего блеска, оттого, что за окнами были сосны, и потому что пахло на него давним, Шишмарев чувствовал себя безотчетно счастливым; стоял у окна, перебирал босыми ногами и улыбался.

Он немного зазяб, все еще улыбаясь и чувствуя себя счастливым, забрался в постель и вдруг пожух, вспомнив, зачем и почему пожаловал на эстонскую мызу... Глеб поднялся и стал одеваться.

За утренним кофе Шишмарев робко спросил Коцебу о здорье.

— Геркулес, — беззаботно ухмыльнулся Отто.

— Уж и геркулес... Поди, судороги хватают, то да се. А? Скажи по чести.

— Оставь. Говорю — геркулес.

— Ну да, ну да, — торопливо согласился Шишмарев. — Я, брат, к тому... Разное болтают...

— Что такое?

— Слышал, понимаешь ли, начальство про тебя у генерал-штаб-доктора справлялось. А он, черт его дери... Словом, как бы это сказать, мнется, что ли... Вот и пошли разные толки... Медики-то они, сам знаешь... Помнишь, наш эскулап Захарьина в Камчатке оставил, а Иван Яковлевич отдышался и теперь, говорят, бригом командует...

— Погоди! Ты это все к чему?

— А к тому, брат, что не послушайся Иван-то Яковлевич, не сойди он на берег, может, и того... А? Не правда ль?

— Захарьин? — нахмурился Отто. — А при чем тут Захарьин?

Шишмарев развел руками:

— Медики, черт их дери... Сам знаешь...

— Ничего я не знаю, Глеб Семеныч. Вижу, виляешь, а не пойму зачем!

Шишмарев сокрушенно вздохнул.

— Генерал-штаб-доктор? — спросил Коцебу, бледнея.

— Ну то есть начисто возражает, дьявол его задери.

— А маркиз?

— Маркиз?

— Да-да, маркиз. Не тьяни, прошу тебя!

Шишмарев молчал.

— Ах вот ты зачем приехал... — негромко и как бы изумленно проговорил Коцебу.

Наступила пауза.

— Кто ж назначен? — вымолвил наконец Коцебу.

— Васильев. Михайла Николаевич. Знаком?

Коцебу не ответил. Потом сказал:

— На другой — ты?

Глеб вдруг взорвался:

— Я! Я самый! А что? Ты пойми, пойми ты, ради бога. Мне что ж было? Отказываться? Ежели б вместо тебя, тогда бы...

Коцебу пристально глянул на Шишмарева:

— Это, Глеб, оставим. Признайся: доктор ли причиной? Или...

Шишмарев смешался. Что тут ответить? Сказать про Гаврилу Андреевича Сарычева? Нет, не хотелось хулить вице-адмирала. За что? Крузенштерн радел Коцебу, а Сарычев — Васильеву.

— Или? — повторил Отто. И, помедлив, уронил: — Впрочем, можешь не отвечать. — Встал, прошелся из угла в угол. — Когда едешь? Нынче?

- Забот-то полон рот...
— Остался бы хоть на день.
Шишмарев, потупившись, проворчал:
— Чего там... Разумеется.

Глава 14

«НАПРАВЛЯЯ ПУТЬ К СЕВЕРУ...»

В кают-компании рассаживались офицеры и штатские. Глеб Семенович поместился во главе стола, заправлял за ворот мундира салфетку. Царило оживление, какое бывает, когда люди готовятся весело и всласть попить.

Вино разлили. Буфетчик обнес всех закуской. Лейтенант Алексей Лазарев, подняв рюмку, возгласил, грацируя:

— Здоговье капитана! С днем ангела, Глеб Семенович! Уга, господи!

— Ура! — грянула кают-компания.

— Во здра-а-а-вие-е-е, — сдобным баритоном выпел корабельный поп.

В тот же миг морской артиллерии унтер Фокин подал знак молодцам-канонирам, и двадцать пушек, грозно рявкнув, окутали едким пороховым дымом военный шлюп «Благонамеренный».

Следующий тост был именинника, и капитан-лейтенант предложил опрокинуть за успех экспедиции, начатой три недели назад: чтоб пройти ей дальше бессмертного Кука.

— Ура-а-а! — прокричали офицеры, астроном Павел Тарханов, живописец Емельян Корнеев и, умолкнув, услышали тоненькое «а-а-а» рассеянного, вечно погруженного в свои мысли натуралиста Федора Штейна.

Все рассмеялись, и застольное веселье началось.

Балтийский ветер нес трехмачтовый шлюп. Вдали бодро горели датские маяки. У горизонта поблескивали огни шлюпов.

Не прошло и недели со дня именин Глеба Шишмарева, как отряд положил многопудовые якоря на рейде Портсмута.

Андреевский флаг был здесь не в диковинку. Многие русские суда посещали этот приморский город. Но в августе 1819 года было нечто символическое в белых флагах с крестовиной из синих полос. Словно бы эстафета: четыре корабля начинали «кругосветку», один заканчивал. Начинали «Восток» и «Мирный» (антарктические) и «Открытие» с «Благонамеренным» (арктические), а заканчивал дальнейшее плавание военный шлюп «Камчатка». И вот Портсмутская гавань оказалась местом свидания пяти капитанов — командиров антарктичес-

ких судов Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, командиров арктических судов Васильева и Шишмарева и командира «Камчатки» Головнина.

На следующий день «Камчатка» ушла из Портсмута. А вскоре зыбкие пути-дороги развели Васильева и Беллинсгаузена.

«Открытие» и «Благонамеренный», обогнув Африку, одолев Индийский океан, подошли спустя несколько месяцев к Австралии. В ранний час февральского дня 1820 года вахтенные заметили маяк Порт-Джексона, плоский песчаник Новой Голландии, как тогда называли пятый материк.

Редкий наш мореход мог похвалиться знакомством с далеким Порт-Джексоном, одной из лучших гаваней мира. Прежде гостевали здесь лишь «Нева» капитана Гагемейстера и «Суворов» Михаила Лазарева.

Губернатор, старый бодрячок генерал Макуэри, тоже некогда был путешественником. За чаепитием (под окнами прыгали кенгуру, а с деревьев свешивались хохластые бело-розовые попугаи) Макуэри удивил офицеров рассказами о... России. Он был, наверное, единственной персоной во всей Австралии, которой довелось видеть Петербург и Москву, Волгу и Астрахань. Правда, вояжировал генерал в молодости и многое перезабыл, но слово «подорожная» крепко ему врезалось в память, что, конечно, доказывало истину его слов о тиранстве станционных смотрителей.

Главное излагалось так:

Производить свои изыскания с величайшим усердием, постоянством и решимостью. Направляя путь к Северу, ежели льды позволят, употребить всемерное старание к разрешению великого вопроса касательно направления берегов и проходов в сей части нашего полушария... Встретив препятствие к проходу на север, северо-восток или северо-запад на шлюпках, употребить для сего бот, байдары или другие маленькие суда природных жителей и не упускать также предпринимать экспедиции берегом, буде найдете к этому средство.

У африканских берегов расстались недавно корабли первого и второго отрядов, первой и второй «дивизии»; теперь, в мае двадцатого года, миновав тропики и достигнув 33°18' северной широты, простились суда васильевского отряда. Шишмарев лег курсом на остров Уналашка, а капитан «Открытия» — к Петропавловску-на-Камчатке. Летом они должны были встретиться в заливе Коцебу и приступить к «решению великого вопроса»...

С восходом солнца штурман «Благонамеренного» Петров, тот, что плывал на «Рюрике», посылает своего помощника осмотреть горизонт. После приборки лейтенанты Игнатьев и Лазарев обходят судовые помещения. Штаб-лекарь и фельд-

шер следят за пригодностью провианта, велют побольше давать кислой капусты да щавелю — против цинги. Старший плотник, по-тогдашнему тиммерман, рачительно заглядывает во все уголки шлюпа. Бочар мастерит бочонки-анкерки. А матросы? Обыкновенное дело — слушай дудку: «Вахтенной смене — вступить! Подвахтенным — вниз!»

Идти по следам «Рюрика» значит для Шишмарева идти знакомым курсом. Остров Уналашка, селеньице Иллюлюк, пристань с двумя пушками, а вон деревянная банька, где некогда знатно парились «рюриковичи». Опять Уналашка, и опять путь в Берингов пролив. Будут ли они счастливее «Рюрика»? Но, до того как начать борьбу со льдами, надо исправить такелаж, догрузить балласт, налиться пресной водою.

В середине июня «Благонамеренный» снова в походе. Три недели спустя Глеб Семенович «посетил тот уголок земли», где когда-то вглядывался в даль, веря и боясь верить. Теперь знал — залив. Человек, имя которого он носил, мечтал, что этот залив послужит будущим мореходам опорной базой.

Впрочем, не одним русским морякам ведомо было уже открытие капитана «Рюрика», не они одни, оказывается, пенили светло-свинцовые воды залива. Проворные янки появились в заливе Коцебу следом за «Открытием» и «Благонамеренным», и американский бриг «Педлер» вежливо салютовал «дивизии». Шкипер Джон Мик привез кое-какой товарец, надеясь сбывать его туземцам. Мик тотчас заявил, что его соотечественник, некий мистер Грей, болтался тут прошлым летом и сделал подробную опись залива Коцебу... К сему еще он прибавил, что Греева карта, конечно, точнее русской.

— О-о! — недоверчиво протянул Шишмарев. — Мне было бы весьма любопытно...

Вскоре Глеб Семенович и лейтенант Лазарев пожаловали на «Педлер». Шкипер вытащил карту из футляра, распластал на столе. То была грубая копия с карты Отто Евстафьевича Коцебу.

— Грей объехал на байдаре весь залив, — трезвонил Джон Мик, не замечая иронического прищуря русского капитана. — Он обмерил глубины шестом. Видите эти отметки?

— Господин шкипер, — серьезно сказал Шишмарев, хотя глаза его лукаво искрились, — господин шкипер, я сам излазил сей залив вместе с моим другом, почтенным капитаном Коцебу. Смею заверить: ваша карта сделана по нашей карте. Что ж до глубин, то прошу прощения, сэръ, тут не возьмешь шестом: в иных местах она пятнадцать сажений! Стало быть?..

Джон Мик старательно раскуривал трубку; табак в ней долго не разгорался. Наконец американец пыхнул дымом, задумчиво всмотрелся в сизое облачко, пробившееся сквозь борду, и, подняв голову, невозмутимо переменял разговор...

Поутру 17 июля шлюпы с трудом выбрали якоря — вязкий

грунт так засосал их, что на лапах и штоках налипло до пятидесяти пудов глины.

Лишь только корабли вышли в море, как вскоре потеряли друг друга. Впрочем, капитаны предвидели неизбежность раздельного плавания: трудно, пожалуй, и невозможно держаться вместе, когда стоят туманы и дуют переменные ветры.

«Благонамеренный» шел вдоль берегов Аляски. Даже в полдень термометр не показывал выше полутора градусов. Небо то светлело в приглушенном облаками солнечном свете, то темнело в «густых туманах с мокротою», а то и вовсе покрывалось мрачностью.

Уже десятые сутки Шишмарев лавировал к северу от мыса Лисбурн и наносил на карту высокий утесистый берег. Изредка канониры палили из пушек, подавая сигналы Васильеву. Но тяжелый вал пушечного гула безответно тонул в волнах.

Васильева полонили дрейфующие льды.

К вечеру, — записывали 21 июля на его шлюпе, — увидели первые льды на NO... Ветер позволил идти на N, но простирающиеся льды от O на N заставили переменить курс к W. Когда лед стал пореже, взяли по-прежнему курс на N, но вскоре опять от густоты льда должны были повернуть.

Два дня спустя:

После полудня показались льды между румбами O и S, ветер отошел к OSO, легли на S, туман стал пореже, льды имели направление от N к W.

И так час за часом: льды окружали — шлюп менял курс; льды перли с востока, с запада, с севера — шлюп лавировал; течение властно прижимало корабль к голубеющим ледяным полям — ялы и баркасы с превеликим трудом оттаскивали корабль прочь. Как в песне:

Паруса обледенели,
Матроз лица побелели.
Братцы побелели.
Трещат стены, мачты гнутся,
Снасти рвутся все с натуги.
Да, братцы, с натуги.
Сам создатель про то знает,
Как матроз в море страдает.
Да, братцы, страдает...

И все же они поднимались к северу. Определили широты: 69°16' возвещает шканечный журнал. Шестьдесят девять градусов шестнадцать минут... Отступая, лавируя, вновь устремляясь вперед, единоборствовал экипаж со льдами.

Двадцать девятого июля необозримая ледяная пустыня простерлась до горизонта. Определили широту: 71°6'! Кук, сам бессмертный Кук поднялся на своем корабле только до 70°44' северной широты!

— Поздравляю господу, — сдерживая радость, объявляет Васильев. — Поздравляю! Мы прошли дальше капитана Кука. На два десятка миль, господу.

Рубеж Джеймса Кука остался позади. Однако путь вперед был заказан. Ну что ж, не сразу Москва строилась. Шаг за шагом, терпеливой отважностью победят капитаны Северо-западный проход. И Васильев ложится на обратный курс. Зимние месяцы отдаст он исследованиям в Тихом океане; будущим летом, собравшись с силами, повторит штурм Ледовитого.

Десятый день раздельного плавания «дивизии» подходил к концу, когда шишмаревские марсовые восторженно заголосили: показались паруса «Открытия»!

Минула ночь, утро забрезжило чистое, и над палубами судов при кликах «ура» взлетели шапки.

Наш мимолетный знакомец дон Луи Аргуэлло по-прежнему «царствовал» в Сан-Франциско. Ему давно уж осточертели и гарнизонные учения, и картежная игра, и заплывшие жиром падре.

Ноябрьский вечер дон Луи провел по-всегдашнему: в захмелевшей компании было немало смешного и ничего веселого.

На другой день слуга еле добудился дона Луи, и едва тот продрал очи, как услышал пушечный салют. Появление судна всегда было событием необыкновенным: испанские власти все еще не желали заводить в колониях морскую торговлю. Комендант вскочил, ополоснул мятое, заспанное лицо холодной водой, надел мундир и направился к пристани.

И точно: трехмачтовый шлюп стоял на рейде. От него уже отвалил ялик. Ялик подошел к пристани, и морской офицер Алексей Лазарев представился кавалерийскому офицеру Луи Аргуэлло. Испанец спросил Алексея, не знаком ли ему другой Лазарев, по имени Мигэль. Алексей кивнул: Михаил — его родной брат.

— О, — обрадовался Аргуэлло, — я помню, как капитан дон Мигэль гостил у нас. Корабль «Суворов»? Да? Черт возьми, я все отлично помню, сударь. Это было за год до «Рюрика».

И, вспомнив бриг, Аргуэлло с живостью осведомился, нет ли на этом русском корабле — он показал на «Благонамеренный», — нет ли кого с «Рюрика». Услышав «Шишмарев», комендант тотчас пригласил офицеров к себе домой.

На другой день к «Благонамеренному» присоединилось «Открытие». Если Капитанская гавань на Уналашке и залив Коцебу служили промежуточными опорными пунктами для северных исследований, то в Сан-Франциско готовились шлюпы к научным занятиям в южных широтах.

Баркасы повезли на берег астрономические инструменты и

палатки, повезли кирпич, захваченный еще в Кронштадтском порту, мешки с ржаной мукой. Матросский заботник капитан Васильев недаром прошел добрую школу на черноморских кораблях Ушакова; он решил побаловать служителей свежими хлебами.

На берегу из русских кирпичиков сложили русскую печь. Вскоре вахтенные, принявшись к бризу, уже чувляли домовитый запах ржаных хлебов, а на зорях баркасы доставляли командам теплые караваи.

Экипажи приводили в порядок парусное вооружение. Штурман Рыдалев и капитан Шишмарев с мичманами занялись описью залива Сан-Франциско.

К февралю 1821 года такелажные работы были закончены, и дон Луи опечалился. Каждый раз, когда корабли уходили из гавани, он ощущал едкую тоску.

Самые золотые сны, заметил Шиллер, снятся в тюрьме. Алексей Лазарев мог бы добавить: и на корабле...

Алексей заложил руки под голову и постарался вновь представить все, что ему недавно пригрезилось. Однако пленительный облик Истоминой никак не являлся лейтенанту. Он вздохнул, сунул руку под подушку и достал миниатюрный портрет: сердечный друг Дуняша, чуть склонив гладко причесанную головку, томно глядела на Алешеньку.

Даже венецианки и далматинки, которыми пленялся он, плавая мичманом в эскадре Сенявина, — даже они не могли сравниться с Дуняшей. Ах, как далек он в сей час от нее, как далек от Петербурга! Розовая жизнь была у него в Петербурге: гвардейский экипаж, балы, придворные яхты, петергофские празднества. Вот и теперь над гранитами Санкт-Петербурга мерцают белые ночи. В ресторациях и кондитерских огней не зажигают, но столичные франты читают «Гамбургский вестник»: в белые ночи сиживать за столиком именно с этой газетой — высший шик. А гулянья в Летнем саду? Все призрачно, все таинственно, как сами белые ночи. Чудо, ей-ей, чудо...

Впрочем, на кого сетовать? Сам напросился в дальний вояж, сам подал рапорт начальству и добивался назначения к Шишмареву. Нечего тужить, брат! Пробьют склянки — марш на палубу. А на палубе, поди, снег да туман, и окрест льды, льды...

Лейтенант поцеловал Дуняшу, спрятал портрет и потянулся к столу за своими поденными записками. Рассеянно перелистал страницы, исписанные коричневыми чернилами. Вот зимние заметы о Сандвичевых островах и Ново-Архангельске, а вот и теперешние, лета 1821 года.

В три часа ночи, когда мыс Сердце-Камень находился от нас на юго-запад, мы увидели лед, простиравшийся от северо-запада

к западу-юго-западу. Он состоял из больших и малых кусков, сплотившихся весьма тесно, отчего никакого прохода между оным не было. Быв тогда в широте $67^{\circ}6'N$, долготы $188^{\circ}42'O$, мы легли к берегу вдоль льда, который беспрестанно занимал все пространство между оным и нами, отворачивая к югу. Наконец, идя все вдоль льда, мы увидели себя совершенно им окруженными, как бы в озере, только оставался проход к северо-востоку, куда и направили мы путь свой. На льду лежали моржи в великом множестве и по столько на каждой льдине, сколько могло поместиться, отчего лед казался черным...

Ветер дул сильными порывами, иногда было тихо, но волнение развело весьма сильно. Мы радовались такому ветру, думая, что оным много льда уничтожится и очистит нам путь к Северу...

В сие время показался мелкий лед, плававший отдельно, а в половине первого часа сквозь туман оный, густо сплотившийся, прямо перед нами, почему, поворотя, легли в дрейф, чтобы, обождав прочистки тумана, видеть, куда можно поворотить путь...

Склянки пробили, и Алексей, отложив дневник, выбрался на палубу сменить вахтенного офицера. «Дивизия» Васильева опять шла на север, «Благонамеренный» держался азиатского берега, «Открытие» — американского.

Паруса обледенели,
Матроз лица побелели...

В числе прочих гидрографических задач Васильев предписал Шишмареву, «пройдя Берингов пролив, искать прохода вдоль северо-восточного берега Азии и в Северном море».

А если льды не пустят, тогда, приказывал Васильев, «предпримите курсы к северу по разным направлениям, а буде найдете идти невозможным, постарайтесь берег Азии описать подробно до широты, какой вы можете достигнуть».

В первый день августа «Благонамеренный» был на широте $70^{\circ}13'$, а два дня спустя огорченный Шишмарев признал, что далее «идти невозможно». Да и как было идти? Вокруг точно из пушек палили: льды громоздились, лезли, грохотали, сшибались. И пятисоттонный корабль со всеми своими палубами, мачтами, орудиями стонал, как раненый, медленно и страшно кренясь на левый борт.

Пятнадцать градусов... Двадцать... Доколе, о господи?! И вот уж роковой сорок пятый... «Благонамеренный» почти лег на борт, беспомощно скосив жалкие мачты.

Баркасы и шлюпки изготовили к спуску, анкерки с пресной водою, провизию уложили. Ну и что? Случись беда, шлюпки примут лишь часть экипажа, душ тридцать, ну сорок из восьмидесяти. И ничего больше не придумаешь. Матушка-

заступница, царица небесная, спаси и помилуй. Молись, корабельный поп, молись, долгогривый, не зря морской рацион жрешь!

А на васильевском шлюпе еще и в ус не дули, еще не знали лиха. Когда в июне Шишмарев получил предписание начальника, Васильев сообщил ему и свои намерения:

По выходе из Уналашки я предполагаю на первые идти к мысу Невенгаму, взяв с собою и мореходный бот, осмотреть берег от сего мыса до Нортон-Зунда, потом в Ледовитое море, вдоль берегов северо-западной Америки искать прохода в Северное море. Встретив препятствие, сделать покушение, где льды позволяют, к Северу достигнуть сколь возможно большей широты и, наконец, возвратиться к 15 сентября в Камчатку.

Так он и поступил. Миновав мыс Невенгам, моряки увидели гористый заснеженный берег. Васильев, к удивлению, не мог найти на адмиралтейских картах эту береговую черту. Тогда капитан-лейтенант велел стать на якорь.

Едва боцман доложил, что «якорь забрал», как к борту «Открытия» подошла байдара с туземцами. Они впервые встретились с европейцами, европейцы впервые встретились с ними.

Вечером, водрузив русский флаг на неизвестном доселе большом острове Нунивок, присвоив его мысам имена своих лейтенантов, а всей земле — имя своего шлюпа, Васильев продолжил плавание к норду.

В те самые дни, когда на «Благонамеренном» ждали гибели, офицеры «Открытия» спокойно описывали американский берег. Однако у мыса Ледяного кончилась «масленица», и они испили ту же горькую чашу, что и моряки Шишмарева.

Ветер крепчал. Толсто гудели ванты. Наискось лепил мокрый, хлопьями снег. Льды колотились в борта, оставляя на медной обшивке огромные вмятины. Матросы, сцепив зубы, наваливались грудью на длинные шесты — отталкивали, отпихивали льдины. А льды ломили напропалую, затирали корабль.

Глава 15

ДЕПЕША ИЗ КАНАДЫ

Отворились стеклянные двери, свет из сеней озарил каменных львов. В дом на Английской набережной Крузенштерн пришел не один. Он привел с собою Глеба Семеновича.

После удара, случившегося лет десять тому назад, Николай

Петрович совсем было оглох. Однако, как ни странно, с годами слух несколько восстановился, граф уж не заставлял собеседника пользоваться доской и грифелем, а только просил изъясняться погромче. Что же до Глеба с его басом, привычным орать команды, то этого, пожалуй, просить нужды не было.

— Иван Федорович предварил меня, — начал Шишмарев, усаживаясь поудобнее, — вам, ваше сиятельство, известен общий ход нашей экспедиции...

— Известен, сударь, известен, — отвечал Румянцев, на минуту опуская рожок. — Но меня, как встарь, занимает мысль о сообщаемости океанов, Берингов пролив, сударь, во всех подробностях. Таить нечего: надеюсь, в Беринговом начинается тот путь. — Он коротко улыбнулся. — Или заканчивается. Это уж с какой стороны считать.

— Хорошо-с, ваше сиятельство. Я тут принес, вот извольте. — И Шишмарев извлек из футляра карту Берингова пролива. — Новехонькая, по нашим с Михайлой Николаевичем Васильевым разысканиям.

Покамест Румянцев с Крузенштерном смотрели карту, Шишмарев повествовал о плаваниях и лавировках во льдах и кончил тем, что, как там ни похваляйся, вот, дескать, бессмертного Кука обскакали, однако вернулись — не прошли Северо-западным путем.

— Молодой квас, неубродивший, — рассмеялся Николай Петрович и сказал Крузенштерну: — Все-то молодым мало, а? — И опять отнесся к Глебу Семеновичу: — Ни один мореходец без вашей карты не обойдется, сударь. Не так ли? А если так, то и нечего бога гневить. Вон, глядите, уж на что англичане-то прыткие, а тоже знаете ли... Впрочем, сей предмет для Ивана Федоровича коронный... Иван Федорович, батюшка, что там ваш-то Барроу пишет? Как там у них, а?

Взметывался огонь в камине. Осенний день — стоял октябрь 1822 года — быстро мерк. Злой дождь торопко стучал в окна, и было слышно, как с кронверка Петропавловской крепости палила пушка, пугая близостью наводнения.

Крузенштерн толковал о новых и новых английских «покушениях» к отысканию Северо-западного прохода. Румянцев кивал седой головою; Шишмарев слушал, сжимая подлокотники кресла, подавшись вперед. А как только умолк Крузенштерн, граф, загадочно мигнув Глебу Семеновичу, потянулся к столику, на котором лежал портфель зеленого сафьяна.

— Вам граф Григорий Владимирович знаком? — осведомился Румянцев. — Граф Орлов? Нет? А тогда прежде два слова. Он, видите ль, чужбинничает. Италия, Франция, недавно в Лондоне гостил. Чужбинничает... — повторил Румянцев как бы несколько насмешливо. — Я тут об отечественной истории хлопочу, а он, изволите видеть, историю Неаполи-

танского королевства сочинил. Ну господь с ним, пусть... Есть за Григорьем Владимировичем страсть: своеручники обирает, автографы. Готов за ними на край света. Как я, грешный, готов за нашими летописями... И вот представьте, будучи в Лондоне, раздобылся он у господина Барроу... — Николай Петрович сунул руку в портфель, искоса наблюдая, как при имени секретаря британского адмиралтейства насто-рожились моряки. — Где же оно? А? Спаси бог утратить... Граф Григорий переслал при строжайшем наказе — вернуть, вернуть непременно... Где же оно?.. (Шишмарев с Крузенштерном понимали, что Румянцев лукавит, медлит нарочито.) Ах вот! Прощу-с! Те-те-те, осторожно, господа.

Иван Федорович завладел листком, но держал так, чтобы и Шишмарев мог читать.

И они прочли:

*Форт Провиденс, 62°17' с.ш., 114°13' з.д.
2 августа 1820 г.*

Милостивый государь!

Я уверен, Вы будете довольны, что экспедиция готова направиться к р. Коппермайн. Индейский вождь и его партия вчера отправлены вперед, а мы последуем за ним сегодня после полудня. Я задержался, чтобы написать это письмо. Я был так занят со времени нашего прибытия, 29 июля, переговорами с индейцами и разными необходимыми делами, что не был в состоянии написать ни лордам адмиралтейства, ни Вам столь подробно о наших намерениях, как этого хотел, но, так как мое письмо г-ну Гентхему содержит общие основы полученных сведений вместе с картой предполагаемого дальнейшего пути, я надеюсь, что лорды адмиралтейства и Вы не примете это за невнимание к Вашим указаниям по этому поводу. Каждое мгновение так дорого для людей в нашем положении, когда сезон для действий столь краток, что нельзя терять ни минуты. Я очень озабочен тем, чтобы отправиться немедленно для того, чтобы скорее нагнать индейцев, согласно обещанию при их отъезде.

И подпись: «Джон Франклин».

Часть вторая

ШАГ ЗА ШАГОМ

Глава 1

В «ПЕТУШЬЕЙ ЯМЕ»

— Леди и джентльмены, только один боб! Только один боб! — кричал служитель балагана мистера Уэлса, весело размахивая шляпой.

Почтенные жители Спилсби, городка графства Линкольншир, бросали в шляпу шиллинг — по-уличному «боб» — и ныряли в сумрак балагана, откуда доносилось пение скрипок, гуд контрабаса, слоновьи вздохи барабана.

— Только один боб! — кричал служитель, отвешивая поклоны и размахивая шляпой.

«Б-о-об...» — печально, ударами погребального колокола отдавалось в душе десятилетнего мальчика. Эх, если бы отец дал ему этот проклятый шиллинг! Отец! Мальчуган испуганно оглянулся на окна дома, что стоял, увитый плющом, на другой стороне улицы. Охо-хо-хо, недреманное око следило за сыном. Джон вздохнул, как осужденный.

Ну конечно, отец подждал его в своем виндзорском кресле с резной деревянной спинкой: «Джон, сколько раз я говорил...» — и кивнул на стену, где висела гибкая витая ременная плетка. Нет нужды объяснять, что именно говорил отец столько раз, — говорил он, чтоб Джон не смел околачиваться у входа в заведение бездельника Уэлса. Все это Джон знал прекрасно, знал, что наказания не миновать, но искушение было так сильно, так необоримо... Он подал отцу плетку и стойчески перенес очередную порку.

Поздним вечером семья бакалейщика Франклина, отужинав холодным ростбифом и крепким чаем, разошлась по комнатам. Джон лежал в постели: оперев подбородок на кулаки, он предался мечтам. Занятие это стояло у него на втором месте после восхитительного — и одновременно мучительно-го — пребывания у дверей балагана.

Братец Джеймс, благовоспитанный Джеймс, уже сопел. Сестрицы за стеною, похихикав, утомонились. В доме было совсем тихо, если не считать четкого постука больших часов с веселым солнцем и печальной луной на циферблате да таинственного поскрипывания, ибо привидения уже вышли на свои ночные прогулки.

Поразмыслив о привидениях, Джон задумался о том, что хорошо было бы смастерить лестницу, высоченную лестницу — до неба. Вот она уже готова, эта необыкновенная лестница. И он, мальчик из городка Спилсби, взбирается выше... выше... выше... Облака остались внизу, облака закрыли городок, всю Англию... И, поднявшись над облаками, он неожиданно и крепко уснул.

Джон спал, не подозревая, что в соседней комнате решается его судьба. Уильям Франклин с основательностью бывшего фермера, а ныне преуспевающего торговца толковал что-то жене. Жена его, успевшая за долгие годы супружества обзавестись дюжиной детей, безропотно слушала мужа.

Итак, не говорил, а размышлял вслух Уильям Франклин, итак, сыновья выходят в люди, будущее их обеспечено. Старший, Томас, занимается коммерцией и, унаследовав отцовскую сметку, пойдет дальше. Уиллингам учится не где-нибудь — в Оксфорде, и они еще увидят на нем адвокатскую мантию. Третий, Джеймс, поступит, должно быть, на службу в Ост-Индскую компанию, в большую разживу выйти может. Э, что там и толковать — все людьми будут. А младший... Ну, чем плох парень? Вот только эта дурацкая мечтательность. С малых лет видать человека — не быть Джону оборотистым и смекалистым, как отец, как старшие братья. И, выкурив сигару, Уильям Франклин решил: отдадим-ка нашего фантазера в школу, а там уж как господь бог рассудит.

То была грамматическая школа. Не в Спилсби, нет — неподалеку от курортного городка, на берегу залива Салтфлит. И не отцовские назидания, не зубрежки определили судьбу Джона.

Майским днем пришел он с приятелем к морю. Небо было чистое, волны свежо блистали. Рыбацкий парус четко белел вдали. У ног Джона шипела вода, оставляя на камнях пузырчатую радужную пену.

Тихий и важный, словно познав великую тайну, сидел Джон в классе, мечтая о сверкающем море. Улучив время, приходил на свидания с ним, часами созерцал переменчивый, как жизнь, простор. И уже догадывался, что вручит морю свою судьбу.

Однажды Джон заикнулся: не худо бы попытать счастье на службе. Отец замахал руками: и думать не смей! Что за бредни? Как девять английских отцов из десяти, Уильям Франклин был решительно против морской карьеры. Однако сын, как девять английских подростков из десяти, не только «смел», но ни о чем другом и думать не хотел.

Минул год. Джону исполнилось четырнадцать. Парень стоял на своем. Родитель наконец сдался.

«Поглядим, — сказал он, поджимая губы, — что-то запоет наш милый Джон, хлебнув этой соленой каторги».

Джон «хлебнул» на каботажном судне. Воротившись, он прошел мимо балагана мистера Уэлса, хотя теперь в его кармане был уже не один боб.

Несколько дней спустя старший брат Томас повез Джона в Лондон. Томасу чертовски было жаль убивать время на сумасброда. К тому же уже по-осеннему разненастилось. Но — приказ отца!..

Багаж пихнули в плетеную корзину на задке высокой почтовой кареты. Возница длинно прогудел в рожок, карета покатила, разбрызгивая грязь и увозя Джона из страны детства.

Лондон, вопреки ожиданиям, не оглушил его. Был поздний час. На улицах тускло горели масляные фонари. Ночные сторожа погромыхивали трещотками и возвещали, какая на дворе погода, словно обыватели сами не слышали шума дождя и воя ветра.

Братья расположились в дешевой гостинице и тотчас уснули, разбитые дорогой. А утром Томас не обнаружил в номере младшего брата: Джон, презрев ненастье, отправился на прогулку.

Было уже людно. Торговки силовыми голосами предлагали горячие пирожки и грог. Посреди мостовой шагали рослые солдаты в красных мундирах и белых штанах. Из игорных домов, одурев от форо и баккара, разъезжались бледные картежники. Семенили заморыши трубочисты, мальчуганы лет десяти — двенадцати. Дюжие полицейские хмуро поглядывали на толпу, опираясь на длинные палки.

Но вот наконец и старинный Лондонский мост. Вниз по течению тяжелой, темной реки означались бессчетные паруса и мачты. Джон замер: сколько же здесь кораблей?! Где-то там, в лабиринте торговых и военных судов, «Полифем», корабль его величества! «Полифем»... О, это уже настоящая военноморская служба.

Весной 1801 года почтовая карета, та самая, что отвезла Джона в мир, полный тревоги, доставила в дремотный Спилсби очередной и не очень тучный мешок с почтой. В доме, увитом сохлым плющом, отец Франклин, вздев очки, торжественно прочитал чадам и домочадцам первое письмо младшего сына.

— «На королевской военной службе, — произнес Франклин-отец и многозначительно поднял палец. — На королевской военной службе, — повторил он, дабы слушатели осознали важность этих слов, и продолжал: — «Полифем». Ярмут. Одиннадцатого марта тысяча восемьсот первого года. Дорогие родители! Я пользуюсь возможностью сообщить вам, что нам приказано следовать в Балтику, и мы отправимся на этой неделе. Многие думают, что мы идем в Гельсингер и попытаемся взять крепость, другие же полагают, что нам это не удастся.

Я думаю, неприятель отступит, увидев наше могущество...»
Что же это? — растерялся отец. — А? — Голос его задрожал. —
Значит, малыш плывет под ядра датчан?

Мать и сестры всхлипнули.

— Он сам этого хотел, — деревянно брякнул Томас, заку-
ривая сигару.

Все укоризненно глянули на него. Франклин-отец поднял-
ся и сердито зашаркал в кабинет.

«Наш Джон плывет под ядра датчан», — сокрушалось се-
мейство Франклинов, а в эти дни эскадра адмирала Паркера
вспенивала Скагеррак и Каттегат, надвигаясь на притихший
Копенгаген.

Старик Паркер боязливо думал о схватке с датчанами. В
сущности, на эскадре начальствовал не он, а решительный
одноглазый Нельсон.

В те времена политические обстоятельства на континенте
были столь же переменчивы, как осенняя погода на Балтике,
и столь же путаны, как фарватеры у датских берегов. Но одно
было ясно: наполеоновская Франция и купеческая Англия
никак не могут ужиться.

Дания заперла для британцев балтийскую морскую дорогу.
Английское правительство решило силою отворить ворота в
Балтику, и вот эскадра Паркера шла на Копенгаген.

Столицу защищал форт Трех Корон. Прорыв был возмо-
жен лишь через Королевский фарватер. Нельсон испросил у
Паркера разрешения ринуться под огонь неприятеля. Старик,
кряхтя, согласился.

Дело было жестоким. Противники соперничали в храб-
рости. Без малого девятьсот пушек датчан били по британ-
ской эскадре. В разгар боя Нельсону указали на сигнал флаг-
мана.

— Прекратить огонь? — гневно вскричал Нельсон. —
Будь я проклят, если подчинюсь! — Он схватил подзорную
трубу, приставил ее к слепому глазу и совершенно серьезно
заметил: — Что вы говорите? Уверяю вас, я не вижу ника-
кого сигнала!

Джон остался жив. Но — странно! — юноша, очевидно, в
очень малой степени заразился «военно-морским шовиниз-
мом». Победа в Королевском фарватере не воспламенила в
нем воинственности. Запах крови, стоны раненых, пожары —
все это угнетающе подействовало на мичмана.

В те ураганные годы он не грезил об орденах и лентах.
Иная слава манила его. Обаяние Нельсона чаровало Джона,
как и всех морских офицеров, но завидовал он другим —
таким, как муж его тетки, капитан Мэтью Флиндерс, моряк-
географ.

Может, дядюшка порадел «родному человечку», может,
Джон блеснул красноречием, как бы там ни было, а в июле

восемьсот первого года капитан Флиндерс зачислил мичмана на свой шлюп «Инвестигейтор». И вскоре отписал в Спилсби:

С величайшим удовольствием я сообщаю о хорошем поведении Джона. Он прекрасный юноша, и его пребывание на судне будет полезно и ему и кораблю. Мистер Кросслей начал заниматься с ним, и через несколько месяцев, надеюсь, он получит достаточные знания по астрономии, чтобы быть моей правой рукой в этом деле.

«Инвестигейтор» отправился в Австралию. Долгожданное плавание: без пушек, без сигнала, извещающего атаку. Мичман был счастлив. Каждая неделя приносила ему нечто новое, он делался моряком-исследователем, шел тем путем, на котором ремесло морехода как бы сливалось с искусством проникновения в тайны природы.

Два года спустя «Инвестигейтор» потерпел крушение. Моряки едва спаслись. И все же мичман Джон кораблекрушение предпочитал бою. Нет, он не праздновал труса в сражении у Копенгагена, но изучение земли и океана было ему больше по душе, чем истребление себе подобных.

Однако «когда гремит оружие, законы молчат». Оружие гремело в Европе. Молчали не только законы — умолкли ученые. И когда «Инвестигейтор» вернулся в Англию, Джону пришлось надолго позабыть свои мечты.

Звезда Наполеона ярко сияла. Города и крепости сдавались императору французов. Но если Марс был милостив с корсиканцем, Нептун ему не симпатизировал. На море Наполеон никогда не мог добиться решающего перевеса.

Во многих боевых столкновениях участвовал Джон Франклин. Был он и при Трафальгаре. Нельсон тогда поднял сигнал: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг!» Красиво и торжественно. Но то было лишь мгновением в тяжелом, кровавом и совсем не торжественном деле, имя которому — война.

Войне же не виделось конца. Войска маршировали по европейским полям, вытаптывая посевы, а флоты бороздили моря.

Джон жил в общей каюте. Мичманы, по обычаю, отличались буйством: каюта мичманская зачастую напоминала излюбленную лондонцами королевскую петушиную арену, за это-то сходство и называли мичманские каюты «петушья яма».

Как и все, Джон вожделенно ждал сигнала, известного под именем «Ростбиф старой Англии» и означавшего наступление обеда. Тогда он усаживался на деревянную скамейку у деревянного стола и хлебал гороховый суп с кусками солонины (на корабельном жаргоне «соленая ворса»). Недаром говорилось: красавица может поразить мичманское сердце, но дья-

вол не в состоянии поразить мичманский желудок. И впрямь, сам нечистый был тут бессилен, ибо, закончив обед, обитатели «петушьей ямы» выпивали еще по стакану крепчайшего рома.

Чередуясь со сверстниками, Джон отстаивал вахты. Любил утреннюю, не терпел ночную — «собаку».

Ох уж эта «собака»! Приходит унтер, без особых нежностей дергает тебя за ногу, трясет за плечо:

— Пора, сэр!

— Угу... — обреченно бурчит мичман, стараясь увернуться от слепящего фонаря. Унтер неумолим, как рок:

— Сэр, пора!

Делать нечего — собирается мичман на вахту.

А закоренелых байбаков наказывали. Кому, какому вахтенному охота долго ждать сменщика? И вот был некий род возмездия — «срезывание вниз». В сладкий ночной час канат подвесной койки с маху перерубали ножами, и наказуемый при громовом хохоте «петушьей ямы» мгновенно занимал вертикальное положение, а затем, испуганно тараща глаза, ничего еще не соображая, грохался оземь.

По чести говоря, строевая служба быстро наскучила Джону. Но куда было деться, коли война продолжалась? В июне 1812 года пожар объял чуть ли не полмира: Северная Америка бросила перчатку Великобритании, а шесть дней спустя разноплеменная армия Наполеона мутным потоком хлынула в Россию. Война привела Джона к берегам Америки. Он участвовал в блокаде портов, в сухопутных сражениях. Пушки щадили его и у Копенгагена, и при Трафальгаре, но здесь, в Новом Свете, он был тяжело ранен.

Храбрость и распорядительность его были замечены. Ускользнув живьем от врачей, он уже не явился в «петушью яму», а занял отдельную каюту, ибо был произведен в лейтенанты. И теперь, когда барабан бил «Ростбиф старой Англии», возвещая обеденный час, он шел к столу неторопливо — лейтенант не чета мичману: у лейтенантов аппетит нормальный.

Глава 2

«ЗВЕЗДОЧЕТЫ»

Он был похож на пастора. Черный сюртук и черный шейный платок подчеркивали пуританскую строгость его облика. У него было крупное большеносое лицо. Мешочки под глазами придавали ему несколько брюзгливый вид.

Его звали Джон Барроу. Он был секретарем адмиралтейства. Это он, Барроу, оказал некоторые услуги Крузенштерну,

когда тот с Румянцевым готовил экспедицию «Рюрика»; это он, Барроу, писал письма в далекое эстонское поместье; это он, Барроу, составлял историю полярных плаваний и просил у Крузенштерна информации о русских достижениях.

Он, быть может, испытал досаду, когда тотчас после разгрома Наполеона русские взялись за решение великой загадки Северо-западного прохода. Да и как было не досадовать? «Рюрик» уже пересекал океаны, а секретарь английского адмиралтейства, один из учредителей Лондонского географического общества, все еще доказывал необходимость возобновления борьбы. Однако досада не помешала Барроу по-хорошему отнестись к русскому почину. Напротив, «Рюрик» дал ему лишний повод воззвать к чести мореходной нации.

Но Барроу знал, что существуют более мощные рычаги, нежели Честь и Престиж: промышленные и торговые интересы были теми рычагами. Неудача давних поисков Северо-западного прохода заморозила толстосумов. Теперь Барроу «разогревал» их. Англия-победительница, Англия, утвердившаяся на бойких морских перекрестках, вправе ль равнодушно взирать на тайны Арктики? Прежние неудачи ничего не доказывают. Вероятно, ждут новые неудачи. Но не окупятся ли затраты сторицей, если Северо-западный проход достанется Англии?

После долгой и жаркой журнальной перепалки, после обнадеживающих заверений китобоя Скоресби-сына о потеплении на севере, после дотошных разборов всех обстоятельств удалось наконец обломать власть имущих. В 1817 году план полярной экспедиции — той, о которой Барроу писал Крузенштерну, а Крузенштерн писал Румянцеву, — был представлен морским лордам.

Что же до исполнителей, то Барроу не сомневался: найдутся рассудительные смельчаки в стране Кука. Знаток флота, Барроу делил корабельных офицеров на три категории. Самую многочисленную составляли моряки-практики: эти пороха не изобретали, а честно тянули лямку палубной службы. Ко второй категории относились фаты в морских мундирах: эти всему прочему предпочитали теплое местечко в адмиралтействе, коего и добивались папенькиными связями. В третьей, самой отборной, были те, кто отменное знание мореходного дела соединял со страстью к наукам; их в шутку звали «звездочетами».

На «звездочетов» и рассчитывал Барроу.

Лейтенант Франклин жил в Дептфорде. Городок был оживлен почти так же, как театр Ковент-Гарден перед концертами знаменитой певицы Каталани. Кареты катили в Дептфорд — аристократы-лондонцы отправлялись к Темзе,

где стояли четыре корабля. В дилижансах прибывали географы и натуралисты, астрономы и физики. Словом, трактирщикам оставалось лишь благодарить адмиралтейство за то, что оно назначило Дефтфорд местом снаряжения экспедиций.

Вся четверка капитанов принадлежала к «звездочетам». Первым отрядом — корабли «Изабелла» и «Александр» — командовал Росс; подчинялся ему командир «Александра» Уильям Парри. Вторым отрядом — корабли «Доротея» и «Трент» — командовал капитан Бьюкен; ему подчинялся командир «Трента» Джон Франклин.

Четверка знала общие курсы будущих походов, но подробные инструкции еще не были получены из Лондона. Дни проходили в судовых работах, в беседах с лондонскими «паломниками». Интерес к экспедиции и радовал, и утомлял ее участников.

Вечерами Джон Франклин встречался с новым своим другом Уильямом Парри. Помощники начальников отрядов, командиры однотипных судов, а главное — оба, одержимые неизлечимой страстью к географическим исследованиям, Франклин и Парри быстро сблизились и теперь вечерами не могли не потолковать часок-другой.

Они сидели за столиком и тянули эль. Джон, нюхнув душистого табаку, сладостно жмурился и заводил разговор о грядущих подвигах. На лице Уильяма, мальчишеском и бесхитроном, блуждала мечтательная улыбка. А потом наступал его черед.

Уильям закладывал за щеку табак и тоже говорил о грядущих делах там, на Севере.

Поздним вечером Джон строчил письма. Родственников было уйма: братья женились, сестры выходили замуж, у жен и мужей, в свою очередь, были родственники. Вот и приходилось мараить немало, дабы не обиделись, не подумали, что лейтенант Джон задрал нос.

Вы будете удивлены, — писал он в одном из писем, — услышав, с каким количеством людей я познакомился благодаря этому путешествию. Среди них и известные аристократы, и известные ученые. Они представили на наше рассмотрение несколько вопросов, которые надо будет разрешить, и все искренне желали нам успеха...

Ныне только то обстоятельство, что Вы идете на Северный полюс, везде служит достаточной рекомендацией. Я надеюсь, мне представится возможность выказать свою благодарность большим старанием в деле, которое все так близко приняли к сердцу.

В конце марта 1818 года виконт Мелвилл и три других морских лорда утвердили инструкции, составленные Джоном Барроу. В первый день апреля нарочный привез в Дефтфорд

толстые казенные пакеты. На одном из них значилось: «Давиду Бьюкену, эсквайру. Командиру шлюпа его величества «Доротея».

Бьюкен послал за Франклином. Лейтенант явился. Они вскрыли пакет.

— Хоть день и не того, — усмехнулся Джон, — но... — Он махнул рукою.

Бьюкен осклабился: первое апреля считается в Англии «днем всех дураков».

Инструкция была длинной, обстоятельной.

Так как у нас нет никаких знаний о море выше Шпицбергена, руководства не может быть дано. Однако можно предложить проходить там, где лед меньше соединен с землей. Из лучших информации нам известно, что к северу от Шпицбергена, в районе $83^{\circ}5'$ или 84° , обычно не бывает льдов и путь не закрыт землей.

Если Вам удастся достигнуть полюса, вы останетесь там на несколько дней, чтобы сделать точные наблюдения. Кроме всех остальных научных и заслуживающих внимание наблюдений, вы особенно должны проследить за отклонением магнитной стрелки и за интенсивностью магнетической силы, а также насколько далеко распространяется влияние атмосферного электричества. Для сего вам будет дан электрический аппарат специальной конструкции. Вы должны исследовать течение, глубины, природу дна. Вам надо привезти несколько аккуратно запечатанных бутылок с морской водой, взятой с поверхности и из глубины.

С полюса вы направитесь к Берингову проливу. Но если встретятся большие препятствия, вам надо вернуться к юго-западу и попытаться пройти между Гренландией и восточным берегом Америки в море, называемое Баффиновым, а оттуда проливом Девиса в Англию.

Бьюкен передохнул. У Франклина горели глаза: он вертел в руках табакерку, раскрыл и снова закрыл ее, позабыв «зарядиться» очередной понюшкой.

Если вам удастся пройти через полюс или около него, вы должны будете через Берингов пролив выйти в Тихий океан, подойти к Камчатке с тем, чтобы передать русскому губернатору копии всех журналов и документов с просьбой отправить их по суше в Санкт-Петербург, а оттуда в Лондон.

Затем вы направитесь к Сандвичевым островам, или к Новому Альбиону, или же в какое-либо другое место Тихого океана, чтобы дать отдых команде и отремонтировать корабль. Если во время этой остановки вам представится надежный случай послать бумаги в Лондон, вышлите дубликат. Если же вы пойдете обратным путем, вы сможете зимовать на Сандвичевых

островах, или в Новом Альбионе, или в каком-либо другом месте, а ранней весной снова пройти Беринговым проливом и снова проделать старый путь.

Если вам это удастся, постарайтесь пройти к востоку, чтобы Америка была в поле зрения настолько, насколько вам позволят льды. Вы сделаете это для того, чтобы установить широту и долготу некоторых наиболее выдающихся мысов и бухт, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не быть затертыми льдами и не зазимовать на том берегу.

Возвращайтесь тем же путем, если будете уверены, что вы обязаны успехом не только временным и случайным обстоятельствам. И если это будет сопряжено с риском для кораблей и людей, вы должны отказаться от мысли возвращаться этим путем, а вернуться вокруг мыса Горн.

Но, черт набери, не слишком ли много «если»? Увы, они были оправданны: ведь никто не ходил путями, которые ждали «Доротею» и «Трент».

Инструкция далее указывала, что Бьюкен и Росс должны уговориться о встрече в Тихом океане: предполагалось, что корабли Росса «Изабелла» и «Александр» свершат рейс Северо-западным проходом.

На случай зимовки у берегов Канады секретарь адмиралтейства предписывал принять «все меры для сохранения здоровья людей», связаться с факториями торговых компаний, подружиться с эскимосами.

Барроу отвергал опрометчивость. Он предупреждал: «Вы должны уйти из льдов в середине сентября или, по крайней мере, в октябре».

Если ваше плавание удастся, — говорилось в инструкции, — это будет большим вкладом в географию и гидрографию арктических районов, о которых мы очень мало знаем.

Апрельский ветер, веселый и влажный, морщил широкую Темзу, далеко разносил крепкий запах тира — смоляного состава, которым был густо-нагусто смазан бегучий и стоячий такелаж.

Глава 3

ПОСЛЕ НЕДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

Тусклые, залитые дождем окна, улицы, фасады домов.

Вереница экипажей, катящихся как бы по дну огромного аквариума. И торопливые хмурые люди в низко нахлобученных шляпах.

— Ко мне, а? Я снял квартирку неподалеку. Да вот же, совсем рядом!

— Чертовски рад, Уильям! Идемте, идемте!

Был октябрь 1818 года. Франклин отсутствовал ровно шесть месяцев. В адмиралтействе первым попался ему на глаза Парри. После крепких рукопожатий Джона как осенило: «О-о, столь быстрое возвращение Уильяма — признак неудачи». Такая же догадка стукнула Уильяма. Но радость встречи еще не улеглась, и они бодро шагали по мокрым сумрачным улицам. И даже дома, у Парри, когда они сели друг против друга со стаканами эля, и тогда еще беседа долго не входила в ровную колею.

— Стоп, Джон! — скомандовал наконец Парри. — Вы, вероятно, помните: я некогда служил на морских станциях в Новом Свете?

— Помню.

— Так вот, — улыбнулся Парри, — мне, понятно, пришлось иметь дело с краснокожими. Доложу вам, Джон: они сочли бы нас отъявленными грубиянами.

Франклин рассмеялся. Как же, как же! Индейцы — вот кто сама вежливость.

Разве они когда-нибудь перебивают? О нет! Индейцы выслушивают знакомого и незнакомого с равным вниманием и почтением.

— Отличное обыкновение, Уильям, клянусь богом. И нам надлежит его придерживаться. Не так ли? А? — Джон усмехнулся. — И не только нам, но и господам членам палаты общин.

— В особенности! — в тон приятно отозвался Парри. — Итак, сэр, — провозгласил он с шутливой торжественностью, — вы у меня в вигваме, и вы на четыре года старше меня, а потому первое слово — прошу, сэр. — И, приготовившись слушать, он привычно заложил табак за щеку.

Джон расхаживал из угла в угол, изредка доставал табакерку с душистым и крепким *rape*¹.

— Неприятности, разрази их гром, не заставили себя ждать. Что случилось? Извольте знать, Уильям, течь в бортах. И это — едва лишь мы вышли из Темзы. Повреждение устранили быстро. Да ведь не секрет — суеверность наших матросов. Тотчас по углам шу-шу, угодили, мол, братцы, в плавающий гроб. Однако ничего — добрались до Шпицбергена. Отдали якоря. Берега бухты Магдалины — в ледовых языках. Прелесть, голубой блеск, а к вечеру зеленое и синее.

Стоим в бухте, дожидаемся, когда лед севернее Шпицбергена хоть малость поредет. Стоянка, признаться, ничем не примечательная. Впрочем, нет... Довелось видеть, как айсберги рождаются. Ну, доложу, зрелище! Однажды глыбища со-

¹ Французский нюхательный табак (*фр.*).

рвалась с какого-то мыса, гром покотился, будто весь флот салют ударил... Забавно! Ну что еще? А еще, чтобы со скуки-то не шалеть, ходили на ялботах. В бухте Святой Магдалины гроты есть ледяные — хрустальные дворцы. И коли солнышко брызнет — такая прелесть, куда там иллюминациям в саду Воксхолл!..

Ладно. Стояли мы у Шпицбергена до седьмого июня. Хватит, думаем, жиреть. Вышли. И что же? Льды, льды, льды. Хоть плачь, право. Однако не уносить же ноги? Вперед! Как в песне: «Во имя Англии, домашнего очага и красоты...» Но какая, к чертям, красота? И туманы похуже лондонских смогов, и торосы, и плавучие горы. Ползали, ползали и... доигрались — затерло. Встала «Доротея», встал мой «Трент». Слезли мы на лед. Помогай, святой Патрик, — принялись рубить, ломать, пилить. Что? Да-да, и так и этак пробовали: на канатах тянуться, шпилевой тягой¹. Все пробовали, Уильям. Несколько миль сделаем, а потом проклятое течение — назад, назад. И все прахом. Опять несколько миль... Еще да еще, глядим, перебрались-таки за восьмидесятый градус. Кажется, можно бы и дальше, хоть и черепахой, а можно. Ведь только середина июля. А капитан Бьюкен вдруг и огорошил: кораблям возвращаться. Отчего? Почему? Зачем? Ведь июль! Июль только, а в инструкции — сентябрь или октябрь. Увы, господин капитан Бьюкен упрям... Как бы это сказать? Упрям, да не в ту сторону. Ну бог и наказал его. А вместе с ним и нас, грешных. Должно быть, ад не столь страшен, как шторм среди льдов. Бискайским бурям и тем не чета. Поставить штормовые паруса и спастись бегством? Так в Атлантическом или Индийском, но, увы, не в Ледовитом. А «Трент» с «Доротеей» трещат, словно грецкие орехи в щипцах. Пропали, совсем пропали. И тут как осенило: нет, не бежать, а лезть в самую гущу тяжелых льдов. Полезли. Удался маневр, хорошо удался. Ну, переждали мы эту беду, а потом и ретировались к Шпицбергену.

Как поступил бы настоящий моряк? Помните: «Мы, моряки Англии...» Вот-вот, настоящий моряк, исправив повреждения, снова выбрал бы якоря. Ну хорошо, «Доротея» была неприглядна, как нищенка из «вороньего гнезда»². Хорошо, согласен. Но «Трент»? «Трент» пострадал меньше. «Тренту» надо было продолжить плавание. Однако Бьюкен уперся всеми копытами: нет и нет! Он, видите ли, не имеет права оставить мой «Трент» в одиночестве без «Доротеи». Нет и нет, черт его раздери на мелкие кусочки... — Джон Франклин сокрушенно развел руками. Потом единым духом осушил стакан.

¹ Шпиль — ворот для выбирания якорей. В парусном флоте шпиль вращался вручную.

² «Воронье гнездо» — лондонские трущобы.

Уильям-то понимал, что у него на сердце. Как не понять — сам хлебнул горюшка со своим начальником. Ох эти старшие капитаны! Экая постыдная нерешительность!

— Нет, вы только послушайте, Джон, как дело-то было. Полтора месяца, понимаете ли, всего несколько недель взял путь от устья Темзы до мыса Фарвель. А потом... Увы, Девисов пролив по горло был набит льдами. «Изабелла» и «Александр» долго пробавлялись в обществе китобоев. Славные ребята, они не теряли времени, занимаясь промыслом, а вот мы даром ели свой порцион.

Лишь в августе выбились на чистую воду. Разумеется, «ура», разумеется, «вперед на Запад!» и все такое прочее. В Баффиновом заливе далеко забежали в такие, представьте, широты и долготы, где уж лет двести, право, не развевались флаги.

Ну, закипела кровь! Горячие головушки обдумывали рапорты: вот, мол, отправим с Камчатки в Лондон. Обе команды исполнились рвения необыкновенного, все хорошо, исправно. Но... но — кому Бьюкен, а кому — Росс! Он, видите ли, заранее был убежден в ошибке славного Баффина. Он, изволите ли знать, заранее полагал, что здесь не прямой и не кривой путь, а фьорд! Ну а коли ты «убежден», то и «убедиться» невелик труд. И вот едва по курсу означилось что-то вроде береговой линии... Эдак смутно, не разберешь, чуть-чуть, а уж капитан Росс: «Лечь на обратный курс!» Каково? Что скажете, старина?

И, как давеча Франклин, Уильям сокрушенно развел руками. Потом вздохнул и усмехнулся:

— Недолгая у нас с вами разлука...

Франклин, хмурясь, снимал нагар со свечей.

— И что же?

Парри вопросительно поднял брови.

— Я говорю: что же теперь делать? — сказал Джон.

— А! — воскликнул Уильям. — Слушайте, слушайте. — И, бросив жевать табак, он быстро подошел к Франклину, положил руки ему на плечи и тихо, словно кого-то опасаясь, рассказал о своей нынешней беседе с Мелвиллем и Барроу.

Глава 4

ТАМ, ГДЕ ФЛАГ С ЛИТЕРАМИ «Н.В.С.»

Палуба, недавно пролопаченная, была влажной. Облака бросали летучие тени на Темзу. Но даже на влажной палубе, даже на реке слышен был запах весенней земли.

Франклин понимал, что на душе у его товарищей.

Доктор Ричардсон, хирург королевского флота, профиль упрямца, прядь светлых волос, прищуренные голубые глаза.

Рядом с доктором — штурман, штурман Джордж Бек, с которым Джон плавал на «Тренте»; красивый малый Джордж — тонколицый, темноглазый, кудрявый... А мичман Роберт Худ? О, молодой человек тщится скрыть волнение, делает вид, что совершенно спокоен, хотя какое там спокойствие, когда ты надолго покидаешь родину. И последний, чуть в стороне, — матрос Хепберн. Плечистый, в густых бакенбардах, неловко опустил тяжелые руки, непривычные к праздности, и смотрит то на берег, то на бегущие тени облаков. Такие, как Хепберн, повенчаны с морем, они говорят: «Наша жизнь — на волнах, а дом наш — на дне океана». Послушай, Хепберн, послушай, тезка, на волнах будет жизнь у Уильяма, у друга моего капитана Парри... Кораблей «Гекла» и «Грайнер» не видать уж на Темзе: капитаны Лиддон и Парри две недели как в море. Дай бог им удачи, они уж скоро достигнут Баффинова залива. Да, так-то. А вот тебе, Джон Франклин, предстоит совсем, совсем иное...

Пятеро снимают шляпы. Пятеро прощаются с родиной. Ибо настал срок.

В Северную Америку идет «Принц Уэльский» с отрядом Джона Франклина. Но с первых дней крепкие ветры досаждают «Принцу»: долго-долго ковыляет он к болотистому берегу Гудзонова залива, к устью рек Хейс и Нельсон, и лишь в августе 1819 года видят путешественники строения Йорк-фактории.

На высокой бревенчатой башне плескался большой пурпурный флаг с литерами: «Н.В.С.», означавшими: «Компания Гудзонова залива». Флаг возвещал, флаг свидетельствовал — отселе и далее владевает торговая компания, повелительница над землями, лесами, реками, озерами, над пространством в шесть миллионов квадратных километров.

Из трюмов «Принца Уэльского» вынесли свинец и порох, ружья, сукно, спирт, ножи. В трюмы «Принца Уэльского» понесли бобровые шкуры. Агенты компании, забираясь в чащобы, выменивали пушнину у охотников-индейцев: нож — бобровая шкура, одеяло — восемь шкур, ружье — пятнадцать... Велик барыш у чиновников, но куш еще больше у главных акционеров, у тех, что в Лондоне.

Покамест разгружают, покамест нагружают «Принца Уэльского», Джон Франклин живет в Йорк-фактории. В дальних далях сокрыто будущее пятерых, и лейтенант, начальник отряда, беседует, советуется со здешними людьми.

Господи, что это за сорвиголовы! Их зовут акадцами; они потомки пионеров, переселенцев из Франции; в их жилах изрядная доля индейской крови, и они отлично говорят по-индейски. Они хлещут спирт и рассказывают такие истории, что волосы встают дыбом.

Не только акадцы — добытчики богатства Гудзоновой компании, — не только они шатаются в глухомани и ведут меновой торг с бронзолицыми охотниками. Есть и другие: «лесные

бродяги», или «вожеры», — парни из Шотландии, с Оркнейских островов. И у каждого из них своя жизненная повесть, и каждая из таких повестей страшна и жестока.

Да, черт возьми, эти скитальцы-торгаши отлично знают Канаду. Впрочем, не всю. Когда речь заходит о берегах Ледовитого океана, они отводят глаза, мычат и теряют интерес к беседе с лейтенантом королевского флота. У них, право, нет никакого желания околевать с голодухи и коченеть на тех берегах. И они, ей-богу, не могут взять в толк, что за нужда гонит на север пятерых англичан и всех, кто с ними...

В сентябре большая лодка отваливает от пристани. Путешественники плывут по реке Хейс к озеру Виннипег. Они плывут на юго-запад, чтобы потом взять курс на северо-запад. Они все-таки уломали нескольких проводников, посулив им немалый заработок.

Всплески весел глушили угрюмый рокот лесов, но когда ветер позволял ставить паруса и гребцы, распрямив спины, потирали натруженные ладони, были слышны и этот рокот, и отрывистый, как заклинание, крик пепельно-седых воронов.

В октябре под килем лодки текли мутные воды озера Виннипег. Слева простирался мшистый берег, справа, до горизонта, — белесая озерная гладь, иногда подернутая крупной рябью.

Потом была река Саскачеван. Спокойно текла она по лесной травянистой равнине; спокойно и плавно доставила она путешественников к фактории Кумберлендхауз.

Засушливое лето давно сменилось погожей осенью. Рядом с факторией раскинулись на зиму куполовидные, крытые шкурами обитатели индейцев-кинетиносов.

Приветливые они люди, и Франклин частый гость в их вигвамах. Не очень-то радуется лейтенант житью-бытью туземцев. Изю всех благ цивилизации белые немногим одарили краснокожих. Спирту хватало с лихвой, а вот о медикаментах тут и не слыхивали; эпидемии, стремительные, как верховой пожар в тайге, пожирали кинетиносов.

Здесь, в Кумберлендхаузе, отряд встретил 1820 год. Река уже стала. Снежные шапки отягощали сосны. К мглистому небу тянулся блеклый дым. Ночами длинно выли псы. Морозы держались в тридцать градусов.

Франклина звала дорога. Он купил собак, лыжи, сани. С ним отправлялись штурман Бек, матрос Хепберн, несколько проводников. Доктор Ричардсон и мичман Худ оставались до весны, чтобы обследовать бассейн реки Саскачеван.

Сказать по правде, не так уж и далеко было от Кумберлендхауза до форта Чипевайан¹. Но лейтенант предпочел бы

¹ Нынешнее написание — Форт-Чипевайан.

в десять раз больший путь морем. Воспитанник «петушьей ямы» чувствовал себя на суше не столь уверенно, как в океане. Все тут казалось иным. И звезды, светившие сквозь ветви в часы ночных привалов. И ветер, гудевший в вершинах не так, как в вантах. И чужим, враждебным чудился запах снега и хвои.

Тысяча девяносто километров одолели они за полтора месяца. И вот — форт Чипевайан. Не промах, однако, агенты Гудзоновой компании: форт доступен индейским каноем и со стороны озера Атабаска, и по течению нескольких рек.

В теплых рубленых хижинах дождался Франклин весны. К хозяевам форта тянулись индейцы — «люди бересты» и «люди восходящего солнца», «люди, искусно владеющие луком» и «люди из племени зайцев». Смуглые, скуластые, с жесткими темными волосами, широкогрудые и сильные, они смиренно выпрашивали боеприпасы. Торгаши давали, записывали должников.

Появление Франклина и его товарищей удивило индейцев. Что за странные чужеземцы! Говорят, пришли они не торговать, и не охотиться, и не факторию ставить. Проводники толкуют: они намерены идти еще дальше, эти странные чужеземцы. Куда же? О-о-о, в те края, где царит Северный Ветер! Что ж их манит? Ведь бледнолицые и шагу не ступят без хитрости. Есть что-то тайное в их помыслах...

Поджидая Ричардсона и Худа, Франклин бродил с ружьем. Солнце пожирало снега, вскрывались озера и реки, был слышен гул льдов. И уже блистали талые воды, шумели, пенились, и уже тянулись гусиные караваны. Но весна не радовала Джона. Чему было радоваться? Закрома форта давно опустели, экспедиция могла рассчитывать лишь на свои мешки с пеммиканом¹, на плитки бульона и шоколада, на чай да сахар. Негусто. Чему уж тут радоваться? А скоро в путь. Во-он индейцы заканчивают порученную им работу.

Индейцы сооружали для Франклина каноем. Одни снимали с берез кору, другие выделывали шпангоут из упругих корней, третьи, расщепливая корни, сучили прочные нити-жилы.

Ух, как они работали, любо-дорого поглядеть было! Под загрубелой кожей играли бугристые мышцы, крупный пот блестел на скулах, и громко звучала индейская песня о лодках, таящих в себе чары лесов — тугую гибкость лиственниц, кряжистую мощь кедров, легкость белых берез.

Моряки взирали на каноем со смешанным чувством. Они и восхищались, и скребли в затылках: на этих-то штуках да в Ледовитый океан?!

Прибыли доктор и мичман — партия была в сборе.

¹ Пеммикан — сухой продукт из мяса буйвола, истолченного в порошок и смешанного с салом.

Покорно взбулькнула вода, двинулись каноэ, пугая сигов, и ели прощально шевельнули разлапистыми, как якоря, ветвями: вышли из чащ короткогривые бизоны, проводили отряд задумчивым взглядом темных глаз.

За шестидесятой параллелью река была шире и глубже, и Франклин подумал, что тут, пожалуй, могли бы плавать солидные суда, из тех, что ходят вверх по Темзе.

Несколько дней пути, и распахнулось Большое Невольничье озеро. Неоглядное, окруженное топиями и лесами. Каноэ повернули на запад, пристали у форта¹ Провиденс.

Глава 5

АКАЙЧО

— Эй, Венцель! Живо, Венцель!

— Чертов матрос, ревет, как медведь, — пробурчал канадец. Он выпростал ноги из-под оленьего покрывала, хрипло крикнул: — Иду-у-у!

Во рту у Венцеля было гадко: здорово нализились вчера проводники... Венцель выбрался из хижины, на ходу подпоясываясь кушаком.

Малиновое солнце всходило медленно. Холодная вода спокойно лежала до горизонта: справа и слева она отграничивалась лесами, как валом.

Венцель потянул носом, понюхал дым. Признаться, у англичан неплохой харч. Жаль, на исходе. А в форту Провиденс, ей-богу, не разживешься.

Вояжер отвесил поклон начальнику, кивнул прочим. Венцель знал приличия: начальнику поклон особый. Однако не чересчур угодливый. Конечно, англичанин хорошо заплатил, но не Венцель, по правде говоря, зависит от лейтенанта, а лейтенант зависит от Венцеля. Англичане — люди моря, а тут — сухопутье, и старшему проводнику все карты в руки.

Он скинул голубой плащ, сел рядом с Хепберном: матрос подвинул к нему миску, полную жареных оленьих ребер.

— А я и не предполагал, сэ, — радостно говорил Франклина мичман Худ, — вот уж не предполагал, честное слово.

Франклин отхлебнул кофе.

— Должен сказать, Роберт, ваш старший брат отлично держался под огнем.

Роберт Худ влюбленно смотрел на Франклина. Подумать только: лейтенант сражался при Трафальгаре на одном фрега-

¹ Ныне слово «форт» вошло в географическое название: Форт-Провиденс.

те с Оливером! При Трафальгаре... Когда великий Нельсон поднял вечно-памятный сигнал: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг!»

— Вот, вот, Англия и ныне надеется, — серьезно заметил доктор Ричардсон, угадав мысли мичмана.

Ах, как хотелось Роберту обнять друзей! Обнять всех — и Джона Франклина, и штурмана Бека, и доктора, и матроса Хепберна. Всех! Но полноте, Роберт, храни спокойствие.

— После завтрака прошу надеть мундиры, — сказал Франклин. — Вождя надо принять официально. Не так ли, Венцель?

— Верно, местье. Золотые нашивки, форменные шляпы... — Он щелкнул пальцами. — Все это производит впечатление на краснорожих дурней.

Солнце уже оторвалось от леса, уже висело над озером, но светило сквозь тучи и было багровым, и озеро тоже было багровым и тусклым, угрюмое это озеро, которое, казалось, хранит какие-то страшные тайны.

Пятеро англичан поджидали вождя индейского племени, как на смотрах поджидают адмирала. Но адмирал может приехать или не приехать — это его дело, и никто на кораблях по адмиралам не скучает. А вот если не пожалует Акайчо, тогда вряд ли экспедиция покинет Форт Провиденс.

Три больших каноэ, передняя с шестом и каким-то знаком вроде штандарта, приближались к форту. Молодчина Венцель — не подвел. Когда бы ни лесной бродяга, ни вождер и агент Гудзоновой компании Венцель, еще неизвестно, поспешил бы Акайчо на свидание с англичанами или нет.

— Большеногий с ними, начальник, — сказал Венцель и сбил на затылок вязаную шапочку. Каноэ двигались быстро и плавно.

— Отличные гребцы! — молвил штурман Бек.

— Неплохо, — проворчал Хепберн.

Стало слышно, как шипит вода.

— Который? — спросил Франклин.

— На переднем, начальник. Вон тот.

Акайчо первым сошел на берег: рослый человек в парадной одежде вождя индейского племени — султан из длинных красивых перьев, меховая куртка и меховые штаны, пестро и хитро расшитые родовыми тотемными знаками, невысокие мокасины с изящным узором по верху голенищ.

Он шел упруго, охотник и воин. Он смотрел на пришельцев внимательными блестящими глазами. Глазами индейца, умеющего не только читать следы на лесных тропах, но и в душах людей.

Франклин выступил вперед. Акайчо остановился, поднял приветственно правую руку. Лейтенант тоже поднял руку. Потом сделал еще шаг и протянул Акайчо обе руки.

«Большой вождь, — подумал Акайчо, разглядывая Франклина. — Лицо доброе, как у того, кто не умеет лгать. Странный белый — он не умеет лгать...»

Стол был накрыт в просторной хижине. Индейцы сели на лавки по одну сторону, англичане — по другую. Все молчали. Только женщины при встрече трещат, будто трещотки из оленьих копыт. Слово мужчины дорого, как сухие трут и огниво в проливной дождь.

Франклин покосился на Венцеля: тот важно кивнул, и переговоры начались.

— Достопочтенный вождь! Мы рады видеть тебя в добром здравье за нашим столом, — сказал лейтенант.

— Достопочтенный вождь! — переводил Венцель. — Мы рады видеть тебя в нашей хижине.

— Мы пришли в эту страну, согласно повелению нашего короля, самого могущественного монарха в целом свете.

— Мы пришли в эту страну, — толмачил Венцель, — по воле Белого Отца.

— Достопочтенный вождь! Ни у того, кто послал нас, ни у нас нет злых намерений.

— Достопочтенный вождь! Ни в сердце Белого Отца, ни в наших сердцах нет злобы к твоим людям.

— Мы не купцы, и мы не намерены ставить фактории и добывать пушнину. Мы хотим увидеть Ледовитый океан. Мы — путешественники.

— Нам плевать на меха, — переводил Венцель. — Мы мирные странники, нам надо увидеть Большую Соленую Воду в Стране Северного Ветра.

Акайчо курил. Акайчо слушал. Акайчо думал: «Они идут в Страну Северного Ветра, где так трудно выжить. Что им там нужно? Этот вождь не лжет. Но быть может, он не все говорит. У белых всегда недомолвки».

— Мы идем туда, — продолжал Франклин, — чтобы встретить друзей, которые будут ждать нас у берегов Ледовитого океана на двух кораблях.

— Мы идем к Большой Соленой Воде, чтобы встретить друзей, которые приплывут туда с восхода на двух каноэ, — сказал Венцель и отхлебнул из кружки со спиртом.

— Мы должны их встретить, великий вождь, и просим твоей помощи, за которую щедро заплатим. Путь наш очень тяжел, без твоей помощи, великий вождь, и твоих славных охотников нам не дойти. Богатые дары шлет его величество тебе, Акайчо, и твоим людям, но они еще в дороге. Я, начальник, даю тебе честное слово: будете вознаграждены так, что и внуки запомнят... Но... но если ты мне откажешь, мы пойдем одни. Пойдем, вождь, ибо не можем послушаться повеления нашего короля.

Франклин умолк. Акайчо курил. Он ждал. Так полагалось

в мужской беседе. Он ждал, не захочет ли белый добавить еще что-нибудь. Нет, белый сказал все, что хотел. Белым нужна дичь, нужно мясо. И все? Но Акайчо знает, как трудно бывает набить едой одно брюхо, а тут много людей. Да-да, много, а в этом году охота не задалась.

Акайчо положил трубку.

— Белый вождь! — сказал Акайчо. — Радостно мне приветствовать тебя, великого начальника, и твоих людей на земле наших предков. Не часто твои братья приносят нам добро, но тебе я верю. Мне говорили, что с тобой едет большой колдун, который может воскрешать мертвых, и все мы радовались, что скоро увидим у наших костров отцов и дедов, которые ушли в Страну Мертвых. Венцель огорчил меня: оказывается, и ваши колдуны тоже не умеют воскрешать мертвых...

Он помолчал, дожидаясь, покамест Венцель переведет: он затыкнулся дымом, опустил веки, но успел заметить, как помрачнел Франклин.

— Да, вы, белые, тоже не умеете воскрешать мертвых, — заговорил Акайчо, — хотя и твердят вожди ваших факторий, что могущественнее белых нет племени. Хорошо. Пусть так... Ты говоришь, что пойдешь в Страну Северного Ветра и без нашей помощи. Тогда всех вас ждет голодная смерть. Голодная смерть слишком жестока, чтобы обрекать на нее даже жестоких. Вот почему мы поможем тебе и твоим братьям.

Он опять помолчал, затягиваясь дымом из длинной трубки, опустив веки и неприметно усмехаясь, — эти белые совсем не умеют скрывать свои чувства. Как мальчишки, как женщины.

— А теперь, великий вождь, я хотел бы знать: какие дары ждут мое племя?

— О! Какие дары? Хорошо. Слушай, вождь! — И Франклин стал быстро перечислять: — Материя, порох, свинец, табак, ножи, топоры. Хорошо? А сверх того... А сверх того, Акайчо, после похода все ваши долги компании будут уплачены. И это так же верно, как то, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе.

— Долги? — медленно переспросил Акайчо. — Ты говоришь, долгов не будет? — В его голосе слышалась горечь, горечь вечного должника проклятой Гудзоновской компании. — Хорошо, белый вождь. Акайчо согласен. — Он помолчал. Потом спросил: — Но ведь твои дары придут к нам позже? Не так ли? И значит... — Теперь в его голосе звучало торжество, — значит, впервые белые будут нашими должниками?

— Гм! Ну... Ну что ж, Акайчо. Пожалуй, так.

Уже глядели первые звезды и бледный месяц снялся с якоря, когда каноз Акайчо отвалили от бревенчатой пристани форта Провиденс.

Франклин хотел было тотчас отправить очередное донесение в адмиралтейство, но нынешний договор с индейцами был скреплен спиртным, и глаза у Джона слипались, а рука такое выделывала, что он бросил перо.

Донесение было написано утром.

*Форт Провиденс. 62°17' с.ш., 114°13' з.д.
2 августа 1820 г.*

Милостивый государь!

Я уверен, Вы будете довольны, узнав, что экспедиция готова направиться к р. Коппермайн. Индейский вождь и его партия вчера отправлены вперед, а мы последуем за ними сегодня после полудня. Я задержался, чтобы написать это письмо. Я был так занят со времени нашего прибытия, 29 июля, переговорами с индейцами и разными необходимыми делами, что не был в состоянии написать ни лордам адмиралтейства, ни вам столь подробно о наших намерениях, как этого хотел, но так как мое письмо г-ну Гентхему содержит общие основы полученных сведений вместе с картой предполагаемого дальнейшего пути, я надеюсь, что лорды адмиралтейства и Вы не примете это за невнимание к Вашим указаниям по этому поводу. Каждое мгновение так дорого для людей в нашем положении, когда сезон для действий так краток, что нельзя терять ни минуты. Я очень озабочен тем, чтобы отправиться немедленно, для того чтобы скорее нагнать индейцев, согласно моему обещанию при их отъезде.

«Говорящую бумагу» отдали нарочному-индейцу. Господи, в скольких руках она побывает, прежде чем старый служитель с подносом для писем неслышно войдет в сумрачный кабинет секретаря адмиралтейства! Но лейтенант Франклин никак не мог предположить, что этой депеше предстоит путешествовать еще дальше. Ведь именно записку из форта Провиденс Барроу подарит русскому собирателю автографов. Ведь именно записку из форта Провиденс граф Орлов перешлет графу Румянцеву, и два года спустя краткую, но знаменательную депешу прочтут в Петербурге Иван Федорович Крузенштерн и Шишмарев.

А в то августовское утро нарочный-индеец спрятал брезентовый пакет на груди, кивнул белому вождю и степенно вышел из хижины.

Едва он переступил порог, как в хижину, толкнув индейца плечом, ввалился начальник форта Провиденс, и Франклин поморщился, услышав запах перегара.

— Никого?

— Как видите, — сухо ответил Франклин.

— И отлично. — Блейк грузно сел на лавку. — Отлично, лейтенант. У меня, право, нет желания поминать старое, но, клянусь, вы узнали меня, как только явились в Провиденс. Не так ли? А?

Франклин хмуро кивнул.

— Черт с вами, лейтенант, — продолжал Блейк. — Говорю вам: у меня нет ни малейшего желания поминать прошлое.

— У меня тоже, мистер Блейк. Однако, должен признать-ся, хотел бы видеть на вашем месте...

— Что поделаешь, сэр! В здешних краях... — Он недобро прищурился. — В здешних краях, говорю, и Гарри Блейк сой-дет за ангела. Ладно! Итак, вы уходите? Счастливого пути, лейтенант. Вот и все, что я имел сказать вам.

Франклин глядел на него исподлобья.

Блейк поднялся, тяжело ступая, пошел к дверям.

Глава 6

ХИЖИНА У ЗИМНЕГО ОЗЕРА

С севера двигались валкие, медлительные тучи. Пахло пре-ющей хвоей, плотными туманами, ненастьем. Но мешки еще отягощала провизия, в баклагах еще булькала можжевеловая водка, а в расшитых кожаных кисетах шуршал табак, и пото-му плевать было на все.

Мичман Худ, улыбаясь, запевал «Английский флот». То была излюбленная на эскадрах песня. Ее знали кадеты королев-ского училища, голоса которых пускали петуха, ее басили задуб-елые капитаны, вышамкивали ветераны Гринвичского мат-росского приюта. Ту песню беззаботно насвистывал лейтенант, отправляясь на берег где-нибудь в илистом устье Ганга; ее мур-лыкал вахтенный под пронзительные крики олушей и крачек Антильского моря, и бормотал, выпячивая мокрую губу, кано-нир, налижавшийся в кабаке Кейптауна. А теперь старая мор-ская песня громко раздавалась над быстрой сердитой рекой.

«Все отменно хорошо» — припев этот подхватывали на-чальник и штурман, матрос и доктор. Все отменно, все своим чередом. В нынешнем году не видать Ледовитого океана? Жаль, но придется зимовать у истоков реки Коппермайн, где бродил некогда посланец Гудзоновской компании Самуэль Херн. Все идет своим чередом. Сперва помогут индейцы, потом — эскимосы. И да здравствует флот!

А проводники-канадцы пели свои песни. В тех песнях французские куплеты соединялись с индейским рефреном. Да, они здорово пели: «В пути повстречал я трех всадников на сытых добрых конях...»

В междуречье Маккензи и Коппермайн было уже не до песен. Тут бреди с поклажей среди голых скал, меж трухлявых валежин, по болотам, а над тобою смолкает прощальный клик лебедей, и широкий ветер несет тебе в лицо острый запах мо-лодого снега.

На привале близ озера, подернутого, как морщинами, рябью, в сумерках, затушевавших лес, Акайчо присел у костра Франклина. Никогда Акайчо не заводил ничемных разговоров, и лейтенант знал, что индеец пришел неспроста. Венцеля не было: он заночевал с частью отряда милях в трех от озера, и Франклин крикнул проводника Михеля.

(Михель был индейцем из племени ирокезов. Бог весть когда и бог весть почему пристал он к вояжерам. В факториях навострился калякать с англичанами.)

Михель опустил на корточки и явно приготовился толмачить. Акайчо вежливости ради отхлебнул из фляги, предложенной Франклином. Акайчо не любил эту дрянь, ее и не пробовали в лесах до появления белых.

— Большой предводитель! — начал Акайчо. — Посмотри на это озеро и посмотри на этот лес. В озере есть рыба, а в лесу есть олени. Теперь посмотри на мешки. Видишь, каждый — как брюхо голодного волка.

«Эге, вот оно что, — обеспокоился Джон. — Нет, нет! Еще рано».

Костер, постреливая, швырял рыжие звезды. Ночь стояла черная и мохнатая. В озере что-то сильно всплескивало.

Акайчо сказал:

— В Страну Северного Ветра и глупец не идет с пустыми мешками. А зима будет ранняя.

— Что ж ты хочешь? — спросил Франклин.

Акайчо усмехнулся снисходительно: белые никогда не знают приличий.

— Не я хочу, вождь. Ты хочешь.

Франклин поморщился: дикарь не слишком-то церемонится с офицером королевского флота, не упускает случая щелкнуть по носу и напомнить, кто от кого тут зависит.

— Ну хорошо, хорошо... Жду совета, друг мой Акайчо.

— На берегу озера белые поставят хижину. Когда Дорога Солнца снова станет длинной, они пойдут к Большой Соленой Воде.

— Благодарю. Но скажи, Акайчо, не ты ли обещался привести нас к истокам реки, что течет в Большую Соленую Воду?

— Мое слово, вождь, верно, как и твое. Но я не знал, что белые так медлительны.

«Медлительны»? Черт побери, индейцы шли налегке, а вояжеры и путешественники тащили всю поклажу.

— Да, я не знал, что твои люди так медлительны и так скоро устают, — продолжал Акайчо. — Ответь: надо ль упорствовать в том, что противно разуму?

«Шельма! Он еще учит, что разумно, что неразумно...»

Акайчо выпускал через ноздри длинный табачный дым.

— Ты опечален, начальник? Не надо печалиться. Ты увидишь Большую Соленую Воду, ты увидишь друзей.

Опустив голову, Джон палкой ворошил костер. Искры взметывались, как зверьки, хищно и весело. Он долго молчал. «Ты увидишь своих друзей». Ха, Уильям Парри, должно быть, давно уж на своем корабле у берегов Канады. Согласно инструкции, рандеву где-то близ устья Коппермайн. Так задумано Мелвиллем и Барроу. Инструкция скреплена королевской печатью. Э... как это у Шекспира? «Ревущим волнам нет дела до королей...»

— Надо зимовать, — сказал Акайчо. — Но если ты пойдешь, я не покину тебя. Мне будет стыдно, коли ты и твои братья погибнут на земле моих предков.

Как сотрясались сосны и ели, как они брызгали белой пеною, как роняли вязкие слезы! А потом медленно кренились, словно мачты погибающих кораблей, и с треском, ломая ветви, рушились наземь, подминая кустарник.

На миг воцарялась погребальная тишина. С печальным шорохом сыпались иглы. И вот опять стучали топоры, но уже не размеренно и не звонко, а тупо и коротко — по ветвям, по ветвям, по сучкам, по сучкам. И вот лежало поверженное дерево, покорное, нагое, с еще мелко дрожащей вершинкой, а комель как бы дымился дымком уходящей жизни.

Бревна волокли на поляну. Там, у Зимнего озера, протесывали наскоро, без тщания. Хижина. Еще хижина. Амбар. Возникло селенье.

Зима навалилась сразу, со свирепой силою. За ночь озеро сковало льдом, ручей онемел, а ветер свистнул, как стальной прут.

Акайчо держал слово. Его охотники били оленей, его рыбаки таскали добычу из темных прорубей. Высоко над огнем, в холодном дыму, индианки коптили рыбу. Но у Зимнего озера остановились не только англичане-путешественники и не только проводники-канадцы, но и многодетные семьи охотников. Ртов было много, боеприпасов мало. К тому же — и этого уж вовсе не предвидели флотские — недоставало топоров: с жалобным звоном ломались они о закаменевшие поленья. А костры требовали уйму дров.

Все дальше, все дальше забредали охотники Акайчо. Сперва пропадали дня на два, потом на неделю, а после и вовсе сгинули.

Низко нависло небо, снег валит не переставая, и все жиже была похлебка. Голод тишком заглядывал в хижинки.

Мичман Роберт вызвался первым. Ей-богу, до смерти прискучило сидеть да слушать вьюгу! Он пойдет за подмогой в форт Провиденс, к этому толсторожему Гарри Блейку.

Франклин вздохнул:

— Нет, дорогой Роберт...

Он не пускался в объяснения. Как скажешь мичману, тут

нужен человек постарше, поопытнее: известно, мичманское самолюбие...

— И не вы, доктор. У вас, боюсь, начинается цинга. Что? Вам лучше знать? Нет, нет...

А штурман Бек сказал:

— Все отменно хорошо, сэр. Полагаю, за месяц-полтора.

Ах, славный малый, Джордж Бек. Посмотришь — не то поэт, не то музыкант. И манеры такие, точно с колыбели тебя пичкали наставлениями лорда Честерфильда¹.

— До весны я вернусь, — сказал Джордж Бек. И усмехнулся: — Уж как хотите, без меня вам не удрать к Ледовитому океану.

Хепберн встал:

— Прошу, сэр...

— Э, нет, Хепберн, — возразил Бек. — Оставайтесь-ка. С меня довольно двух-трех вояжеров. — Он опять усмехнулся. — Как они поют? «В пути повстречал я трех всадников...»

Прощаясь, Франклин сказал:

— Джордж, прошу, будьте благоразумны. Слышите, старина? В Провиденс отдохните хорошенько.

— Ладно, — ответил штурман. И пошутил: — Но я буду здесь до того, как откроется театральный сезон.

Минул месяц, минул другой. Рождество стояло у ворот, а ни от штурмана Бека, ни от индейцев Акайчо известий не было. Амбар почти опустел, пороху и пуль в обрез, рыба, как назло, не шла. Пробавлялись остатками оленины.

Доктор Ричардсон, бодрости ради, пускался в рассуждения о пользе «легкого голодания». За эту теорию, уверял доктор, ему когда-нибудь присудят в Кембридже почетную степень.

— Видите ли, господа, — объяснял хирург, — чем обильнее пища, тем изнеженнее пищеварительный тракт. Желудок работает, как каторжник, мускулы его переутомляются, подобно всем иным мускулам нашего, то есть человеческого, господа, организма. И, как свидетельствуют вскрытия, богачи, предающиеся излишествам, чаще всего умирают именно от переутомления желудков...

— Так уж и от этого самого, доктор? — Матрос Хепберн недоверчиво покачивал головою, не замечая улыбок Франклина и Худа.

— Друг мой, — серьезно отвечал Ричардсон, — когда вам доведется вскрывать трупы...

Хепберн скривился и замахал руками.

— Полноте, — не выдержал Франклин. — Будет вам пугать Хепберна. И ваше красноречие все равно не отобьет нашего аппетита.

¹ «Письма лорда Честерфильда своему сыну» — житейский и моральный кодекс английской аристократии XVIII века.

— Как угодно, господа, как угодно, — с комическим огорчением соглашался Ричардсон. — Мое дело предупредить: поменьше еды, побольше диеты. Ну-с, хорошо! Коль скоро я живу под одной крышей с такими обжорами, не угодно ли поговорить о другом. О чем? Ну-с... Хотя бы вот о чем... А не пожелает ли уважаемый Хепберн рассказать... Что бы вы хотели рассказать, мистер Хепберн?

Матрос смутился. Ричардсон грозил ему пальцем:

— Те-те-те, знаем мы вас, милейший!

— Да что вы это, сэръ? — совсем уж терялся матрос.

— А вот то, господа, вот послушайте. Помните «Принца Уэльского»? Я там... по чистой случайности разумеется... Я там видел и слышал, как наш дорогой Хепберн изображал офицеров, у которых прежде служил. Потеха! Матросы гоготали, как в цирке Астли.

— Ох, доктор, — сконфузился матрос.

Но Ричардсон не отставал:

— А когда мы вернемся в Англию, он станет изображать вас, лейтенант Франклин. Ей-богу, помяните мое слово.

Тут уж Хепберн вскочил и выбежал в сени. Лейтенант и мичман рассмеялись. А неугомонный доктор без передышки прицепился к Роберту Худу.

Роберт частенько выхвалял «петушью яму», буйные нравы мичманской артели. Доктор же Ричардсон усматривал в обычаях «петушьих ям» лишь дикость и грубость, и ему очень хотелось убедить в этом мистера Худа. По сему поводу завязывались у них диспуты: Франклин в душе соглашался с Ричардсоном, но понимал и горячность Худа.

Так они сумерничали. Мутная синь скрадывала углы, обволакивая душу тоскливым холодом. Смолкали голоса. Никто не двигался, все словно дожидались чего-то.

Но вот Хепберн доставал трут и огниво, в два коротких удара высекал искру, и уже горела свеча, распространяя запах прожаренного сала.

При свечах пили чай, благо заварки было вдоволь, а потом лежа курили, благо еще был табак.

На дворе кто-то вздыхал, ухал, потом будто бы подходил к дому и возился за дверью, как приبلудный пес.

Глава 7

ТОЛСТОРОЖИЙ МУТИТ ВОДУ

Блейк был трезв, как пустая бутылка. Но, право, лучше б уж он был пьян. Видит бог, дело простое и ясное, а вот поди ж ты...

— Послушайте, мистер Бек, я ничего не имею против вас... — Начальник форта привалился к столу, оперев жирную щеку на руку. — Черт возьми, вы даже мне нравитесь, штурман. Ей-богу, нравитесь...

Бек нетерпеливо цыкнул языком:

— Я польщен, мистер Блейк, но...

— Э! Какие еще «но»? Вы человек молодой... Вам который? Двадцать шесть? Ну так слушайте, против вас я ничего не имею.

— Ваша настойчивость, мистер Блейк, внушает мне мысль, что вы имеете что-то против моих друзей. Ну что ж вы молчите?

Блейк угрюмо елозил пятерней по столу. И вдруг осклабился:

— Ошибаетесь, молодой человек.

— Очень хорошо. Итак, вы дадите нам... Муки сколько, мистер Блейк?

— Охо-хо-хо, вы опять за свое. Я ведь не играю в прятки, штурман. Продовольствия разве что воробья прокормить.

— Но индейцы утверждают...

— Индейцы! Что они знают, прохвосты? Я начальник, я знаю!

— Однако поймите... мистер Блейк! Ваши соотечественники терпят бедствие. Вы понимаете? Бед-ствие!

— Хорошо, штурман. Нет, нет, постойте, не надо благодарностей. Я не к тому... Слушайте, там, в Лондоне, адмиралтейство обо всем договаривается с Гудзоновской компанией. Верно? Ну, вот, вот... А форт Провиденс пока принадлежит другой компании. Северо-Западной! Вот так-то. И у меня нет никаких распоряжений, дорогой мой.

— Распоряжений? Но вы же не хуже меня знаете, что слияние обеих компаний решено. Стало быть...

— У меня нет распоряжений кормить экспедицию. Понятно?

— Мне только одно понятно... — Джордж стиснул кулаки. — Подл...

— Стоп! — окрысился Блейк. — Стоп, парень! Я не терплю оскорблений!

— А я не терплю подлецов!

Блейк словно обмяк.

— А теперь, — произнес он вяло, — теперь убирайтесь. И знайте: я, начальник форта Провиденс, сумел бы кое-чем снабдить вашу дурацкую экспедицию. Но вот не желаю. Я не желаю, я, Гарри Блейк! Понятно? А? Понятно?

Джордж хлопнул дверью.

— Пристрелю... пристрелю, — бормотал он, мотая головой и шагая куда глаза глядят.

Индецц Михель окликнул его у ворот форта. Бек вздрогнул:

— А... это ты...

— Михель все слышал, сэр. Надо туда — Атабаска, сэр.

Озеро Атабаска? Форт Чипевайан? Еще сотни миль? И наверняка не встретишь в пути «всадников на добрых сытых конях».

Бек сказал:

— Ты со мной?

— Михель не бросает в беде.

— А те двое? — сказал Бек.

— Михель спрашивал — они согласны.

Четверо — Бек, Михель и двое канадцев — ушли к озеру Атабаска. Быть может, там, в форту Чипевайан, им повезет.

За годы флотской службы Джордж изведal бискайские бури, натиски айсбергов. Он знал штормовые вахты, когда тебя колотит обо что попало, когда ты вымокнешь до нитки и продрогнешь до кишок. Слышал он и горячий свист ядер, и яростный вой, когда корабли сваливаются в бордажной схватке. И штурман Джордж искренне полагал, что познал уж все, что может выпасть на долю настоящего мужчины. Но теперь, в походе от Большого Невольничьего озера к озеру Атабаска, Джордж понял, что он не знал еще очень и очень многого. Не знал, как от белого снега темнеет в глазах, как мороз гнет спину, словно горе, как голод подгибает колени; не знал, что такое подняться на ноги, когда с маху грохнешься на землю, споткнувшись о заметенный снегом валун, и какое надо терпение, чтобы на ветру из мерзлого хвороста сладить костерок! И еще не знал Джордж Бек, как сотрясает душу слабый запах человеческого жилья, как стучит сердце при виде чернеющих вдаль хижин! Кто-то подхватил его под руку. Джордж не противился. Однако у него достало сил сказать:

— Надеюсь, тут уютно, как клопу в ковре?

Тут и впрямь жилось недурно. Служащие компании и окрестные индейцы отнюдь не голодали. Кое-чем можно было поживиться в этом форте Чипевайан. И спасибо ребятам — они согласились доставить провизию отряду Франклина. Спасибо!

Но вот что никуда уж не годилось: грузы, отправленные для экспедиции из Йорк-фактории, запропалились черт-то где. Может, они еще в Кумберлендхаузе, на реке Саскачеван? Тогда жди летом, не раньше. А ведь надо платить Акайчо. Впрочем, есть ли прок в пустых печалях? Франклин ждет, Франклин верит. И нечего мешкать, Джордж...

Возвращаясь, штурман не принял приглашения Блейка, не заглянул на огонек. Но сотню ружейных пуль в подарок принял. С паршивой овцы... Джордж передохнул дня два и уже собрался опять в дорогу, как вдруг объявился индейский вождь.

Что за притча? Индеец едва кивнул на радостное приветствие штурмана Бека.

— Нет, — хмуро сказал Акайчо, — он давно уж не был на Зимнем озере, охота не задалась, медведи задрали троих. А потом...

Акайчо помедлил и сказал, что он не желает возжаться с белыми, у которых хоть и нашито на куртках золото, но...

Бек спросил растерянно:

— Что стряслось, великий вождь? Мы, посланцы Белого Отца, не сделали ничего дурного ни тебе, ни твоим людям, и мы заплатим сполна...

Бек долго убеждал Акайчо. Тот слушал недоверчиво, отвечал уклончиво. Так ни на чем и расстались.

А когда ушли из форта, когда метель закружила сухой и острый снег, лишь тогда ирокез сказал:

— Михель слышал, сэр: мордатый Гарри мутит воду. Мордатый Гарри твердит индейцам...

Один из носильщиков очутился рядом, Михель склонился к уху штурмана.

Глава 8

«Я КЛЯНУСЬ, КАК ВОИН...»

Матрос Хепберн водрузил его ночью. Утром англичане ахнули: майское дерево!

Перед хижинкой на полянке высился шест, украшенный лоскутьями. Настоящее «майское дерево», разве что без цветов. Дедовский обычай: вокруг шеста с лентами заводи хоровод, отмечай праздник весны.

Май на дворе, май 1821 года. Десятый месяц изживал на зимовье отряд Джона Франклина. Скоро уж два года, как он вышел из Темзы, и это, право, было куда легче, чем войти в Коппермайн. До реки Коппермайн не так уж и далеко... Нет, не далеко. Но как добраться без Акайчо?

Теперь Франклин знал: Гарри Блейк ничуть не переменялся. Это он сбивал индейцев с толку, это он врал индейцам, что пятеро англичан — плуты и обманщики, и нет у них ни пенса, и никогда они не рассчитаются... Акайчо умен, но и последний глупец знает, что от белых дьяволов не видать ни добра, ни благодарности... И Гарри, кажется, преуспел в своих подлейших наветах.

Ничего не позабыл этот Гарри Блейк, бывший мичман. И горсть ружейных пуль прислал как в насмешку. Бедняга штурман отмахал тысячу миль. Да-да, это так. Но от того, что Джордж добыл в форту Чипевайан, скоро останется пшик. И если обманутый Блейком индейский вождь... Боже милосерд-

ный, и подумать страшно! А как ладно все намечалось... Венцель, старший проводник, недавно залучил парочку эскимосов, те обещали уговорить соплеменников... Если б Акайчо привел отряд на реку Коппермайн, дальше бы помогли эскимосы... Ну а теперь что же?

Почти год ждали вешних дней. И дождались. Смотрите: Зимнее озеро звучно и весело плещет, вздувшийся ручей отчаянно пенится, а земля так и разомлела под солнышком. Лето валом валит, короткое лето. Не остановить. Но коли и нынешним летом отряд не достигнет Ледовитого океана... Увы, спустишь флаг и признаешь себя побежденным... Нет, нет, Акайчо придет. Акайчо не может не прийти к Зимнему озеру: ведь тут, в шатрах-типи, семьи индейские. Да, охотники явятся, наверняка явятся к своим женам и детям. Ну и что из того? Станут ли они возжаться с белыми после рассказней Гарри Блейка, бывшего офицера королевского флота?

Весть принес Ричардсон. Доктор сидел у хворой индианки, когда примчался гонец Акайчо: вождь с охотниками, нагруженный добычей, спешит к Зимнему озеру.

В тот же вечер встретились Акайчо и Большой Белый Начальник. Впрочем, уж такой ли «большой» этот начальник, коли ему отказал в продовольствии Толстомордый?

Впервые в жизни пришлось Джону поклесться, что он не лжец, не мошенник, не проходимец. И кого же он убеждал? Дикаря, черт возьми! И в чем оправдывался? Запивохи-чиновники до сих пор не прислали товаров, предназначенных индейцам, и вот он, офицер, заискивает перед Акайчо. Однако спокойствие, сэр, не стоит кипятиться. «Маленький горшок быстро нагревается»¹, а у Джона, ей-богу, нет никакого желания прослать «маленьким горшком».

Он принял Акайчо так, будто ничего не знал о клевете Блейка, и после первых приветствий сказал:

— Мне очень жаль, почтенный вождь, но нам нечем пока отблагодарить тебя и твоих людей. Ты не веришь? Вот смотри. Видишь? — Он тронул пальцем грудь: на мундире красовался надетый по случаю встречи с Акайчо орденский знак. — Видишь? Важной награды удостоен я за честные воинские подвиги. — Он клятвенно поднял руку. — И я говорю тебе, как воин говорит воину, ты получишь все сполна.

Акайчо глядел на него пристально. Нет, этот лобастый не лжет. Толстомордый — вот кто врет. Проклятый Толстомордый, у которого в долгах он, Акайчо, и все его доблестные сотоварищи. Врет Толстомордый, которому отдает Акайчо лучшие шкуры, лучшие меха. И пусть Блейк лопнет от злости...

¹ Английская пословица, равнозначная нашей — «Дурака легко вывести из себя».

Много в тундре неба. И пестра, и мягка тундра. Красят ее маки. Одуванчики — как желтки в глазунье. Синюхи глядят застенчиво, березоньки льнут к скалам. А скалы опушились мхами то киноварными, то как ярь-медянка. И вокруг озер — улыбок тундры — плотно встает высокая и острая осока. Ледолома нет на Коппермайне. По каменистому ложу река движется крупным, как куница, скоком, шумит и брызжет холодной пеной.

В июле отряд был у Ледовитого океана.

Акайчо давно вернулся. Он свое сделал. Но куда девались эскимосы? Ведь Джон рассчитывал на их помощь. Каков без них будет обратный путь?.. Прочь, прочь опасенья, гони их, как гонишь москитов. Он близок, он совсем рядом — Ледовитый океан. Полярный океан.

Во второй половине июля каноэ подошли к устью Коппермайна. Река уж не бежала куницей. Опасливо, робко пробиралась она среди бугров и наносного песка, за которым лежал океан. А над океаном скрипели чайки, в океане льдины баюкали глянцевиных жирных тюленей.

Отныне начиналось то, ради чего пересекали Атлантику, одолевали тысячи миль: обозрение берегов, сопредельных с великой морской трассой, тех берегов, в виду которых, быть может, проследуют когда-нибудь корабли победителей Северо-западного прохода.

Франклин стоял у океана. Лысый мощный лоб, широкое крепкое лицо обвевал ветер. Сквозь низкие тучи светило солнце, широкие полосы расходились по небосклону веером, образуя нечто похожее на корабельные ванты. И Джону вспомнилось, как в мальчишестве снилась ему лестница, ведущая за облака. Он улыбался задумчиво:

— Начальник! Мы не желаем!

— Неладно получается, сэр!

Проводники-канадцы гомонили все разом, жестикулируя, переминаясь с ноги на ногу. Лица у них были злые, испуганные. Лейтенант оглянулся... Ах, вот оно что! Эти сухопутные празднуют труса. Они, понимаете ли, жаждут унести ноги.

— Да-да, начальник, мы не желаем подыхать!

— Право, не знал... — Франклин, хмурясь, покусывал губы. — Не знал, что у господ вояжеров заячьи души.

Венцель казался смущенным. Он старший, он каждого проводника вербовал, а теперь... Венцель ковырнул землю носком мокасины и отвел глаза.

— Гм! Что и говорить, начальник, каноэ-то поистрепались. А? Во какая беда, начальник. Утопнуть-то на них проще, чем из ружья выстрелить. А? Я говорю им: ничего, ваяйте. А они мне: тебе-то, мол, что...

И точно, всем ведь было известно, что Венцель и еще чет-

веро по его выбору не сегодня завтра уйдут к Зимнему озеру готовить форт для будущей зимовки.

Венцель перестал ковырять песок.

— Пусть кто другой убирается, а я останусь.

— Эка важность, — загалдели проводники, — что с тобой утопнуть, что без тебя. На каноэ — в океан? Нет уж, начальник, уволь! Не пойдем, хоть ты тресни, не пойдем?

— Без вас обойдемся! — вспыхнул мичман Худ.

Проводники расхохотались.

«А не поймать ли рыбку на серебряные крючки?» — подумал штурман Бек и, прищурившись, повел речь о прибавке к окончательному расчету.

— Поищи-ка дураков в другом месте! — закричали проводники. — Нету дураков, нету!

Пока перекорялись, Михель с Хепберном нарезали ивняка, собрали плавник, разложили костры. Отряд, разломившись на две неравные части, сгрудился у огня. Ивовые прутья горели нехотя, пуская младенческую слюну, шевелясь, как сырой табак в чубуке.

Напившись чаю, Хепберн, не произнеся ни слова, направился к костру вояжеров. Англичане проводили матроса молчаливым недоумением. Они видели, как Хепберн уместился среди проводников, как перебросил на ладонях уголек, подул, сунул в трубку и заговорил о чем-то с канадцами.

Сперва вояжеры посмеивались, но скоро присмирели, недоверчиво взглядывая на матроса, а после уж всех подхватило, повлекло неторопливое течение Хенбернова рассказа.

Говорил он долго, говорил о море, о моряках, о капитанах, о морских происшествиях, и лицо его, тронутое оспой, заросшее бакенбардами, радостно светилось. Говорил он, как круто и солоно достается в морских походах, говорил, что, хотя и сухопутное странствие, да еще на Севере, не всякому, конечно, по плечу, но уж кто в океанах побывал, тому и черт не брат. И еще говорил он, что ежели какой вояжер выйдет в океан, то о нем слава по всей Канаде громом прокатится, ибо никто еще не отваживался в берестяных скорлупках океану перечить.

— Видели, братцы, начальник-то наш пишет да пишет? — спрашивал матрос, попыхивая трубкой. — Видели? А что пишет? Не знаете? А пишет он, где мы да как мы, за каждый день запись производит. А как в Англию воротимся, тогда, господа вояжеры, составитя книга. Напечатают, карту приложат, и станут ту книгу читать разные люди в разных странах. Теперь представь... Ну вот хоть ты, Пьер. Ну скажи на милость, кто нынче знает, что жив ты на божьем свете? Мало, брат, кто знает. Так, что ли, а? Ну вот, вот. А ты вникни: из книги нашего начальника тебя везде знать будут. Эге, скажут, есть в Канаде вояжер Пьер, храбрый, оказывается, малый, в

Ледовитом, представьте, океане побывал. А прочтут во Франции, то, может, так скажут: а он из наших, этот Пьер, сударь мой, из французской, значит, страны. Вот так-то, господа.

Господа не были лишены честолюбия, они заволновались:

— Всех назовет? А? Ну говори, говори! Всех? Черным по белому?!

— Лопни моя печенка, — поклялся матрос, — всех как есть! И про каждого отметит, каким он себя в опасностях-то выказал. Вот ей-богу, провалиться мне на этом месте.

Каное шли то на веслах, то под парусом, шли гонко. «Все отменно хорошо...» И ясное высокое небо, и прозелень океана, и стеклянные отсветы редких льдин, и дальних айсбергов огранка на зависть «Стор и Мортимер»¹, и этот попутный ветер, упругий и бодрый, с ягодным, чудится, запахом.

Мыс вытянулся далеко в океан. За мысом колыхался блинчатый лед. Но было такое мирное затишье, что Франклин, не робея, ринулся дальше и, петляя зайцем, коротко подгребая, пихаясь баграми, пробился к чистой воде.

А пятый день народился голубой, туманный. И подстерегла путешественников роковая минутка, когда, оплошай они самую малость, лежали б каное на дне. Было мгновение — надвинулись вдруг две могучие льдины, и еще бы миг — хрупнули бы суденышки, как огурчики. Но прыгнули на льдины, вцепившись в багры, Хенберн и Бек с одного каное, индеец Михель и мичман Худ — с другого... Все обошлось. Однако Франклин учел урок, насторожился и, когда опять загустели туманы, приказал идти берегом.

Как год назад на водоразделе Маккензи и Коппермайна, так и теперь пришлось подставлять плечи, пришлось сгибаться и брести, чертыхаясь, сплевывая вязкую слюну, ощущая в висках и горле тяжелые толчки крови.

То сушей, то водой двигались к востоку. И ложилась на карту прихотливая береговая черта. Заливы и полуострова, устье реки. Опять заливы, то глубоко вгрызающиеся в сушу, то отверстые в сторону океана створками гигантской раковины, и опять мысы, обрывистые или пологие.

Едва среди островков, среди битых льдов проглянет ребристая даль открытого океана, тотчас захолонет сердце: не возникнут ли на горизонте темные вертикальные черточки? Темные черточки, как темные былинки, — мачты кораблей Уильяма Парри.

Увы, не было парусов «Геклы», не было парусов «Грайпера». Из-за пустынного горизонта каравеллами плыли грузные

¹ «Стор и Мортимер» — лондонская ювелирная фирма.

тучи. Где ты теперь, благодушный, упрямый шотландец? Где ты теперь, закадычный друг Уильям Эдвард Парри? Эх, гадай не гадай, а толк один — полное неведение. И потому, Джон, делай свое дело. Описывай канадский берег, благо вывозит тебя «добрая лошадка»: и погода сносная, и каное пока на плаву, и ледовые условия еще вполне благоприятны.

Но тревога кружила над головой. Ведь только в первый день по выходе из устья Коппермайна уложили жирного оленя. А потом... потом и зверь, и дичь сгинули. В мешках есть пеммикан. Но трать с оглядкой: предстоит возвращение к Зимнему озеру.

Минул месяц морского пути. Было 18 июля 1821 года. В тот день Ледовитый заштормил. Франклин отправился пешком на съемку берега. С ним шли Бек и Ричардсон.

— Пеммикану — на трое суток, — как бы невзначай обронил лейтенант.

— Угу, — промычал доктор.

— А шторм, видать, надолго, — сказал Бек.

— Итак? — спросил Франклин.

— М-да, — отозвался штурман.

Доктор вздохнул:

— Увы...

Канадцы возликовали. Оно, конечно, лестно, ежели в книге твое имя пропечатано. Но не лучше ль подобру-поздорову убраться поскорее в знакомые леса, зашить в кушак честно заработанную деньгу да и гульнуть напропалую в какой-нибудь фактории.

Экспедиция отступала медленно. Зима наступала стремительно. На оселке скал северные ветры точили длинные свои лезвия. Не то туман, не то дальние метели замглили горизонт.

Солнце день ото дня меркло. Окрестности как бы стеснились, и не было уж прежнего простора, и само небо будто уменьшилось. А в сентябре взвыли снежные бури. И не осталось ничего — ни земли, ни звезд, ни «близко», ни «далеко».

Глава 9

ИВОВЫЙ ВЕНОК

Хепберн считал: один, два, три... Англичане все, теперь — канадцы. Не сбиться б со счета. Только б не сбиться... О черт, не отличишь Пьера от Гастона, а Гастона от Жана. Как привидения... И никакого у них груза — все брошено. И каное тоже... Только бы не сбиться со счета... Пресвятая дева, как они тянутся! В прошлый раз, сменив штурмана Бека, он злился на вояжеров, понукал. А нынче... нет сил разозлиться.

Тянутся мимо Хепберна «лесные бродяги» в своих негнувшихся оледенелых одеждах. А матрос Хепберн стоит по колени в снегу и считает, считает, шевелит губами. Ох, как медленно! А ведь день-то не в пример прочим: мох нашли, наскребли полные пригоршни. Ну, ну, Хепберн, не ошибись, не теряй счета... Сколь их? Одиннадцать? Двенадцать? Да, мох-то наскребли. Если натаять в рукавицах снегу, перемешать со мхом — ничего, съешь. Разумеется, не солонина, а все же... Эх, доктор, вы можете не бояться: нам не суждено помереть от обжорства, наши желудки, сэр, не слишком-то обременены работой... Так, еще один. Кто это? Господи, глаза как волчьи... А, Михель! Приятель Михель, твои мокасины, должно быть, весом с пушечное ядро. Что ты там бормочешь себе под нос? Шагай, шагай, малый!.. А в брюхе точно стекло лопается, как скребком скребет... Все, что ли? Все, слава тебе, господа.

До вчерашнего дня Франклин был молодцом, а вот нынче штурман Джордж поддерживает лейтенанта. Милый Джордж, ваш начальник здорово сдал. Он не может согреться. Ему все время холодно. Знаете, Джордж, сэр Джон Барроу окрестил вашего приятеля «арктическим парнем», а он просто-напросто мерзляк. Он и дома, в Спилсби, жался к камину. Старший братец Томас потешался над будущим «арктическим парнем». А сестрицы с укоризной замечали, что у Томаса черствое сердце. Черствое сердце... черствый сухарь... А? Что вы говорите? Ничего? Да-да. За один черствый сухарь... Нет, Венцель не оплошает. Венцель давно у Зимнего озера, и амбар ломится от припасов. Окорока, подернутые желтоватым жирком... А над кострами, там, где дым не так горяч, копятся распластанные осетры... Мама сама отбирала мясо для бифштексов, не доверяла кухарке. В доме были отличные печи. Под рождество, когда надо приготовить получше, соседи несли гусей и уток — тушить, жарить. Отец разрешал, хотя уголь был дороговат, а дрова еще дороже... Дров — вот что нужно, дров. Побольше дров, Венцель, побольше дров, а если индейцы не смогут, то свалите несколько сосен. Ах, если б у Коппермайна росла хоть одна сосна...

Бек снова взял Джона под руку. Франклин вяло сказал:

— Не надо, старина... Берегите силы.

И тут они услышали ружейные выстрелы. Ни лейтенант, ни штурман ничего не видели. Какие-то пузырьки, какие-то пятна медленно плавали перед глазами. Ничего они не разглядели, но услышали громкий предсмертный хрип. Ричардсон убил мускусного быка! Коротконового, обросшего бурой шерстью, похожего на бизона. О доктор, вы настоящий Адам Белл!¹

¹ Белл Адам — знаменитый стрелок, воспетый в английских балладах.

Проводники содрали шкуру ловчее опытных грабителей, сдирающих плащ с запоздалого прохожего. И вот уж освеженный бык дымит розоватым дымом, и густой, дикий, горячий дух шибает людям в ноздри, сводит скулы, подкашивает ноги.

Они разодрали тушу. Они жрали, не утираясь, опустившись на колени, не видя, не замечая ничего, кроме дымящейся крови и дымящегося мяса... Теплая, густая, как вар, сытость туго разлилась по жилам, по мускулам, пот проступил на висках, на груди. И уже медленно двигались челюсти, уже тяжелели руки и ноги, в сладостной истоме хотелось растянуться на земле и лежать долго, долго, долго...

Худ, Михель и Хепберн засовывали в мешки остатки мяса.

— Много, много, — причмокивал Михель.

«Много? На два, ну, на три перехода», — прикидывал мичман Худ. Уж Роберт-то знал, что будет после третьего, после четвертого и пятого переходов. Отлично знал... Прежде раздачей провизии ведал старший вояжер Венцель. Потом, когда Венцель ушел к Зимнему озеру, — мичман Худ. У Венцеля дело спорилось. Да и не велик труд делить харч, если он в изобилии. А вот попробуй делить теперь...

И точно, на четвертый день вояжер Худ делил крохи. Не поднимая глаз, протягивал щепотки съестного.

— Лучше сдохнуть сразу!

Это Михель, ирокез Михель.

— Проклятый начальник, — пробормотал кто-то из вояжеров.

Другой огрызнулся:

— Заткнись!

Люди еще понимают, что он, Роберт, не утаивает, делит честно. Это они пока понимают, но уже не могут удержаться от ненависти к нему. И лишь в эту минуту глаза у них блестят.

Крохи съестного исчезли. Потухли глаза. И остались мокасины. Зашагали по снегу. Снег не скрипел — издавал треск. Будто хворост.

До неба стояла железная стужа. И сизый голод. Скреби на валунах исландский мох, пихай, запихивай в провалившийся рот.

В последних числах сентября дошли они до реки Коппермайн. Кто-то отчаянно вскрикнул, кто-то горестно охнул, кто-то бессмысленно рассмеялся: лед не сковал Коппермайн!

Всклокоченная, в пене неслась река. И метель, падая наискось, истаивала на ее волнах. Четыре сотни шагов до противоположного берега.

И тут, глядя на Коппермайн, на берег, двадцать измученных, изможденных людей налились яростью. Они перейдут проклятый поток, должны перейти...

Они искали брод до темноты. Искали день, другой, третий.

Искать надо было здесь, в этих вот местах, только здесь: если идти вверх по течению, то брод отыщешь скорее, но тогда дашь такого крюку, что, пожалуй, никогда и не увидишь Зимнего озера. Да, здесь, только здесь.

Брода не было. Была зловещая стремнина. И стук гальки, как стук костей. Неустанный, вприскок бег воды. И всплески ее, и рокот.

На девятый день они сдались.

Прутики ивы корчились в костерках. Жалкие, тоненькие, ооченелые прутыки.

— Ивовый венок... Ивовый венок...

Что он такое шепчет, матрос Хепберн, тупо глядя на огонь?

— «Ивовый венок сплела я»... — Хепберн поднял голову. Посмотрел на Ричардсона: — Сэр, помните?

И доктор понял: старинная песня, ее поют простолюдины — «Ивовый венок сплела я»: ивовый венок — символ несчастной любви. Уж не рехнулся ли матрос?

— Как же, как же... — рассеянно отвечает доктор.

Франклин и Бек жуют мох.

Реполовы, малые пахи, осыпают непогребенных мхом. Так верили прадеды. Реполовы? Нет здесь реполовов. Непогребенных осыплет метель.

Они жуют мох. «Ивовый венок...» — твердит матрос Хепберн, сгибая и разгибая лозинку. Он протягивает ее Франклину.

— Что такое, Хепберн?

— Плот, сэр.

— Плот? А-а... Плот? Да-да! Молодчина! Плот!

В потемках, во мгле они срезают ножами иву. В потемках, во мгле плетут, плетут плот... Хоть бы один перебрался с канатом на другой берег. И тогда остальные, держась за канат, переправятся на другой берег...

Но хилый плот притонул, как решето. И зачем только вспомнилась Хепберну старинная песенка?! Песенка про ивовый венок — символ несчастной любви.

Коппермайн всплескивает, слышен стук гальки, звон воды. И падает наискось снег, торопится вслед за быстринной.

— Михель, — тормошит Ричардсон. — Михель, Хепберн...

Индеец и матрос придвигаются к доктору. Он что-то шепчет им. Ага, у доктора простой план, очень простой.

— Ничего не получится, доктор, — возражает Хепберн.

— Канат! — приказывает Ричардсон.

— Но...

— Канат...

Матрос и индеец обвязывают Ричардсона канатом.

— Крепче. Так. Еще разок.

И Ричардсон входит в воду, ломая с хрустом прибрежный

лед. Ричардсон плывет на боку, скоро и часто выбрасывая руки, а Хепберн стравливает канат.

Франклин и Худ, поддерживая друг друга, стоят на берегу. Штурман Бек опирается на палку. И проводники тоже стоят на берегу.

Сухо и четко, как кости, стучит галька, стеклянно и злобно звенит вода.

— Господи, помоги ему, — шепчет Франклин.

Глава 10

ДВА УБИЙСТВА

Пьер упал. Он мертв, челюсть отвисла, в черную глотку сеется снег.

Запасные сапоги съедены. Буйволоковый плащ мичмана Худа короче шотландской юбки: от плаща отрывали кусок за куском, рубили лапшой — жевали, жевали, жевали.

И еще один вояжер падает в снег. Кто это? А-а, не все ли равно? Этот тоже счастливец — песню смерти поет ему метель, снег укрывает самым теплым, самым мягким саваном.

Франклин слышит тяжелые удары барабана. Боже мой, да ведь это в Спилсби, это балаган мистера Уэлса! В балагане дрессированный слон. Нужен шиллинг, и — пожалуйста! — входите в балаган, леди и джентльмены. Один шиллинг...

— Настоящий мужчина, — шепчет Франклин. — Понимаете, Роб? Настоящий мужчина...

Отец скуп, ему жаль шиллинга. Но Джону так хочется увидеть дрессированного слона в балагане мистера Уэлса. Ах, как там тепло!..

Мичман Худ знает, что хотел сказать Франклин: «Настоящий мужчина идет до тех пор, пока он больше не может идти, а после этого он проходит в два раза больше». Так говорил и штурман Бек. Счастливец Джордж! Он, должно быть, уже греется в хижине, лакомится олениной... «А после этого проходит в два раза больше...»

— Не пойду! — говорит Роберт громко, отчетливо. — Не пойду!

— Спокойно, мой мальчик. Обопритесь. Вашу руку. Очень хорошо, мичман. Надо помнить «петушью яму». Так, хорошо... Хепберн, помогите. Ну, марш.

— Доктор, вы убили быка? — спрашивает Худ. Глаза у него закрыты, он обхватил за шею Ричардсона и Хепберна. Он мучительно соображает, почему не отвечает доктор... Ах, вот оно что: ведь доктор утонул.

Роберт поднимает голову — видит Ричардсона. Видит и внезапно все вспоминает: как доктора, потерявшего сознание, вытащили на канате из стремнины. А потом? Потом они соорудили челнок: клеенчатые мешки, ивовые прутья... Соорудили все же челнок. Одолели реку. Потом штурман Бек с двумя проводниками ушел вперед. Он шел, опираясь на палку, туда, к Зимнему озеру, чтобы выслать подмогу.

— Ваш брат, Роб, не сдался бы. Правда? — шепчет Франклин.

Ноги у Роберта волочатся по снегу, голова мотается, как тряпичная. Ах, брат, старший брат... Брат на корабле. Там сигнал к обеду «Ростбиф старой Англии» — и подставляй тарелку: гороховый суп с солониной... Он жалобно всхлипнул.

Ричардсон переглянулся с Франклином.

— Вот рощица, — сказал Ричардсон. — Я останусь с ним. Буду ждать.

— Нет, доктор, нет...

— Он больше не выдержит, — настаивает Ричардсон.

Доктор прав. До Зимнего озера не так уж и далеко. В хижине уйма съестного, заготовленного Венцелем... Ну что ж, доктор, оставайтесь втроем — бедняга Роберт, матрос Хепберн и вы. До Зимнего озера недалеко. Он, Франклин, пришлет отсюда проводников, пришлет провизию.

И Франклин с вояжерами уходят — цепочка шатких теней. Последним ковыляет ирокез Михель. Михель слаб, как мальчонка, выкуривший трубку табаку. Цветные круги мельтешат в глазах индейца, в голове мельтешит неотвязная мысль: в тундре остаются мертвецы — мясо остается в тундре.

Впереди Михеля ковылял канадец Жан. Михель смотрел ему в спину. И глаза у Михеля блеснули, когда Жан опустил ся на колени. Он тщился встать, канадец Жан, но его гнула к земле какая-то неодолимая сила. И канадец не встал.

Михель огляделся.

Никого. Дым поземки. И голод. Никого.

Михель бросил к костру куропатку и зайца. Ричардсон с Хепберном не могли отвести от них глаз. И, только насытившись малость, накормив Роберта, спросили ирокеза, почему он вернулся.

Михель потерял отряд. Одному-то как? И канадец Жан тоже отстал. Михель тащил его сколько мог, но канадец покинул Михеля и ушел один-одинешенек в Страну Мертвых. Вот оно, ружье Жана.

— Там сосны, — сказал Михель. — А в соснах олени.

Оставив мичмана, отправились втроем. И верно, совсем рядом был сосняк. Редкий сосняк, но Хепберн с Ричардсоном зачарованно слушали скрип деревьев, шорох хвои. Где-то взвыл волк, и вой зверя, выслеживающего оленя-карибу, прозвучал для матроса и доктора как надежда.

— Хорошо... — пробормотал невнятно доктор. — Надо Роберта...

— Ступайте, — сказал Михель.

Хоть и рядом, а доктор и матрос лишь на следующий день принесли мичмана в сосновый лесок.

Шалаш был, дрова были. А Михеля не было. И топора не было. Если ирокез преследует оленей, на кой ляд ему топор?

Огонь набросился на сосновые смолистые чурки. Давно уж не дышало такое духмяное пламя. И вот она, куропаточка, еще осталась, сберегли. Надо б разделить на четверых. Вот так: этот, большой кусочек — бедняге Роберту, а эти поровну — доктору, Михелю, Хепберну. Не беда — ирокез не промахнется, ирокез принесет оленину. Ага, вот для чего ему понадобился топор: всю тушу тащить не под силу.

Но Михель пришел с пустыми руками. Что делать — олень не пустил под выстрел. Завтра будет, посулил Михель, заваливаясь в углу шалаша. Будет мясо, будет. Молодец Михель, молодчина! Мясо у них будет. И бедняга Роберт выкарабкается, и подспеют индейцы. Чего же нос-то вешать?

Михель спал долго, всю ночь и почти до полудня. Проснувшись, лежал, потягиваясь и зевая.

— Не пора ли, приятель? — мягко спросил доктор. — Ты, право, отменно выглядишь.

— Нет, — сказал Михель. — Отдыхать! — И натянул на голову куртку из волчьего меха.

А на другой день разгулялась лихая метель. Михель спал, как младенец. Доктор и матрос угрюмо сидели у огня. Роберт был в забытьи.

К утру все притихло.

— Михель идет, — сказал ирокез.

— Скотина, — буркнул ему вслед Ричардсон. Помолчал и задумчиво отнесся к Хепберну: — Вы ничего не заметили? А? Гм! Сдается, парень крепче прежнего.

Хепберн пожал плечами. Потом мирно произнес:

— Э-э, сэр, индеец знает, когда спать, когда охотиться.

Увы, и на сей раз Михель вернулся ни с чем. И опять захрапел в своем углу.

А ночью Ричардсон склонился над Михелем. Склонился и вдруг отпрянул в ужасе. Почудилось? Галлюцинация? Доктор опять нагнулся к Михелю. И теперь совсем уж явственно различил сладковатый сытный запах. Никогда в жизни не слышал Ричардсон этого запаха. Не слышал, но готов был поклаться, что так пахнет... человечина.

Утром Михель не выразил желания покинуть шалаш.

— Послушай, — глухо начал Ричардсон, — ты же видишь, наш молодой друг...

— А, — отмахивался Михель, — кто вас держит? Идите, олени ждут...

— Не пойдешь?

— Не пойду.

Ричардсон заскрипел зубами:

— Пойдешь, скотина!

— Послушай, — вмешался Хепберн, — ты был нам верным товарищем, а теперь тебя не узнать...

— Отвяжись!

— Ладно! Придет время... — угрожающе сказал доктор и обернулся к Хепберну: — Вот что, старина. Я набираю лишайников, а вы — по дрова. Тут, знаете, где-нибудь рядышком. Хорошо?

Михель и бровью не повел.

Ричардсон приласкал мичмана:

— Мы скоро.

У мичмана навернулись слезы.

— Мне не встать, доктор, вы бы лучше...

— Полноте, мой мальчик. Мы скоро.

Роберт привалился к стенке шалаша.

Шаги утихли. С сосен глухо падали комья снега.

— И тебе не совестно? — сказал Роберт.

Михель ковырял в зубах. Лицо его выражало равнодушное презрение.

— Мерзавец! — тонко крикнул Роберт.

Михель перестал ковырять в зубах.

— Молодой, а бранишься, как старуха.

Вдалеке стучал топор Хепберна.

— Предатель, — сказал Роберт. — Скоро все в лесах узнают...

— Михель не предал, — с внезапным гневом ответил ирокез. — Есть закон Большой Беды. У вас свои законы... — Он заговорил сбивчиво, мешая английские слова-коротышки с индейскими, длинными, как ружейный ствол. — Михель предатель? Это ты, ты, ты... Проклятые белые! А-а, шелудивый пес...

Хепберн услышал выстрел. Доктор? Нет, доктор, кажись, в другой стороне... Хепберн вдруг побежал к шалашу что было мочи. Увязал, падал, переваливался через валежины. Спешил, спешил...

Как было не спешить? Ведь Хепберна осенило: это индейцы! Индейцы, присланные Франклином. Спасение... Он увязал в снегу, переваливался через валежины.

Он ворвался в шалаш... и попятился: мичман лежал на спине; лицо его было залито кровью, правая нога разута.

— Вот так, — торопливо сказал Михель. И показал, как мичман приставил дуло ко рту, курок нажал пальцем ноги...

Доктор шагнул в шалаш и оцепенел. Потом рухнул на колени, обеими руками сжал голову Роберта. В шалаше было су-

меречно, костер не горел, но и Михель и Хепберн видели, как дрожат руки Ричардсона.

— Господин ружье... — возбужденно повторял Михель. — Я спал. А господин ружье... и... Господин ружье и так... вот так, господин...

— Стоп! Когда он разулся? — спросил доктор.

— Михель спал.

— Гм!.. Ну, ну... Спал. Хорошо. Должно быть, спал... — Ричардсон потупился. Потом посмотрел на матроса: — Полагаю, делать нечего?

— Верно, — вздохнул матрос. — Надо идти.

И они пошли к Зимнему озеру.

Михель настойчиво убеждал: к Зимнему озеру не добираться, лучше взять южнее, где олени, мясо, добыча.

Хепберн рявкнул:

— Ишь нацепил!

И впрямь, у Михеля было ружье, два пистолета, кинжал, нож, а у них с доктором — ружье, да пистолет, да вот еще топор.

— Думаешь, мы не знаем? — злобно продолжал матрос.

— Придержите язык, Хепберн, — сердито приказал доктор.

Ирокез заглядывал ему в лицо:

— Михель не виноват, Михель клянется. А этот... — Индеец мотнул подбородком на матроса.

— Что ты мелешь? — угрюмо спросил доктор. — Хепберн ничего худого...

— Нет, господин, Михель один, белых двое. Белых двое — Михель один.

— Еще и скулит... — Хепберн длинно выругался.

Михеля перекосило:

— Ты... ты виноват! Ты уговорил идти к Большой Соленой Воде.

Хепберн взмахнул кулаком. Ирокез отпрянул.

— Слушай, парень, — сказал Ричардсон, — ступай-ка ты на юг, а мы — своей дорогой. Так будет лучше. А? Ступай-ка подобру-поздорову.

— Мертвый белый лаял, как песец. А Михель никого не предал. Михель уйдет? Да! Белые тоже уйдут, господин. Нету Михель, и белый идет в Страну Мертвых.

На привалах они боролись со сном: двое караулили одного, один караулил двоих. И днем, в пути, петляя среди скал, они не спускали друг с друга настороженных угрюмых глаз.

Но однажды индеец как-то отбил в сторону, и Ричардсон наконец остался наедине с Хепберном.

— Знаете, — тихонько проговорил доктор, — а ведь проводника Жана...

— Да, — сказал Хепберн, — тут дело черное, это уж точно.

— И топор он брал... Понимаете?

— Угу, сэр. Зарыл в снег, а после рубил мерзлятину.
Они помолчали, тупо глядя под ноги.
— И нашего Роба... — начал снова доктор.
— Верно, сэр. А теперь, подлец, удумал нас... — Он сделал жест, будто ножом пырнул. — И концы в воду, сэр.
— Ну? — спросил доктор.
Хелберн медлил.
— Ох, сэр, грех на душу...
— Он рехнулся, — проговорил доктор. — Конченный человек.
— Ох, сэр, — вздохнул матрос и покачал головой.
Ричардсон взвел курок пистолета.
В ту минуту показался Михель, взглянул на Ричардсона и выхватил оружие.
Доктор и Михель выстрелили одновременно.

Глава 11

ОБЕД С ГЕРЦОГОМ ГЕМФРИ

Святой Патрик топил печь снегом. Франклин нуждался в дровах. А дров не было. И ни крошки съестного. Ничего не было у этого Зимнего озера. Сугробы, да сосны, да обросшая инеем пустая хижина. И пятеро изможденных людей на грязном полу.

Джон первым превозмог себя. На столе посреди хижины белел клочок бумаги. Записка? Записка! Несколько строк, нацарапанных штурманом Бекком. Франклин долго не мог их прочесть. «Большое Невольничье... Индейцы... Сомневаюсь...» Слова всплескивали, как рыбы, и тонули в темноте. Джон долго не мог прочесть строки, нацарапанные штурманом Бекком. Но прочел, прочел все-таки.

Два дня назад был он здесь, в этой хижине, лишь два дня назад был здесь штурман Бек. От Венцеля никаких известий. Джордж ушел искать Акайчо. Джордж ушел к Большому Невольничьему озеру. Сто тридцать восемь миль? Нет. Как до луны. И потом... В этом форту Провиденс — толстомордый Гарри.

Да будь тысячу раз проклят день, когда Джон Франклин, старший офицер фрегата, уличил мичмана Блейка в краже денег, а товарищи тайком в «петушьей яме» жестоко высекли Блейка, да-да, офицер Гарри Блейк получил «starting»¹. Он вопил: «Я застрелюсь!» — «Поспеешь», — отвечали ему и драли нещадно. Франклин, почитатель Шекспира, посмеи-

¹ Вид наказания, применявшегося в английском флоте к нижним чинам, — сечение концом троса.

вался: «Нет, поручусь, он виселицей кончит, хотя бы все моря и океаны уговорились потопить его». Потом Гарри подал в отставку и исчез. И вот годы спустя толстомордый Блейк — начальник одного из фортов, теперь он может свести с Франклином старые счеты.

Однако записка штурмана Бека заронила надежду. Тощую, как травинка, но все же, все же... Джон окликнул вояжеров: — Эй, ребята! Слышите? Наш штурман ищет Акайчо.

Они слышали. Но они не хотели слушать. Жизнь кончилась. Не кончилось умирание.

— У штурмана все в порядке, ребята. Слышите? Говорю вам, он найдет индейцев.

И тут все четверо, не поймешь, откуда силы взялись, заорали:

— Индейцам плевать на тебя! Плевать! Плевать!

Они потрясали кулаками, кричали и разом смолкли — выдохлись. Тогда Франклин сказал:

— А в старых кострах найдем оленьи кости. И еще, помнится, здесь где-то брошены две-три шкуры. Ну-ка, молодцы, встать!

В смерзшейся золе нашлись обгорелые кости. И оленьи шкуры нашлись, и несколько свечей, и несколько кусков мыла.

Стали жить. Дел было много, сил — мало. Чурбак расколоть — как сосну свалить, дровишек натаскать — как баржу нагрузить, малый огонь вздуть — как большой камин разжечь.

Отжили день, отжили другой. А потом проводники вконец отчаялись: пришел час — не барахтайся, от «курносой» никуда не денешься. Проводники звали смертушку. И она, ей-богу, была рядом, совсем рядом была она, но почему-то медлила, хоть двери оставь ей настежь. Должно быть, страшилась этого лобастого англичанина с распухшим, обмороженным черным лицом, со свалывшейся бородой, в изорванном платье. Он разводил костер, варил какую-то вонючую жижу из обрывков сгнивших шкур, из обгорелых оленьих костей и кормил проводников, совал ложку в рты, покрытые язвами, а проводники отпихивали его руку, у Джона голова шла кругом, но он подносил ложку за ложкой терпеливо, непреклонно, механически.

Когда-то в этой самой хижине зимовщикам оленина набила оскомину, и Джон говорил: «О друзья, как бы не довелось с герцогом Гемфри обедать!»¹ Теперь вот обедал, обедал с самим герцогом Гемфри. Да еще и не снимая шапку.

¹ «Обедать с герцогом Гемфри» — английская пословица, означающая, что на обед ничего не будет. В старину знатные вельможи не снимали шляп за обеденным столом.

Однажды вечером Джон поил умирающих кипятком. В сенях вдруг закрипела дверь. И вошли двое. Их лица были в трещинах, губы — как кровавые рубцы. Сипло дыша, они опустились на пол.

Глава 12

ПРИВЕТ ТЕБЕ, АКАЙЧО...

Блейк ухмыльнулся. Чудак штурман. Слабее мышцы, а туда же — грозится.

— Убью! — тихо повторил Джордж Бек.

Всего сто тридцать восемь миль от Зимнего озера, где хижина Франклина, до Большого Невольничьего озера, где форт Провиденс. Сто тридцать восемь миль от хижины, где умирает Франклин, до форта, где сидит толсторожий Блейк.

Он смотрел на штурмана. «Славный малый, — думал Гарри, — везет Франклина: у него всегда были настоящие товарищи. Черт с ним, с Франклином, но этого штурмана, право, жаль...» И Блейк поймал себя на странной мысли: ему до смерти не хотелось, чтобы парень знал... «Вот поди ж ты разберись, — думал Гарри, — годы и годы наплевать было — это верно. Но теперь он дорого дал бы, если бы именно этот славный малый, этот штурман Джордж, ничего не слышал про «starting».

Бек сидел на лавке, уронив голову. Сто тридцать восемь миль... О блаженная теплынь, о сытость... Блейк виляет, не хочет помочь: «У самих не густо». Мысли Джорджа путались. Все было мутно, как в метель. И сквозь сумятицу пробивалось чувство, похожее на облегчение... Джордж вздрогнул, сердце его забилося — он понял, почему завладевает им чувство, похожее на облегчение: они мертвы и ему незачем искать Акайчо, незачем возвращаться к Зимнему озеру. Да, они уже мертвы — и Франклин, и Ричардсон... Зачем же искать Акайчо? Зачем возвращаться к Зимнему озеру? Никуда не надо идти, можно есть и спать, есть и спать...

— Я ухожу, — сказал штурман.

— Полноте, старина, — мягко возразил Гарри. — Прикиньте: товары, обещанные Акайчо, раньше лета не жди. Так? Теперь что же? Охоты были на редкость неудачные, я знаю. Индейцы бедствуют.

— Я ухожу, — сказал штурман.

Блейк глянул на него быстро и пристально.

— Хорошо, Джордж, черт с вами. Ради вас... Понимаете? По совести говорю: ради вас. Так вот, я pošлю надежных ребят за индейцами. Что? Чего вы бормочете? — Он насупился. — Не

надо благодарностей. Ложитесь, ложитесь, Джордж. А я, пожалуйста, выпью еще. А? Вы не против?

Джон Франклин не сразу узнал этих двоих, что ввалились в хижину. А узнав доктора и матроса, не допытывался, что случилось с мичманом и куда делся Михель.

Смерть уже прибрала канадцев-проводников. Кто следующий? Должно быть, твой черед, лейтенант Франклин...

Ричардсон с Хепберном пытались колоть дрова. Топор отскакивал, топорщице вывертывалось из рук. Ударяли в очередь: три, четыре удара — матрос; три, четыре удара — доктор.

— Не хитри, — цедил Ричардсон.

— Чего?

— Нарочно роняешь топор. Вот чего!

— Нарочно?

— Я вижу, я все вижу.

Хепберн с ненавистью смотрел на доктора.

Валил снег. Тихий, равнодушный снег. Небо стлалось низко, и тусклые, неживые отблески означались на бугристом льду Зимнего озера.

— Оно того, доктор... — проговорил Хепберн, — мы вроде все того...

Ричардсон сказал:

— Давайте топор, Хепберн.

Это уже не в первый раз: то они ссорились, ревниво и злобно приглядываясь друг к другу, то смущенно мирились.

В тот ноябрьский день могло случиться всякое: и смерть, и слезы, и бред, но только не то, что случилось. Треск ружейного выстрела громом ударил. А затем длинный, с оттяжкой взвизг: напрямик через озеро — лыжники в меховых распахнутых куртках.

Индейцы развели огонь. Индейцы нагрели воды, вымыли белых, закутали в волчьи шкуры. Индейцы кормили белых, ухаживали за ними, как за малыми ребятами.

А неделю спустя они отдали англичанам свои лыжи, плетеные лыжи с ремнями и завязками, густо смазанными медвежьим жиром. И Франклин, прилаживая ремни, думал, хотя уж и был сыт, думал, что в случае чего очень уж будут хороши эти жирные ремни и эти завязки, съесть их можно, как съели плащ несчастного Роберта, и голенища сапог съели, и кушаки...

Белые шли на лыжах. Индейцы увязали в снегу по пояс. Острыми козлиными рожками месяц опирался на вершины елей. Под тяжестью снегагнулись ветви, кричали на морозе обомшелые стволы. И вдруг поплыли над лесом, над всей землей дымь индейского лагеря.

Акайчо вышел из большого шатра-типи. Акайчо был в куртке волчьего меха, в меховых шароварах, в низких расши-

тых мокасилах. Солнце слепило ему глаза, но он не защищался ладонью, стоял в рост, осиянный зимним солнцем, приветственно подняв правую руку.

Трое белых сидели в типи Акайчо.

Много индейцев сидело в типи вождя.

Они долго молчали.

То был, по индейскому обыкновению, знак великого сострадания.

Глава 13

ВСЕ ДАЛЬШЕ...

В июле восемьсот девятнадцатого года корабли «Гекла» и «Грайпер» подошли к проливу Ланкастера. В прошлом году в глубине его мерещились горы. Капитан Росс назвал их «Горы Крокер». Уильям Парри помнил свою тогдашнюю горечь. Теперь он сам начальник экспедиции.

Уильям, с высоко поднятыми бровями, бледный, сосредоточенный, глядел в подзвонную трубу, и прекрасный инструмент, сработанный в известной мастерской Долланда, приближал какие-то клубящиеся синеватые громады.

Командир «Грайпера» лейтенант Лиддон тоже видит горы. Мэтью смотрит то на них, то на мачты «Геклы». Неужели славный парень капитан Уильям поднимет сигнал «лечь на обратный курс»? Но нет. «Гекла» по-прежнему вздымает волны пролива, и лейтенант Лиддон с радостным послушанием держит свой бриг в кильватере начальника.

«Ура!» — кричат на «Гекле». Кричат матросы, офицеры. Кричит капитан, и на бледном лице его счастливая улыбка. Горы, как он и ожидал, были рождены оптическим обманом. Впереди стелется чистый водный путь. Проливом Барроу называет его Парри. Секретарь адмиралтейства, вы будете довольны капитаном королевского флота Уильямом Парри.

Он все-таки помалкивает, не желая дразнить судьбу. Но и матросы, и офицеры в мечтах своих уже на Аляске. И корабли идут все дальше, все дальше, и вот экипаж выстраивается на палубе. Капитан возвещает, что суда достигли 110° западной долготы — середины пути между проливами Девиса и Беринга, а значит, «Гекла» и «Грайпер» выиграли премию в пять тысяч фунтов стерлингов, установленную парламентом еще в 1743 году.

Черт побери, если так везет, они, гляди-ка, выиграют и другую, еще большую награду — в двадцать тысяч фунтов стерлингов, обещанную тем же парламентским актом за открытие Северо-западного прохода.

Парри надеялся, что зима помедлит до октября, и он из-

ловчится одолеть сотни и сотни морских миль. Увы, уже в первых числах сентября льды повалили такой грозной толпой, что принудили срочно искать зимовку.

Он облюбовал бухту на острове Мелвилла. «Гекла» и «Грайпер» вошли в бухту, но обширное ледяное поле не позволяло надежно укрыть корабли. Моряки вооружились топорами и пилами. Два дня прорубали канал. Наконец втянулись поближе к берегу, а вскоре рукотворный коридор этот запаяло льдом, и «Гекла» с «Грайпером» оказались плотно укупоренными в бухте острова Мелвилла.

Парри был отличным навигатором — это так. Но никогда еще в жизни не испытывал шотландец тягот арктической зимовки. К тому же он был не просто зимовщиком, а начальником зимовки: стало быть, кроме тягот, выпавших на долю каждого, отвечал за всех.

Продовольствия хватит, голод не грозит, они выдержат мрак и стужу полярной ночи. Но Парри знал, как важно наладить быт корабельного люда, как важно не позволить унынию и тоске закрасться в душу.

Сперва дела хватало. К бортам сгребали снег, укутывая корабли; над палубами натянули брезенты: в ненастье капитан намеревался устраивать там спортивные игры. Хотя провианта было с лихвой, начальник экспедиции поручил добровольцам готовить свежинку. Пятого ноября солнце ушло за черту горизонта; надолго ушло солнце — месяца на четыре, а то и больше. И в тот же день командам обоих судов был сделан сюрприз.

Жилая палуба «Геклы», тесно уставленная скамейками, обратилась в зрительный зал. На канате висел, ниспадая грубыми складками, парус. Он взвился, этот занавес, и при громе аплодисментов, каких, верно, не слыхивали сухопутные театры, начался первый спектакль корабельной труппы. Сам Уильям Парри явился одним из персонажей веселой пьесы «Девушка до двадцати лет».

Сыграть на военном корабле пьесу, да еще капитану актерствовать — это, конечно, весьма рискованно. Но Парри чуточку пренебрег чопорными традициями офицерской корпорации. Он заботился о зимовщиках и надеялся, что его как-нибудь да извинят адмиралтейские педанты.

Театром не ограничились. Уильям завел еще рукописный журнал. Его назвали «Зимняя хроника, или Газета Северной Георгии». Редактором избрали астронома и геодезиста Эдуарда Сейбина, в сотрудники пригласили всех — от кока до старших офицеров.

Редактор и его помощники писали научные статьи, стремясь изъясняться популярно, а многочисленные плодовые репортеры строчили всяческого рода заметки, явно предпочитая юмористические и даже сатирические. Получился своеобраз-

разный журналчик. Рядом с солидным сочинением на тему о полярной рефракции в нем можно было найти и такой, например, перечень невзгод полярного житья:

Выйти утром подышать свежим воздухом, спуститься с корабля на лед — и с первого же шага провалиться в прорубь, принав против воли холодную ванну.

Отравиться на охоту, приблизиться к великоленному оленю, прицелиться, дернуть курок — и испытать ужасное разочарование, обнаружив, что порох на полке отсырел.

Пуститься в путь с куском свежего хлеба в кармане, почувствовать аппетит — и убедиться, что хлеб замерз, стал как каменный и может искрошить вам зубы, между тем как последним ни за что не удастся искрошить хлеб.

Услышав, что в виду корабля оказался волк, поспешно встать из-за стола, выйти наружу, а по возвращении убедиться, что обед ваш съеден другими...

Хотя гонорара и не платили, редактор едва поспевал вынимать из ящика, прибитого к дверям его каюты, заметки, «Письма к издателю», «Объявления», в которых каждый автор стремился блеснуть истинно английским остроумием.

Дни заканчивались развлечениями, а начинались, по строгому приказу Парри, гимнастикой. Затем матросы приступали к корабельным занятиям: тут уже заботились боцманы, проявляя не меньшее рвение, чем сочинители «Зимней хроники». А промысловые партии по-прежнему отряжались, и у матросов, и в кают-компаниях не переводилось свежее мясо.

Восемьдесят четыре дня стояла полярная ночь. Лишь в первых числах февраля 1820 года моряки заметили краешек солнца. А седьмого солнце медленно всплыло, в его встретили ружейным салютом, криком «хип, хип, ура-а-а...».

Но «Гекла» и «Грайпер» долго еще были недвижны. Мороз держался свирепый. Дожидаясь вызволения из ледовитого плена, Парри обследовал часть острова Мелвилла.

В марте мороз сдал и забот прибавилось. Теперь можно было обойтись и без утренней гимнастики: день-деньской матросы очищали корабли от снежных заносов.

Давно уж берега обросли щетинкой мхов, и давно уж пернатые обзавелись птенцами, и олени отелились, а морские волны все еще смиряла ослепительная и тяжелая кираса льдов. Только в середине августа удалось вытянуться из бухты.

Снова попытались Парри и Лиддон отыскать проход на запад, к Берингову проливу. Увы, тщетно. На вторичную зимовку Парри не решился. Пожалуй, и без того сделано было достаточно.

Всего за шесть дней «Гекла» и «Грайпер» покрыли расстояние от острова Мелвилла до пролива Ланкастера и вышли в Баффинов залив, который теперь казался почти безопасным

для навигаторов. Еще полтора месяца плавания, весьма штормового, и вот с кораблей завидели родные скалы.

Полярников почтили торжественной встречей: ведь они проникли далее всех иных людей на свете, далее предшественников на тридцать градусов по долготе, а главное — убили сомнение в существовании Северо-западного прохода, и недоверие исчезло, как исчезли пресловутые «горы Крокер».

Жители городка Бат преподнесли земляку своему Уильяму Парри звание почетного гражданина. Он получил чин командора. Барроу поставил его выше Джеймса Кука.

Глава 14

МРАЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Низкорослые, нагие или едва прикрытые шкурами кенгуру, они жили на острове, отделенном от Австралии проливом. Добывали огонь трением, плавали в лодках, охотились и собирали съедобные корни, верили в духов — в добрых и злых. Злые водились в мрачных ущельях, только там и нигде больше. Не думали не гадали островитяне, что злые духи явятся из-за моря.

Впервые они приняли облик белокурых румяных голландцев. Но голландцы пришли ненадолго. И опять прояснело небо над островом, который уж был помечен на карте Вандиеновой Землей, в честь губернатора голландской Индии.

Минул век, еще полвека, еще с десятков лет. И началось... Началось с того, что англичане основали поселок Хобарт. Один за другим поплыли в Хобарт корабли. Партии ссыльных, гремя кандалами, сумрачной вереницей сходили по трапам. Потом прибыли свободные колонисты. Эти, разумеется, почитали себя людьми порядочными, отнюдь не убийцами, не грабителями. Однако в представлении «дикарей» все они были убийцами и грабителями, ибо и те и другие нещадно гнали островитян с благодатных прибрежных земель, стреляли в них из странных железных палок, жгли шалаши, похищали женщин.

Все дальше к пустынным плоскогорьям отступали туземцы, и все больше погребальных костров пылало на острове. А пришельцы распахивали земли, заводили отары тонкорунных овец.

Наконец бедолаги, вооруженные деревянными копьями и буерангами, решились постоять за себя. Белые ответили истребительной войной. Белые называли ее «черной войной». Видать, потому, что истребляли темнокожих, а вовсе не оттого, что творили черное дело.

Когда новый очередной губернатор принял бразды правления, коренных жителей было душ двести, а колонистов — больше двадцати тысяч. Но и это не удовлетворяло англичан: они стремились извести туземцев начисто.

Новый губернатор был человек лет пятидесяти, с облысевшим широким лбом, тяжелым подбородком и косматыми бровями, нависавшими на карие глаза. Резкие, грубоватые морщины на лице его свидетельствовали, что человек этот некомнатный, некабинетный. Он был глуховат и частенько прикладывался к табакерке с нюхательным табаком. С ним приехали Джейн, его жена — прелестная, веселая, статная, — и кудрявая дочка Элеонора.

По случаю вступления в должность губернатор задал праздничный вечер. Почтенное общество собралось. Офицеры блистали яркими мундирами, дамы — улыбками и обнаженными плечами, богатеи колонисты — перстнями и лысыми. Загремела музыка военного оркестра. Все прошли к столу. Отужинав, танцевали, и господа офицеры наперебой приглашали красавицу губернаторшу.

В разгар веселья лакей, склонившись, подал губернатору... большой кусок дерева. Его только что принесли из какого-то дальнего уголка острова. На дереве был изображен кенгуру. Искусная простота и точность рисунка доказывали, что он сделан рукой туземца, а свежесть коры, древесных волокон и угольных линий говорили за то, что начертан он совсем недавно.

Изображение кенгуру произвело магическое действие. Все умолкли, физиономии гостей исказились.

— Поймать! — злобно выкрикнул кто-то из судейских.

— Поймать черных собак! — дружно поддержала честная компания.

Маленький кенгуру, начертанный в какой-то дальней лесной глуши, был воспринят как вражеский боевой клич.

Ропот недоумения и недовольства пробежал по залу: губернатор мешкает. Губернатор не приказывает выступить на охоту за черными собаками?

Франклин молчал. Но темные его глаза глядели без гнева на живодеров, готовых убивать, убивать, убивать... Нет, в глазах его таилась печаль человека, бессильного изменить общий ход событий, именующихся колонизацией края. И все-таки он не отдал приказа об «охоте». Кто знает, не вспомнились ли ему в ту минуту другие «дикие», те, что спасли и его самого, и его товарищей?

И у хозяина, и у гостей, хоть и по разным причинам, настроение было испорчено. Музыканты исчезали, стараясь не шуметь стульями. Гости откланивались. Дом пустел. Лакеи убирали стол. Франклин сел у окна и достал табакерку.

В саду жестко, словно фольга, шелестели деревья. Над ними была звездная россыпь и черная глуть. Когда-то, трид-

цать с лишком лет назад, дядюшка Мэтью Флиндерс обучал юного мичмана астрономии и юный мичман прилежно всматривался в созвездия, которые нельзя было разглядеть над крышами Англии.

Теперь, десятилетия спустя, те же звезды все так же струили свой древний, молодо играющий свет. Но ни причудливая Южная Корона, ни вытянутая Южная Рыба, ни Южная Гидра и Большой Пес, ни Козерог и Летучая Рыба — все эти как бы дышащие созвездия Южного полушария не радовали его, хотя он любил смотреть на звезды. О звезды... Вот если бы увидеть Полярную, а чуть ниже под нею — ковш Большой Медведицы. Звезды Севера — свидетели самых тягостных и самых счастливых лет жизни. Но боже, как быстро минули годы. Подумать только: со времени второго, и последнего, канадского похода утекло много воды. Десять лет, десять лет...

И то ли для того, чтобы избавиться от горького осадка нынешнего вечера, то ли потому, что звезды Юга по контрасту вернули его мысли к созвездиям Севера, а рисунок на коре вызвал в памяти образы других «дикарей», то ли еще и потому, что Франклин был уже в том возрасте, когда люди охотно предаются воспоминаниям, но в этот печальный поздний час Джон Франклин мысленно перенесся в другие времена, в другие страны.

Разве позабудешь индейские типи-шатры, где за тобой и твоими товарищами ухаживали с молчаливым состраданием? А потом они вернулись. Домой. В Англию. Почти в одно время с удачливым Парри. И боже мой, какими глазами смотрели на Лондон! Неземным казался перезвон колоколов Сент-Мери-ле-Боу. А кофейня Уайта, где не один вечер провел он с Уильямом и Джорджем Бекком? Впрочем, красавец штурман предпочитал балы в залах Олмэна... Да. И эта, как ее... что-то похожее на славу. Ведь толпы валили по пятам; мальчишки кричали: «Смотрите! Смотрите! Он съел свои сапоги!» Верно, пострелята, съел, съел-таки свои сапоги. Ей-богу, слава обременительна. Однако без нее, признаться, чего-то недостает. Отдых не затянулся. Барроу не дал валять дурака: беритесь за перо, господин Франклин. Адмиралтейство ждет подробного отчета. И он взялся за перо. Получилась объемистая книга: никаких гаданий на кофейной гуще — Северо-западный проход существует, будущих открывателей, тех, кто свершит наконец сквозное плавание, направить следует от залива Коронейшн до залива Коцебу, открытого русскими.

Джон Барроу не зря торопил с отчетом: секретарь адмиралтейства составлял новый проект. Тройственную экспедицию задумал старик. Две морских, одну сухопутную. Уильяму Парри прежняя дорожка: проливом Ланкастера — на запад, на запад. Фредерику Бичи — давнишнему приятелю, еще на

«Тренте» вместе были, — Фредерику: из Тихого океана через Берингов пролив, благо русские его изучили. А ему, Франклину, опять в Канаду: проложить на карту материковые берега Ледовитого океана... Три экспедиции — две морские, одна сухопутная.

Он ушел в феврале 1825 года с друзьями, несокрушимыми в беде друзьями, — штурманом Бекон и доктором Ричардсоном. Жаль Хелберна: ревматизм скрутил матроса... Да, в феврале отправились. Ну уж дудки! Он, начальник, многое предусмотрел. И чтоб от угодности какого-нибудь толстомордого Гарри не зависеть. И чтоб не хрупкие каноэ среди лязгающих льдов ходили. Нет, увольте: для тамошнего коварного мелководья лучше баркасов не придумаешь. Обзавелся баркасами. На Вуличских доках сделали. Из красного дерева и ясеня. Добротно, накрепко... В феврале, стало быть, выкатились из Темзы. А в июле — привет тебе, озеро Атабаска, и тебе привет, бревенчатый форт Чипевайан! Никто, говорят, в столь краткий срок не добирался. И опять были встречи с индейцами. Какие встречи! То-то лопнул бы с досады мистер Блейк. Не лопнул, подлец, — за год до того зарезали Гарри в пьяной драке. Упокой, господи, душу раба твоего... На Большом Невольничьем ждал Акайчо. Он был все тот же, этот Акайчо: суровый и спокойный. Как и прежде, слушал внимательно. Угу, белым нужна теперь другая река, им нужна река Маккензи, чтобы из ее устья плавать на запад и на восток по Большой Соленой Воде. Внимательно слушал Акайчо. Потом ответил: на Маккензи обитают люди племени Собачьего Ребра. Он, Акайчо, воюет с ними. Но если белому брату нужна помощь людей племени Собачьего Ребра, то вождь Акайчо выкурит с неприятелем трубку мира. И пусть белые братья спокойно плывут в царство Северного Ветра.

Они были в царстве Северного Ветра. Все три экспедиции там были. И контуры заветного пути из океана в океан проступили явственнее.

Тут бы, казалось, пришла пора навалиться всей силою, всей мощью. Увы, морские лорды судили иначе. Другие ветры задули в паруса, и на вот тебе — завела судьба на другой конец света.

Жестко шелестели деревья. Ящерица юркнула с подоконника в комнату. Звезды, южные звезды. Нет, не радуют они старого моряка. Больше десяти лет не определяет он высоту северных звезд да и сам не чувствует себя на «высоте» минувших лет. Вот уже больше десяти лет, как вернулся капитан из арктических странствий...

Взгляд Франклина упал на кусок дерева с изображением кенгуру. Трогательный и смешной, он будто поглядывал доверчиво на Франклина.

Франклин знал, что не придется ко двору этим господам в ярких мундирах, с блестящими лысынами и перстнями. О, конечно, они будут кляузничать, они будут доносить на него в Лондон. Что ж, пусть, он не приехал на Вандименову Землю за тугим кошельком.

Как и предполагал Франклин, отношения его с местной администрацией сложились из рук вон плохо. Сперва чиновников возмутила нерешительность губернатора в окончательном истреблении туземцев. Потом его решительность там, где они вовсе не желали ее видеть.

Одной из доходных статей вольных поселенцев, в первую голову «овечьих магнатов», заседавших по совместительству во всяческих учреждениях, были ссыльные. Заключенных заставляли пасти стада и обрабатывать землю. Обращались с ними как с рабами и, доводя до отчаяния, понуждали к бегству в глубь острова, где они предавались тому же, что делали вольные, — убивали и грабили туземцев.

В нарушение всех приличий Франклин посетил первый же корабль с осужденными. Он спустился в душные, вонючие, битком набитые трюмы. Чиновники с почти нескрываемым злобным недоумением наблюдали, как заслуженный офицер ее величества королевы участливо беседовал с отпетыми мерзавцами из Брайдуэла¹. Они своими ушами слышали, как этот рехнувшийся губернатор заверял бродяг и воров, что не потерпит жестокого обращения с ними.

И он действительно не потерпел. Он контролировал чиновников так, точно они служили у него корабельными кладовщиками-баталерами. И в довершение всего Франклин бесцеремонно пограл нравственность соотечественников. Судите сами...

Однажды в дом его притащили заплаканную, перепуганную девчущку. На «дикарке» только и было что ожерелье из ракушек. Старый моряк приласкал пленницу.

— Ну, ну, — пробурчал он добродушно, — утри глаза. Ой, ой, какое горе!.. Ну, ну, перестань. Как тебя звать? А? Ну-ка, отвечай, как тебя звать? — И, вытянув палец, пошевеливал ожерелье из ракушек.

— Метинна, — всхлипывая, отвечала девочка.

Франклину смеясь объяснили: метинна — бусы, ожерелье.

— О-о, какое красивое слово! — улыбнулся Франклин. — Ну вот, милай, так и будем тебя величать: Метинна. Очень красивое имя. Правда?

И Метинна осталась в доме губернатора.

Это было бы еще так-сяк. Но вскоре леди и джентльмены ужаснулись: «дикарка» живет в одной комнате с дочерью сэра

¹ Брайдуэл — исправительная тюрьма в Лондоне.

Джона, Элеонора учит ее грамоте, «дикарка» столуется вместе с губернаторской семьей, и белые лакеи вынуждены прислуживать ей. Хобарт вознегодовал. Это уж слишком!

Поклепы строчили на Франклина без устали. Лондон запрашивал. Франклин оправдывался. Он все больше мрачнел, и Джейн не шутя опасалась за его здоровье.

Наконец терпение высокого начальства лопнуло. Разразился скандал, губернатор был отозван. Леди и джентльмены возликовали.

Глава 15

«ДНЕВНИК ДЛЯ ДЖЕЙН»

Добрый, улыбчивый, живой — таким его помнили старые друзья. Угрюмый, замкнутый, потухший — таким они встречали его теперь.

Ему было уже около шестидесяти. Казалось, член британского адмиралтейства и Королевского общества, человек преклонного возраста, заканчивает жизненный путь, а полярные исследования, которые он считал своим призванием, навсегда ушли в область воспоминаний. Быть может, он и сам так думал...

На одном из заседаний адмиралтейства взял слово Джон Барроу. Его восковые руки легли на зеленое сукно. Опершись о стол, он с трудом поднялся, пожевал блеклыми губами и глухо заговорил.

Старый упрямый Джон Барроу снова седлал своего боевого коня. Он говорил, все более одушевляясь. Голова его перестала дрожать, глаза были ясными. Он говорил, что жертвы и подвиги моряков-полярников не должны пропасть даром; что после походов Парри и Франклина, Джона Росса и его племянника Джеймса Росса, наконец, после блестящего шлюпочного плавания Томаса Симпсона и Уоррена Диза, стерших последние белые пятна канадского побережья, — после всего этого было бы, говорил Барроу, чудовищным преступлением не довершить дела, ради которого так много выстрадано. Итак, господа, нет лучшего времени, чем нынешнее, для того чтобы славно увенчать и арктические предприятия!

На многих лицах видел Барроу равнодушное любопытство: опять, мол, старик трубит в свой рог. Зато у других, у тех, к кому он, собственно, и обращался, горели глаза: они привалились к столу, захваченные его словами. И, заканчивая речь, Барроу смотрел только на «звездочетов»: на Джона Франклина и Уильяма Парри, Джеймса Росса и Эдуарда Сейбина... Потом высказались эти четверо. Барроу, опустившись в кресло и уронив седую голову, услышал четыре «да».

Когда Франклин приехал домой, Джейн поняла, что произошло нечто в высшей степени знаменательное. Волнуясь и расхаживая по комнате, он рассказывал о решении адмиралтейства, а Джейн смотрела на мужа с откровенной тревогой: боже, неужели Джон, шестидесятилетний Джон, у которого теперь покойная, обеспеченная и безоблачная жизнь, неужели он, испытавший на своем веку столько невзгод и мытарств, уйдет в эти ужасные ледяные моря?

А ее Джон, позабыв о домашних туфлях, о халате и табакерке, все еще в своем парадном мундире с командорским орденом Бани, расхаживал по комнате, и широкое крепкое лицо его было таким просветленным и молодым, как в тот год, когда он вернулся из второго, очень удачного путешествия по Канаде и встретился с нею, двадцатидвухлетней Джейн.

Он вдруг остановился и взял ее за руки.

— Если они меня не пустят, я умру от тоски! Ох, Джейн, если они меня не пустят... — И он горестно и как бы с недоумением вздохнул.

Ее сердце больно сжалось. Она не могла понять, от чего — от жутких предчувствий или от восхищения перед решимостью Джона.

В адмиралтействе возразили:

— Вам шестьдесят!

— Нет, — воскликнул Франклин, — справки неверны: всего лишь пятьдесят девять!

Посоветовались с Уильямом Парри.

— Этот человек, — сказал Парри, — подходит для данной задачи лучше всякого другого. С нашим арктическим парнем ничего не поделаешь. Это у него в крови.

«Арктический парень» победил: в марте 1845 года сэра Джона Франклина назначили начальником экспедиции, которой предстояло плавание Северо-западным проходом.

И уже в марте, исполненный надежд и энергии, он торопил мастеров Вуличских доков. В доках, где двадцать лет назад делали шлюпки для его второго путешествия по Ледовитому океану, в этих самых доках теперь ремонтировали корабли «Эребус» и «Террор». Оба корабля недавно вернулись из долголетней антарктической экспедиции; там, во льдах, они прекрасно выдержали трудные испытания. И «Эребус» (триста семьдесят тонн водоизмещения), и «Террор» (водоизмещение триста сорок тонн) несли парусное вооружение, а к тому же еще имели паровую машину мощностью в полсотни лошадиных сил.

Дом на улице Брук всегда был полон. В кабинете или в гостинной сидели моряки. Одни являлись представиться новому начальнику, другие — запросто скоротать вечер.

Чаще других наведывался капитан Френсис Крозье, командир «Террора». О, на Френсиса можно было положить-

ся — трижды плавал в Арктику, четыре года провел в Антарктиде... Бывал у четы Франклинов и командор Фицджереймс, весельчак и знаток навигации... Заворачивали на приветный огонек и лейтенанты Фэргольм, Гори, Ле-Весконт. Первые двое относились к разряду «типичных флотских»: крепкие физиономии, походка враскачку, сильные голоса. Лейтенант Ле-Весконт, напротив, производил впечатление меланхолического мечтателя.

Все эти люди могли спорить о чем угодно, но в одном они соглашались без обиняков: сэр Джон самый подходящий человек для командования полярной экспедицией.

— Когда б вы знали, какой это человек, — рассказывал Фицджереймс одному из своих многочисленных и, конечно, закадычных приятелей. — Он восхитительный, энергичный, упорный. Я питаю к нему уважение, даже любовь, и то же испытывает каждый из нас. Он полон жизни. Клянусь честью, это самый лучший моряк для командования предприятием, которое требует здравого смысла и настойчивости. Я многое узнал от него и, черт побори, счастлив, когда нахожусь рядом с ним. Ей-богу, сэр Джон отличный малый, и мы совершенно покорены им.

Но весна сыграла с «отличным малым» худую шутку: он схватил воспаление легких. И доктор, и Джейн, и товарищи-моряки пытались уложить его в постель. Франклин смеясь отвечал, что он ложится в постель лишь поздним вечером и непременно в «ночном колпаке»¹. Единственное, в чем он уступил медикам, — так это в отказе от табака. Он больше не притрагивался к серебряной табакерке. Но привычка была столь же могущественной, сколь и старомодной, и, обманывая себя, Франклин заменил табак нюхательной солью.

Он перенес болезнь на ногах, продолжая хлопоты, связанные с заготовлением трехгодичного запаса продовольствия, доставкой угля, снаряжением вспомогательного транспорта, который должен был сопровождать экспедицию до Баффинова залива.

Наступил май. Отплытие было не за горами. Франклин поехал в город Бостон. Там, в доме его родственника, собрались те, кто носил имя Франклинов или был связан с ними семейными узами.

Все жаждали обнять Джона. Однако к гордости за Джона примешивалось и неодобрение. Что ни толкуй, но бросать судьбе перчатку в его возрасте? И зачем, о господи, шаткая палуба, зачем бессонные ночи на ветру и холоде, когда есть надежная кровля, веселый огонь в камине, красивая молодая супруга, а дочь почти уж невеста?!

¹ «Ночным колпаком» называли в Англии не только головной убор, но и выпивку перед сном.

Лишь один человек, неприметный в скопище родственников, готов был разделить с дядей Джоном его участь. И человек этот тихо молил маму упросить своего старшего брата взять племянника в экспедицию. Ну, хотя бы... подносчиком пороха.

— Джон, — сказала Генриетта, сдерживая улыбку, — вот тебе юнга.

Франклин обнял племянника за плечи, увлек за собою в угол, и они долго шептались.

— Нет, нет, — заключил Франклин с добродушной усмешкой, — ты все-таки пойми, милый, нам не разрешают брать котят, которые еще не умеют ловить мышей. Однако не горюй: придет и твое время. Если ты очень-очень захочешь.

Родня родней, но ведь до отплытия оставалось несколько дней, и ему хотелось побыть с Джейн и Элеонорой в доме на улице Брук.

Он любил вечерами вслух читать Шекспира: они любили слушать проникновенное чтение. В тишине, в семейном, чуть грустном покое текли светлые майские дни.

Но однажды маленькое происшествие омрачило Франклина.

Лежа на диване, декламировал он «Короля Лира»; они сидели в креслах — жена и дочь, занятые рукоделием. Пришив последнюю пуговицу, Джейн накинула куртку на мужа.

— О Джейн! — ужаснулся Франклин. — Что ты сделала?

И Джейн закусила губу, вспомнив приметку: морскую куртку набрасывают на того, кому суждено быть похороненным в море.

Экспедиция покинула родину 19 мая 1845 года.

Океан! Твой старый служитель вернулся после долгой разлуки. Вот он стоит на палубе «Эребуса», грузный, широколицый, седой, и, ликуя, жадно и пристально озирает переменчивый простор.

Недолгое радостное плавание. В июле — остров Диско, осколок Гренландии. Стоп машины, отдать якоря. Становись борт о борт с транспортом «Баррето Юниор» — догружай трюмы углем и провиантом.

Заняты, как пчелы, — пишет Франклин лондонскому другу, — и так же, как эти полезные насекомые, делаем большие запасы. Мы надеемся сегодня получить нашу часть с транспортного судна, и тогда наш корабль будет обеспечен провизией и топливом на три полных года. Однако корабли очень заполнены, что, впрочем, не имеет большого значения, так как море большей частью спокойно, когда оно покрыто льдом, а к тому времени, когда мы дойдем до Берингова пролива или перезимуем, наш груз разместится хорошо, и у нас будет где поразмяться, для чего у нас сейчас едва ли есть место, так как до отказа заполнены каждые щель и угол.

Датских властей на Диско нет, все в инспекторском отъезде, так что я не смог получить сведений о состоянии льда. Но я поговорил со знающим человеком, с плотником, который за главного на станции около якорной стоянки, и от него узнал, что, хотя прошлая зима была очень суровой, весна наступила не позже обычного и лед отошел от земли к концу апреля. Он также знает, что лед отошел от земли на 73° северной широты в начале июня, благодаря чему, считает он, мы сможем пройти к проливу Ланкастера. На этом его сведения ограничиваются.

В отношении своей жены я больше всего боюсь, что, если мы на вернемся ко времени, которое ею задумано, она станет волноваться, и в этом случае я буду очень обязан моим друзьям, если они ей напомнят, что в конце первой и даже второй зимы мы можем очутиться в таких условиях, при которых мы захотим завершить дело, не удавшееся раньше, а имея такие запасы провизии и топлива, мы можем делать это совершенно спокойно. Чтобы предотвратить большие волнения с ее стороны и со стороны дочери, их надо настроить на то, чтобы они не особенно ждали нашего возвращения до тех пор, пока наши запасы не иссякнут.

Следующая возможность отправить письмо может быть только с китобойным судном, если нам посчастливится встретить его; если же нет, то пусть эта последняя записка передаст вам мое чувство уважения и любви.

Джейн собирался Франклин не письмо послать, а тетрадь повседневных записей. И подобно Свифту, писавшему «Дневник для Стеллы», Франклин начал близ Гренландии «Дневник для Джейн».

«Наше плавание до сих пор было благоприятным. Переход через Атлантику, как всегда, сопровождался сильными ветрами, которые дуют обычно с запада и юго-запада, и поэтому, когда мы пересекали океан, мы были отнесены к северу, приблизительно в 60 миль от Исландии, но Исландии мы не видели. Если бы мы обошли мыс Фарвель без шторма, это бы противоречило опыту гренландских моряков. Очень сильный ветер с юга быстро прогнал нас за мыс Фарвель 22 июня и продолжал сопутствовать нам до 25 июня, когда он утих и наступило спокойствие. Погода, прежде пасмурная, теперь прояснилась, и мы впервые увидели Гренландию на расстоянии в 40 миль; астрономические наблюдения говорят нам, что это было место близ Лихтенфелс.

Большие наблюдения усердно и энергично проводил Фицджереймс, который никогда не упустит возможность получить что-нибудь новенькое. Каждый офицер направляет свое внимание на то или иное повреждение корабля или наблюдения, и этот способ сосредоточивать свою энергию на чем-то определенном я поддерживал и буду поддерживать, так как это лучшее средство для экспедиции достичь результатов по на-

учным вопросам. В то же время я внушаю офицерам, что эти их усилия — лучший способ привлечь благосклонное внимание адмиралтейства. Они все понимают это; я буду рад в свое время рассказать властям об их заслугах. Ты извини меня, если я добавляю, что мне приятно знать, что я пользуюсь у них доверием...

Мы уже заметили несколько айсбергов, однако все очень малые, и ни одного большого. Земля, которую мы усматриваем, обычно обрывиста и живописна, с отверстиями, обозначающими вход в фьорды, которыми изрезан весь берег...

После того как я издал письменные приказы, которые, думаю, необходимы для внутренней дисциплины и порядка на корабле, а также и инструкции для офицеров, касающиеся различных наблюдений, каковые им придется делать, и для общего руководства, я посвятил себя приготовлению кода сигналов, которые должны применяться на «Эребусе» и «Терроре», когда они окажутся во льдах, после того как транспортное судно оставит их. В этом мне помогли сигналы Парри, использованные в такой же обстановке и которыми он любезно ссудил меня. Мне пришлось только дополнить код сигналами, относящимися к паровой машине, имеющейся у нас.

Окончив эти первые обязанности, я снова занялся внимательным изучением отчетов ранних навигаторов... Ты, конечно, понимаешь, что не были оставлены без внимания и плавание Парри, а также Росса (я имею в виду сэра Джона).

Вчера я очень приятно провел время в чтении писем, которые ты так заботливо собрала и положила в мой письменный стол. Некоторые из них содержат высказывания и споры между Ричардсоном и мной по поводу моей настоящей экспедиции; другие — сообщения Диза и Симпсона в Гудзоновскую компанию; третьи — Ричардсона и мои в Географическое общество, на которых была основана последняя экспедиция Бека. Все они будут мне полезны. Эти чтения я считаю своим долгом, но все же изредка достаю некоторые из интересных маленьких томиков, которыми ты украсила мою библиотеку.

«Из-за туманной и ветреной погоды мы встали на якорь у Китового острова, куда мы должны были прибыть 2-го, делая таким образом одномесячный переход от Стронсея¹. Мы появились около Лиевели, резиденция губернатора о-ва Диско, вечером 2-го, но не смогли связаться с ним. Следующий день дал нам прекрасную возможность изучить состояние льда в проливе Вайсгат, прежде чем мы пришли сюда. Было приятно узнать, что лед сломан, хотя громадные его массы плавают во круг.

¹ Остров Стронсей — один из Оркнейских островов.

По описаниям Парри, а также и по нашему мнению, эта якорная стоянка наиболее подходящее место для разгрузки транспорта (каковой с этой целью сейчас находится рядом с нами) и для магнитных и астрономических наблюдений, которые мы охотно начали под руководством Крозье и Фицджереймса на том же самом месте, где в 1824 году стоял Парри.

В сопровождении мистера Ле-Весконта я поднялся на самую высокую точку, чтобы осмотреть группы островов и скал этой местности, определить их положение и нанести на карту. Ничего нет более голого, чем эти острова, это тесное нагромождение скал с небольшим количеством мха и болотолюбивыми растениями подле речушек и ручьев. Комаров изобилие, и крупных размеров. Однако на их укусы пока еще не многие жалуются.

Все страшно занято разгрузкой транспорта, который мы не сможем освободить сегодня. Мы до отказа заполнили корабли, но для хорошей упаковки нужны аккуратность и время.

Эта вынужденная задержка кстати. Она необходима для магнитных и других наблюдений, которые мы ведем на берегу, и полковник Сейбин будет доволен, когда узнает, что результаты наблюдений с обоих кораблей хорошо совпадают. Я не сомневаюсь, что Крозье и Фицджереймс напишут ему о магнитных наблюдениях. Я, в свою очередь, напишу ему. Я также напишу Ричардсону и pošлю рисунок двух редких рыб, которые он, как полагает Гудсир¹, будет рад получить. Вчера я видел, как Фицджереймс зарисовывает бухту; копию он надеется послать тебе...

Я дописал до сих пор, когда м-р Гори принес мне рисунок для тебя, изображающий нашу теперешнюю стоянку, но сделанный с противоположной стороны, чем капитаном Фицджерейсом. Два корабля вместе — «Эребус» и транспорт, один корабль — «Террор». Это правильное изображение берега и нашего местоположения.

Затем капитан Фицджереймс тоже принес мне свой рисунок, который он пошлет тебе. Рисунок сделан с островка Боат, на котором Парри производил свои наблюдения и где теперь занимают ими наши офицеры. Поэтому будет интересно показать Парри это место. Меня очень трогает доброе отношение к тебе со стороны офицеров...»

¹ Гудсир Гарри — натуралист и врач экспедиции.

Часть третья

СВЕРШИТЕЛЬ

Глава 1

ВОСПОМИНАНИЯ В ПУСТЫННОЙ БУХТЕ

Безлюдно было и тихо. На сотни миль безлюдно и тихо. Экипажу «Йоа» снились уже не первые сны. Лишь одному не спалось. Он сидел на палубе под холодным небом с зеленоватыми звездами. Сидел, курил, разглядывал бухту, где нынче, 22 августа 1903 года, отдал якорь.

Остров Бичи. Длинный шорох плоских волн, монотонный скрип мачты. Капитан Руаль Амундсен, молодой человек с орлиным профилем, смотрит на сумрачные берега.

Еще и не родился Руаль в том домике, что несколькими милями южнее Христиании¹, когда в эту бухту вошли корабли Франклина. Свистали боцманские дудки, вахтенные начальники командовали в рупоры. Старый сэр Джон, широколицый и грузный, стоял на шканцах. О чем он думал тогда? Догадывался ль, что на острове Бичи цинга караулит его моряков? Вон там где-то должны быть кресты: первые могилы моряков Франклина. Похоронили мертвых и ушли дальше. Туда, куда уйдет и твоя яхта, капитан Руаль.

Амундсен медленно выколотил трубку, ночной бриз подхватил теплую золу. И вместе с пеплом развеялась печаль, и тень Джона Франклина повела за собою хоровод видений...

...Мальчик в куртке, застегнутой на все пуговицы, в туфлях на толстом каблуке и высоких, наверное маминой вязки, белых шерстяных чулках. Отца уж нет, старшие братья разъехались. Он живет с матерью в Христиании, и мама мечтает о том времени, когда Руаль будет щеголять в студенческой шапочке с черной кисточкой. Ох как хочется, чтобы малыш стал медиком! Руаль соглашается — ясное дело: он будет доктором и на дверях прибьет медную дощечку: «Руаль Амундсен, доктор медицины».

Итак, он ходил в гимназию, твердо пристукивая каблуками по каменным тротуарам извилистых, горбатых улиц Христиании. А вечером низко склонялся над книгой. Свирепый, полунощный мир открывался ему. Сквозь снежные бури брел, выбиваясь из сил, англичанин. Страшно перевернуть страни-

¹ Ныне город Осло, столица Норвегии.

цу: погибнет? Боже милосердный, неужели погибнет? О нет, он нашел... мох. Англичанин идет дальше. Ни крошки съестного, он гложет мокасины...

С Руалем что-то произошло. Ложась спать, он отворял настежь окна. «Не простужусь, — смеялся, — люблю свежий воздух. С этим еще можно было согласиться... Мальчик подолгу пропадал в Нурмаркене — излюбленном месте спортсменов, до изнеможения гонял там на лыжах. «Мужчина должен быть сильным», — отклонял он мамины укоризны. И с этим тоже нельзя было не согласиться... Но что это? Мальчик мало ест, он нарочно ест очень мало. Она-то ведь знает, какой у него аппетит, ее не проведешь. А однажды, пусть лопнут глаза, коли не так, она видела, как Руаль тайком глодал кожаные шнурки от башмаков. Мать перепугалась — уж не рехнулся ль, спаси бог? — и сердито отчитала сына: «Чтоб этого больше не было! Слышишь?»

Когда Руалю исполнилось восемнадцать, он, не перечая, поступил на медицинский факультет и надел шегольскую студенческую шапочку с черной кисточкой. Но маме не довелось увидеть сына дипломированным доктором: фру Амундсен умерла. Впрочем, ей все равно не пришлось бы видеть Руаля лекарем — втайне лелеял он мечту о полярных исследованиях и, только жалеючи мать, тянул время решительного объяснения. Он знал, что ноша нелегка, знал, что за малейшую оплошность в Арктике платят головой. Но он знал — там его ждет настоящая жизнь.

Лыжные тренировки? Мало. Нужно стать судоводителем, надо побыть в матросской шкуре.

Парень приглянулся шкиперу «Магдалины». Шкипер посмотрел документы, и парень отправился бить тюленей.

Каждое лето он оставлял фьорды, где на зеленой русалочьей воде отражались скалы, похожие на руины рыцарских замков. Каждое лето ходил он на промысел к берегам Гренландии и Шпицбергена, озаренным незакатным солнцем. Он пропах тузлуком и тюленьим жиром.

Спустя три года Руаль был уже штурманом и готовился к экзамену на капитана дальнего плавания. А тут представилось и оно само — дальнейшее плавание: господина Амундсена пригласили первым штурманом в экспедицию к Южному магнитному полюсу.

Вот уж где привелось отведать полярных невзгод! Тринадцать месяцев сжимали «Бельгику» льды. Двое матросов потеряли рассудок, почти всю команду извела цинга.

Руаль вернулся в Европу в канун нового века, а когда двадцатое столетие наступило, он был уже капитаном дальнего плавания. Конечно, ничто не мешало заняться прибыльным делом, заключив жизнь свою в известный круг: промыслы, биржевые бюллетени, изразцовый камин, ласки благоверной.

Но он не походил на тех, кто лишь за кружкой ячменного пива вздыхает о викинггах.

Кто гонит меня вперед подобно Року?
Мое Я, сидящее верхом на моей спине.

Это «Я» вело его дорогой протеста. Он не хотел мириться с упрямством Арктики. Ничто значительное не свершается без великой страсти, слитой с трезвым расчетом. После «Бельгики» снова настала очередь книг. Он купил целую охапку у старичка англичанина из Гринсби. Тут были старинные журналы со статьями китобоя Уильяма Скоресби-младшего и секретаря адмиралтейства Джона Барроу, обстоятельные разборы плаваний русских в Беринговом проливе, дневники английских моряков. Но больше всего обнаружилось тут подробных, многостраничных отчетов спасательных экспедиций, снаряженных некогда для поисков несчастных моряков «Эребуса» и «Террора».

Почти вековой опыт запечатлелся под этими переплетами: десятки жизней, отданных открытию Северо-западного прохода, десятки географических карт, безмолвных свидетелей мужества, лишений, подвигов. И — вековой итог: очень и очень значительный, но... Ни один киль не рассек арктические воды, проходя из Атлантики в Тихий океан или из Тихого океана в Атлантику. Никто в мире так и не прошел сквозным плаванием этот заколдованный Северо-западный путь.

И вот он, Руаль Амундсен, вознамерился соединить мечту детства с важнейшей задачей науки — изучением земного магнетизма в районе Северного магнитного полюса.

Даже слишком самоуверенный моряк, замыслив предприятие, подобное амундсеновскому, нуждался бы в поддержке. И Руаль тоже искал ее.

Он помнил, как Норвегия встречала героя дрейфа на «Фраме», лыжника, победившего ледяную Гренландию. Теперь этот человек заслуженно слыл крупнейшим полярным авторитетом. Его «да» или его «нет» были бы решающими.

Никогда еще так не обмирало сердце Руаля, как в тот день, когда он шел к Фритьофу Нансену. И никогда еще это сердце не стучало так радостно, как в тот вечер, когда он вышел из дома Фритьофа Нансена. Нансен, сам Нансен сказал «да»!

Вскоре Руаль перебрался в дымный Гамбург, снял комнату в хмуром предместье и отправился на прием к директору Германской морской обсерватории.

Директор был важной персоной — тайный советник, знаменитый ученый, богатый старик. Прием, оказанный неизвестному норвежцу Георгом фон Неймайером, несколько опровергает традиционное представление о тайных советниках: это был приветливый, радушный прием.

Профессор выслушал. Профессор кивнул: хорошо, очень

хорошо, он разрешает господину Амундсену изучать в обсерватории методы магнитных наблюдений, но... Профессор провел ладонью по своей пышной седой шевелюре.

— Молодой человек, мне кажется... Гм-гм! Молодой человек, у вас задумано еще что-то. Не так ли? А? Ну-с, я жду...

Руаль вспыхнул и признался: да, он мечтает пройти весь Северо-западный путь.

Глаза профессора Неймайера блеснули:

— О! Это, разумеется, заманчиво. Однако... Ведь и это еще не все?

Помедлив, Амундсен объявил, что он надеется определить истинное местонахождение Северного магнитного полюса. Старик вскочил, вскинул руки:

— Если вы это сделаете... О, если вы это сделаете! Это — великий подвиг! Великий подвиг, молодой человек!

...Стояло нежаркое, но ясное лето; в северных фьордах пронзительно пахло сельдью и треской; пастухи кочевали с отарами на горных пастбищах; над песчаными дюнами шуршали вересковые заросли; в полях вызревали ячмень и овес.

В те погожие дни Руаль Амундсен был несчастлив. Сколько раз приходил он в отчаяние, собирая деньги для экспедиции, сколько раз отчаяние сменялось надеждой! Наконец все было готово. Яхта «Йоа» стояла у пристани Фрамнес. Шестеро молодых ждали приказа поставить парус и запустить керосиновый мотор. И вдруг... самый крупный кредитор требует немедленной расплаты! В противном случае он грозит арестом «Йоа», а самому Амундсену долговой ямой.

Брызгая слюной и багровея, кредитор не хотел и слышать об отсрочке. Он был столь же свиреп, как почти все заимодавцы на свете. Амундсен очутился на краю пропасти. Честное слово, легче одолеть Северо-западный проход, легче достигнуть полюса, нежели выложить в двадцать четыре часа кучу полновесных крон!

Амундсен кликнул своих молодых. Он сказал, что все полетит к чертовой бабушке, если экипаж могучей «Йоа» сегодня же, 16 июня 1903 года...

Все тайное, согласно старинным поверьям, творится в полночь: желательно, чтоб ухали совы или слышался глухой бой башенных часов. Так вот, и на сей раз дело происходило в полуночное время. Лил дождь, свистал ветер. Семеро крадучись взошли на яхту «Йоа», тихохонько снялись с якоря и прощально махнули рукой в сторону дома, где сладко посапывал несговорчивый скупердяй.

Может, строгие моралисты осудят Амундсена? Ну что ж, пусть их! А у него, право, другие заботы. Он пойдет дальше, одолеет Северо-западный проход и, вернувшись, сочтется с этой свиньей...

Капитан «Йоа» снова выколотил трубку и спустился в

каюту. Со стены каюты смотрел высоколобый человек. На портрете была надпись: «Капитану Руалю Амундсену с надеждой, что его путешествия увенчаются успехом, от его друга Фритьофа Нансена».

Линдстрем просыпался первым. Спустя несколько минут слышались чмыханье примусов и проклятья Линдстрема. Затем раздавалось ровное, мирное гудение, стук сковородок, шипение сала.

Линдстрем, надо отдать ему должное, оказался таким коком, что даже парижские классики кулинарии не могли бы тягаться с ним. По крайней мере, в это твердо верила команда «Йоа». Что же до хлебов, которые он изготавливал каждое утро на примусе, то и у самого Хансена, известного в Христиании пекаря, потекли бы слюнки. По крайней мере, у команды «Йоа» они текли.

Обитатели крохотной яхты примащиваются завтракать. Они молчат, лица у них заспанные. Но вот, как всегда, самый молодой из них — ему нет еще и двадцати пяти, — Густав Вик, «отмачивает» свою первую утреннюю шутку, и все смеются. И Руаль тоже смеется. О, это чертовски здорово, когда подбираются такие веселые ребята!

На «Йоа» пятеро земляков Амундсена, шестой — датчанин, лейтенант Хансен. Однофамилец его, Хельмер Хансен, штурман, давно просоленный в море, как и его прямой начальник Антон Лунд... Лунду под пятьдесят; на этой посудине он самый старший. Стало быть, ему и приглядывать за таким шалопаем, как Густав Вик. Но мальчишка с норовом — опеки не терпит. У него одно на уме: как бы выкинуть штуку позабавнее. Э, по чести, Антон Лунд только для виду сердится, когда сей магнитный наблюдатель избирает объектом своих незлобивых «наблюдений» старого гарпунщика полярных морей... Ну-с, вот еще Педер Риствед. Этот всегда с мотором возится. Впрочем, сейчас он не мотором занят, а едой и, нужно признать, ложкой орудует столь же мастерски, как и слесарным инструментом, если не бойчее.

Потом они съехали на берег. Прошли к мраморной плите. Сорок пять лет покоилась она на мрачном острове Бичи. Ветер катил над нею бураны, снега заносили ее, песцы оставляли на ней мягкий быстрый след, а белые медведи — широкий медлительный. Плита с надписью.

Семеро сняли шапки...

«Подруга в счастье и в несчастье», — говорит священник, свершая обряд венчания.

«Подруга в счастье и в несчастье», — когда-то давным-

давно слышали моряк Джон Франклин и молодая девушка по имени Джейн Гриффин.

Да, она была ему подругой и в несчастье. Она хранила в шкатулке мужнин «Дневник для Джейн», и рисунки храброго Фицджереймса, и записку капитана Крозье, в которой бедный Франк грустно сетовал на то, что ее племянница отказалась выйти за него замуж. Все сохранила Джейн. И в той же шкатулке вырезка из газеты: шкипер китобойного судна сообщал, что он встретил экспедицию сэра Джона в Баффиновом заливе и что «обе корабельные команды здоровы, в прекрасном расположении духа и намереваются закончить путешествие своевременно».

«Своевременно»... Не было для Джейн ни зим, ни лет — было ожидание. Ждала год, ждала еще год. И еще один год ждала. Минули все сроки. И слышалось ей: «О Джейн! Что ты сделала?» И виделось: Джон на диване, она набрасывает на него морскую куртку...

Долго длилось молчание. Цепенило душу, некуда было от него деться. Ужасное подозрение овладело ветеранами-полярниками. Встречаясь с Джейн, они отводили глаза.

Тревога сменилась отчаянием. Джейн предложила все свое имущество для снаряжения спасательной партии. Она обивала пороги адмиралтейства. Лорды отмалчивались.

Наконец друзья Франклина, родственники пропавших без вести, моряки, простые люди решительно потребовали от правительства безотлагательных мер. Высшие морские чины, столь поворотливые, когда дело касалось посылки военной эскадры к берегам колоний, — чины эти нехотя зашевелились, и со скрипом, с частыми остановками, ведомственным сутяжничеством началась подготовка поисковых экспедиций.

Первым отправился Джеймс Росс. Ричардсон и доктор Рэ уехали в Канаду. Келлетт поплыл из Тихого океана в Берингов пролив. В восьмьсот пятидесятом году оставила Англию еще одна экспедиция.

Спасательные экспедиции уходили одна за другой. Они выказывали истинное мужество, терпели холод и голод, привозили все более точные карты, но Север не открывал тайну гибели кораблей Джона Франклина. И вот, когда уж утасли надежды, Джейн Франклин, почти все распродав, получив фунты стерлингов по подписке, снарядила еще одну спасательную партию во главе с Мак-Клинтоком, и корабль «Фикс» доставил на остров Бичи ту мраморную памятную плиту, у которой стояли теперь моряки «Йоа».

Сняв шапки, они читали:

Памяти

Франклина, Крозье, Фицджереймса

и всех их доблестных товарищей, офицеров и сослуживцев, пострадавших и погибших за дело науки и во славу родины.

Этот памятник поставлен близ места, где они провели первую полярную зиму и откуда выступили в поход, чтобы преодолеть все препятствия или умереть.

Он свидетельствует о памяти и уважении их друзей и соотечественников и о скорби, утешаемой верой, той, которая в лице начальника экспедиции утратила преданного и горячо любимого супруга.

Господь ввел их в тихую пристань, где всем уготовано вечное успокоение.

Глава 2

ЗЕМЛЯ КОРОЛЯ УИЛЬЯМА

«Йоа» и двух суток не задержалась у острова Бичи. 24 августа она уж нырнула в мглистый пролив Барроу!

Моряки чередовались на вахтах. Капитан наравне с прочими отстаивал положенное время, ухватившись за гладкие рукоятки штурвала. Близился магнитный полюс, стрелка компаса металась. Астрономическим способам определения координат мешали туманы. А тут еще фарватер, узкий, неизведанный, не «оплавленный», как говорят моряки.

Движение вслепую не обошлось счастливо: яхта наскочила на риф. Удар был зубодробительный — щепки всплыли. К счастью, да-да, к счастью, сильно заштормило, и волна-спасительница перебросила яхту через риф. Но при этом она вывела из повиновения руль: штыри вылетели из петель и теперь от руля был такой же прок, как от вывихнутой конечности.

Неизвестно, что предпочесть: «стоянку» на рифе или сумасшедшую гонку без руля в узком фарватере. Но снова чудо — мощный и поразительно ловкий удар волны, удар в корму, и штыри руля влетают в петли, как бильярдные шары в лузу.

Кажется, довольно, хватит уж испытывать человек? Нет, едва положили якорь и уже предвкушали покой и отдых, как вдруг истошный вопль:

— Пожар! Горим!

В машинном отсеке гулко полыхнул керосин, грозно стрельнули из люка узкие оранжевые языки. На огонь кинулись, как не снилось ни одному брандмейстеру, как кидаются на огонь лишь моряки, — смяли, задушили, прикончили.

Ну а теперь-то хватит, довольно?

Чередой взрывов, быстро слившихся в оглушительный рев, ринулся ураган. И гремел не день, не два — четверо суток моталась «Йоа» у южного берега Земли Короля Уильяма¹.

¹ На современных картах — остров Кинг-Уильям.

Худо обернулось добром: лавируя, угодили в укрытую бухту. Не желая долее испытывать судьбу, Амундсен решил зимовать на Земле Короля Уильяма. Правда, остров невольно наводил на печальные воспоминания, но ведь у каждого своя доля: где одному гибель, другому удача.

Сперва выгрузили кучу ящиков. Внутри ящиков были жестяные коробки с провизией. А порожные ящики? Громозди их, как кубики, крепи медными нагелями, наполни песком и общей поверх толем — вот тебе и магнитная обсерватория.

А какие охоты задались! Скажи о них в Христиании: ха-ха да хи-хи, нипочем не поверили бы. Оленьи стада толпились на берегах бухты, ледостава ждали, чтоб переправиться южнее, на материк, и наши охотники не поспедали заряжать новехонькие карабины.

Яхту оленьими шкурами одели и брезентом накрыли. Однако пузатые железные печурки плохо грели. Вечерами ночлежники усердно тюкали топорами, срубая с коек лед, нараставший за день. Бр-р... Не постель — холодильник. А как постелешься, так и выплещешься. Впрочем, что ж? Арктика не пансион для благородных девиц.

Зима покатила. Начались научные работы. Люди были здоровы. Приборы действовали исправно. Амундсен, готовясь в санные рейды, откармливал собак.

Стояли лихие морозы, термометр зачастую показывал минус шестьдесят. Снег лежал метровой и больше глубины. Ярко и злобно горели звезды.

Как ни были все заняты хозяйством, наблюдениями, охотой, как ни развлекались песенками, записанными на фонограф, а случалось, навеет вьюга печаль, мрак согнет плечи, как ноша. И тогда приходило на ум многое, связанное в летописях Севера с этой Землей Короля Уильяма.

Первую зимовку экспедиция сэра Джона Франклина провела на острове Бичи. На том самом острове Бичи, где лежала памятная доска. А весной корабли «Эребус» и «Террор» продолжили плавание. Снова оделись парусами, из труб снова повалил темный дым, едкий угольный запах которого так напоминал родину.

Франклин вел суда, лавируя среди вековых льдов — многолетних, торосистых, толщиной в три-четыре метра. А потом эти тяжкие глыбы, будто изнутри высвеченные голубым, бирюзовым и зеленоватым светом, накрепко затерли «Террор» и «Эребус».

Пожалуй, можно было бы вытянуть и вторую зимовку. Если бы... Все, кажется, предусмотрели начальник экспедиции и его офицеры, ничего не позабыли. Однако нет, не все. Забыли они про подлость купеческую. Некий мерзавец, опто-

вый поставщик провианта, всучил им залежалый, негодный товар. И теперь, в полярной пустыне, путешественники выбрасывали за борт бочки и ящики. А следом за ними медленно спускались в пучину тела умерших от цинги и голода.

И все же по весне 1847 года дрейф продолжался. То было капризное движение, его определяла не воля моряков, а дурь льдов и течений. Угрюмо молчали холодные машины, не вращался винт, не надувались паруса. И все больше трупов опускалось в море. Давным-давно некий мореход, умирая, прошептал: «В море мы так же близки к небесам, как и на суше». И кто знает, не эти ль слова повторил перед кончиной старый сэр Джон?

А четырнадцать лет спустя, после того как ликующие толпы лондонцев проводили «Эребус» и «Террор», здесь, на Земле Короля Уильяма, появился лейтенант Хобсон. Он был участником спасательной партии — одной из тех партий, которые не спасли ни души. И вот здесь, на земле, где ныне зимовал Амундсен, лейтенант нашел засургученную бутылку с запиской. Долгие годы записка была тем, что в Англии зовут «мертвым письмом», письмом, не доставленным адресату. Оно перестало быть «мертвым», но поздно, слишком поздно.

Неровные строчки покрывали клочок бумаги, найденный Хобсоном. И Хобсон прочел о зимовке на острове Бичи, о второй зимовке во льдах, о смерти матросов и офицеров. И еще он прочел: «Сэр Джон Франклин скончался 11 июня 1847 года...»

И дальше:

Корабли ее величества «Террор» и «Эребус» были покинуты 22 апреля в 5 милях к северо-западу от этого места, где они были скованы льдами с 12 сентября 1846 г. Офицеры и команда, всего 105 душ, под начальством капитана Ф.Р.М. Крозье, высадились здесь под 69°37'42" северной широты и 98°41' западной долготы...

И опять взор Хобсона упал на короткую строчку:

Сэр Джон Франклин скончался 11 июня 1847 года.

Внизу была приписка:

Мы отправляемся завтра, 26-го, к реке Бекс-Фиш.

Все. Точка. Ни один не остался в живых.

После сочельника, отмеченного роскошно благодаря изобретательности кока Линдстрема, и после двадцатипятилетнего юбилея Вика, отпразднованного с веселой помпой, экипаж «Йоа» вступил в новый, 1904 год.

Холод держался жгучий, как неразведенный спирт: минус пятьдесят три, минус шестьдесят, минус шестьдесят два. Но

проблемы земного магнетизма требовали от Амундсена частых поездок по острову. И вот в дни отчаянных, невыносимых холодов свершилось то, о чем столь патетично рассуждал гамбургский седовласый профессор Неймайер. Ведь он, Неймайер, ставил достижение Северного магнитного полюса выше одоления Северо-западного прохода. И вот свершилось: капитан Руаль Амундсен достиг Северного магнитного полюса...

В начале июня послышались клики гусиных караванов. В ручьях и озерах плеснула рыба. Потешные зверушки лемминги засновали среди мхов. И затолклись, загудели, застонали комариные армады: от их жалящей, назойливой злобы спасу не было.

Пролив Симпсона вскрылся, путь на запад очистился. Однако яхта по-прежнему стояла в пустынной бухте: Амундсен обещал Нансену, обещал Неймайеру привезти побольше наблюдений над земным магнетизмом. Как ни не терпелось идти дальше, Руаль оставался на Земле Короля Уильяма.

А время текло, словно бы подчиняясь эскимосским приметам: май — детеныш тюленя уплывает в море; июнь — детеныш тюленя линяет; июль — олень рождает, птица высидывает птенцов... Месяц за месяцем, смена времен, постоянность бытия: сентябрь и октябрь — олени откочевывают на юг; ноябрь — эскимосы готовят зимние склады; декабрь — солнце скрывается. И опять — январь: у-у, холодно, эскимос мерзнет.

Мерзнут и норвежцы. Все так же ведут они свои исследования: все так же уходят в санные экспедиции, натываясь среди снегов на останки отряда Франклина, поправляют могилы, видят высеченную на скале надпись:

Вечная память открывателям Северо-западного прохода.

Глава 3

ЧЕРНАЯ ШХУНА — ВЕСТНИК ПОБЕДЫ

Тринадцать месяцев действовали приборы обсерватории. Тринадцать месяцев недвижим был винт «Йоа», убраны прочные паруса, молчал мотор. Но вот в августе 1905 года приборы остановились и заработал мотор: «Йоа» покидала Землю Короля Уильяма.

Туман ключьями путался в парусах, туман клубился у бортов, белесый, с прожелтью. Слабый бриз морщил воду. Солнце садилось красное. Тишина, чернь береговых утесов да ровный стук мотора. В тот час на траверзе мыса Холла моряки опять увидели каменные надгробья франклиновских скиталь-

цев, скалу, где было высечено: «Вечная память открывателям...» И, салютуя мертвым, норвежцы приспустили флаг.

Камни и мели по курсу «Йоа». Ни одно судно не показывалось на этом отрезке пути. Карт нет, лоций нет. Бросай и бросай лот, торчи на марсе, вахтенный! Закусив погасшую трубку, осторожно ворочает штурвал Амундсен. Вик и Риствед сменяют друг друга у мотора. Лунд и Хельмер Хансен ведут прокладку.

Пролив Виктории встречает крошевом льда. Яхта отходит, юлит, опять движется вперед. Все дальше идет яхта. Мимо крутобокого острова Ричардсона, мимо каменистого острова Крузенштерна, что в проливе Долфин и Юнион¹, неподалеку от устья реки Коппермайн...

Сдав вахту, Руаль устало протопал в каюту. Лег на койку, скрестил налитые свинцом руки. Спать, спать... Но тут дверь настезь — и восторженный вопль: «Виднеется судно!»

Руалья как студеной водой окатили. Он вихрем вылетел на палубу. Хансен торопливо сунул ему бинокль. И линзы сделали свое дело: далекий клочок моря, на волне переваливается черная двухмачтовая шхуна.

Корабли сблизились. Шхуна шла быстро. Семеро, замерев, смотрели на черное судно. Оно было вестником победы, ибо где прошла шхуна, там пройдет и яхта!

Двухмачтовая шхуна вздымала бурун, позади шхуны стлался длинный дымный хвост, и уже можно было разглядеть флаг — звезды и полосы.

Наконец корабли ложатся в дрейф. Амундсен торопится в шлюпке к «американцу», на борту которого значится — «Чарлз Ханссон». Руалья окружают белые, эскимосы, негры. Седой, выдубленный севером, кряжистый старшина американского китобойного флота Мак-Кеннан двумя руками, жесткими и цепкими, трясет руку капитана «Йоа».

— Мистер Амундсен, я чертовски рад первым поздравить вас со счастливым прохождением Северо-западным путем!

Это было в августе 1905 года. Это было в проливе Франклина.

Глава 4

ТЫСЯЧА СЛОВ

Опять зимовка? Теперь, когда так близка победа? Еще месяцы берегового житья? Ну, ну, терпение! Северо-западный проход не уйдет, а ученая братия будет очень и очень признательна за новую серию наблюдений.

¹ Современное написание — Долфин-энд-Юнион.

Но по правде сказать, на палубе яхты не прыгали от радости, предвкушая зимовку. Зато неистовый восторг объял некоего норвежца. Вон он там, на берегу, сорвал с себя шапку, машет руками, орет во всю глотку.

Норвежец Стен не был Робинзоном, его и гарпунщика-эскимоса оставили сторожить китобойную шхуну «Бонанца», и штурман изнывал от скуки. Теребя бороду, он сказал Амундсену, что шкипер с командой убрался на ближний остров и недурственно устроились в компании с пятью другими шкиперами, а он, несчастный, и Джимми с женой Каппой, тоже эскимоской, караулят как проклятые старую посудину, которую, право, не грех и сжечь. Между прочим, этот шкипер Могг собирается сухим путем в Сан-Франциско: не желая терять промысловый сезон, ушлый шкипер надеется подогнать в Кингс-Пойнт суденышко получше «Бонанцы».

Кроме Амундсена и его ребят, кроме штурмана Стена, гарпунщика Джимми с Каппой, в Кингс-Пойнте обосновались эскимосские семейства. Пришли они издалека — с берегов залива Коцебу, и капитан «Йоа» увидел эскимосов, чьи предки встречали некогда капитана «Рюрика». Прочная, хоть и незримая нить протянулась меж капитанами: один делом возродил забытые Европой поиски Северо-западного прохода, другой завершал их...

Жить бы да поживать Амундсену в Кингс-Пойнте, где хрипло трубила арктическая метель, но давно, еще при первой беседе со Стеном, замыслил Руаль нечто такое, что не давало ему покоя. Ведь шкипер Уильям Могг, как вскользь заметил штурман, намеревался ехать в Сан-Франциско. Амундсен же помышлял о ближайшей телеграфной станции. Ему, право, слышался торопливый стук ключа, отбивающего тире и точки азбуки Морзе; так ему и виделось, будто он уже шлет телеграмму, оповещающая мир о том, что «Йоа» закончит плавание летом 1906 года.

Добираться в одиночку Амундсен, пожалуй, не рискнул бы. Но во-первых, шкипер Могг, а во-вторых, гарпунщик Джимми с женой Каппой надумали посетить родственников в Аляске.

Втроем — Руаль, Каппа, Джимми — они прибыли на остров Гершеля, где зимовали китобои. Шкипер Могг, маленький человечек, нашпигованный спесью и жиром, не понравился Амундсену. Но Руаль махнул рукой: не детей крестить с этим Моггом.

Октябрьским утром шкипер вольготно расположился на нартах. Свистнул бич — дюжина собак помчалась. Амундсен, Джимми и Каппа побежали на широких канадских лыжах.

«Марафонский бег» изнурил Амундсена. Но ведь не зря он с мальчишества пристрастился к лыжам. «Держись! —

бодрил он себя. — Ничего, не падай духом, как говорится, втянешься».

На другой день Руаль увидел хилую елочку в пятнах седого лишайника. Далеко отбежала она от своих соплеменниц, согнулась, будто сжалась, а вот смотрите-ка — не сломилась.

А потом елей мелькало все больше, и они были все выше; они уж кинули в стороны ветви, и снег лежал на тех ветвях шапками. Местность открылась гористая, похожая на родные Амундсену норвежские ландшафты. В жуткую стужу путники перевалили горы и очутились на Аляске.

Дорога предстояла еще дальняя, а усталость копилась в мускулах, как отравы, гнула плечи, полнила голову тяжелым, мутным гулом. Ух этот проклятый шкипер — задирает нос, держится хозяином! Еще бы! У него деньги, а у тебя, Руаль, ни шиша. Собаки, нарты — все принадлежит толстяку. Ты взял продовольствие с «Йоа», но шкипер, сукин сын, отказался грузить на свои нарты: дескать, довольно с вас, мистер Амундсен, мороженных бобов. Вот бобами и потчует, скотина!

Однако до поры до времени Амундсен, сцепив зубы, не выказывал обиды, бежал на широких канадских лыжах следом за нартами, на которых покоились округлые мякоти наглеца шкипера. Ладно, думал Амундсен, погоди, сочтемся.

Двигались на юг. В хвойном мрачном сумраке уже отраднo забелели березы, снег вокруг них голубел и светился. Днем 20 ноября — почти месяц минул, как оставили остров Гершеля, — прибыли в поселок, расположенный при слиянии рек Поркьюпайн с Юконом: три десятка индейских хижин, кабак да лавка, духовная миссия и школа — здравствуй, форт Юкон¹. Кажется, все в порядке? Но отчего исказилось орлиное лицо капитана Амундсена? Он на минуту глаза закрыл. Уж не ошибся ли? И опять огляделся. Нет, не ошибся: ни столбов, ни тонких проволочных линий. В поселке, прилепившемся на черте Полярного круга, есть и кабак, и лавка, и школа, и поповское гнездо, но — увы! — нет телеграфной станции, никогда не слыхивали в форту Юкон торопкого стука ключа. Потупившись, Руаль спрашивает:

— Где же?

Ему отвечают:

— В Игл-Сити, сэр.

— Игл-Сити?

— Да, еще двести миль пути...

Джимми и Каппа остаются в форту Юкон. Жаль, но приходится сказать: «Прощайте, друзья!» И теперь уж один на один с мистером Моггом покидает форт Юкон капитан «Йоа».

¹ Современное написание — Форт-Юкон.

Дни выдались тихие, солнечные, снега сияли, небо сияло, и, право, было обидно голодать именно в такие погожие деньки. «Ну, — подумал Амундсен, — не пора ль и честь знать, господин шкипер? Не пора ль предъявить вам ультиматум?»

Он решительно воткнул палки в снег и сказал с невозмутимостью, не сулившей ничего хорошего:

— Послушайте, старина, я решил вернуться.

У толстяка глаза полезли на лоб.

— Привет, — сказал Амундсен, берясь за палки.

Шкипер молитвенно сложил ладошки:

— Великий боже! Господин Амундсен, не бросайте меня! Я... я околею, господин Амундсен! Я погибну, господин Амундсен! Я же... я же... О-о-о!..

Господин Амундсен поставил условие: кормить досыта, черт побери. Могг согласился не раздумывая. Он был в холодном поту. Но втайне ликовал: норвежцу ничего не стоило содрать с него семь шкур, а простофиля ограничился столь малым...

Пятого декабря в сверкающем далеке означились столбы дыма. Потом послышался звонкий и тоже будто сверкающий звук трубы. Сигнал военного горниста из Игл-Сити прозвучал Руалю сигналом финиша.

В тот же вечер начальник станции предоставил линию в распоряжение Амундсена. Капитан написал депешу. В ней было около тысячи слов. За каждое из них он уплатил рейсом в тысячу километров.

Вскоре чиновник, улыбаясь, вручил капитану вороха телеграмм. Со всех концов света долетели они в поселок Игл, на заснеженные берега Юкона: экспедицию поздравляли знакомые и незнакомые друзья.

Два месяца отдыхал Руаль в Игл, пользуясь общим гостеприимством. В третий день февраля 1906 года пустился он в обратный путь, туда, где зимовали его яхта и его товарищи.

Глава 5

«СНИП, СНАП, СНУРЕ...»

Льды долго мытарили яхту в узком проливе, в том самом, где восемьдесят лет назад ходили добротные и крепкие шлюпки, сработанные в Вуличских доках для Джона Франклина.

А на подходах к мысу Барроу винт рубанул льдину-разиню, взметнул искрометные осколки, однако и льдина в долгу не осталась: винт вышел из строя. Ладно! Есть паруса на «Йоа», добрые паруса, сослужат они службу. А ночью бурный ветер

переломил гафель. Хоть плачь — ни винта, ни ветрил. И встречное течение, пропади оно пропадом.

Исправили, поставили гафель. Парус, неси яхту, неси, не ленись. И парус не поленился бы, он бы понес яхту, да только пришлось-таки убрать его — льды, льды, льды. Несть им числа, не видать ни конца ни края. Хватай багры! Багры! Вот так. И навались! Наваливайся грудью, сжав зубы, напряжив мускулы, как некогда русские матросы. Ого, какая упругая мощь в каждом куске замерзшей воды, как нехотя пятаются льдины, тяжело колыхаясь, злобно всплескивая!

И уходит, остается за кормою, остается за горизонтом злополучный мыс Барроу, а впереди по курсу — Чукотское море, чистое и зеленоватое, сединой будто тронутое. А повсюду мачты, трубы, форштевни, паруса и дым китобойной флотилии.

И дальше, дальше... С левого борта открывается залив Коцебу. Амундсен приказывает откупорить бутылку, припасенную в Норвегии. Не забудем этот день, друзья, — тридцатое августа 1906 года, никогда не забудем! И бутылка идет в круговую. На «Йоа» пьют в память начинателей, в память погибших, в честь свершителей.

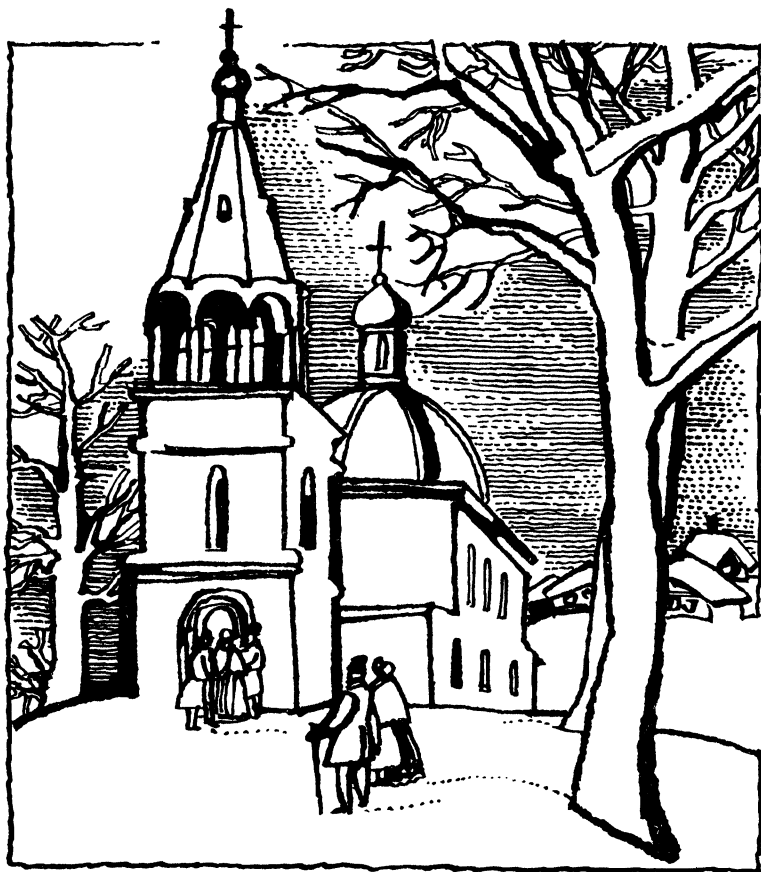
Гудит Берингов пролив. В сумерках слабо очерчиваются утесы мыса Принца Уэльского. А вечером качаются на темных волнах желтые огни, дальние огни городка Нома, что на берегу залива Нортон.

Молчит Амундсен. Молчат его товарищи. Не гремит пушечный салют, фейерверк не брызжет в глухое темное небо. Один лишь портовый катер, надрывая мотор, летит навстречу победителям Северо-западного пути.

— Снип, снап, снуре, — говорит Амундсен.

«Снип, снап, снуре...» Последние слова норвежских саг: вот и сказу конец.

ИДИ ПОЛНЫМ ВЕТРОМ



КОЛЫМСКИЕ ПИСЬМА

1

«Я объявился, любезный друг. Уведомь, где и когда свидимся». И в конце не имя, не фамилия — «№ 12».

Отклик был скорым. И в конце ответной записки не имя, не фамилия — «№ 14».

Дождь лил колючий и злой. Город глядел в сумрак. На темной Фонтанке кружили жухлые листья. Федор перешел Калинин мост. Вот и Коломна, почти уж предместье Санкт-Петербурга. Дом Клокачева? Ага, невзрачный, трехэтажный, каменный.

На лестнице со склизкими ступенями пахло старым жильем. Слуга в засаленном кафтане отворил двери, провел гостя в комнаты.

У стола сидел Пушкин в полосатом бухарском халате и в черной ермолке. Он вскочил:

— Федька!

Не степенно, не трижды поцеловались — ткнулись носом, подбородком, губами, и обнялись, и затормошили друг друга. Потом отстранились. Помолчали. И вдруг как запруду провало: вопросы, вопросы, вопросы...

— Ах, черт тебя возьми совсем! — смеялся Пушкин. — погоди! Эй, кто там? — Он подбежал к дверям, нетерпеливо крикнул: — Шампанского!

Сколько не видались? Два года... Нет, больше, больше! И это после шести неразлучных лицейских лет. В Царском Селе жили рядом: в комнате-келье номер двенадцать — Матюшкин Федор, в комнате-келье номер четырнадцать — Пушкин Александр. Посередке, в тринадцатой, обитал Жанно — милый Иван Пуцин.

Ну, время — молния! Вчера, кажется, Пушкин провожал Федора в Кронштадт. Колесный пароход бил плицами, светило солнце, на душе было звучно и весело. Пушкин наставлял: не вдавайся в частности, записывай существенное, не заботься о слоге — это потом, пиши, пиши, не надеясь на память... Пушкин проводил его в дальнее плавание. Они простились в Кронштадте. Два года минуло. Нет, больше, больше...

Подали шампанское.

— Ну, — сказал Пушкин, — рассказывай. — Он сбросил ермолку, темно-русые волосы его были кудлаты и легки. — Да! Мой совет исполнен? Где тетрадь?

— Я не взял.

— Отчего?

Матюшкин махнул рукой:

— Потом.

— Ну, рассказывай, рассказывай! Ты ж знаешь, путешествия — моя любимая мечта.

— А у меня — дело. — В голосе Матюшкина слышалось превосходство.

Пушкин не обиделся, сел на постель, поджал по-турецки ноги, подоткнул халат:

— Внимаю тебе, Одиссей!

Федор не мог собрать мыслей. Вспомнить Англию. Рио-де-Жанейро? Вспомнить Камчатку или остров Ситху, что в Русской Америке? Кругосветное плавание свершил он на шлюпе капитана Головнина. Эх, надо было взять поденные записки, где на первом листе из песни Дельвига строка выставлена: «Судьба на вечную разлуку, быть может, съединила нас». Тетрадь, где столько записей об участии перуанских индейцев, порабощенных Испанией, о бразильских невольниках, о несчастных Африки...

Пушкин притих. Нет ничего лучше памяти сердца, друзей юности. Еще одарит жизнь встречами, одарит приятелями. Но таких, как лицейские, как Дельвиг, как Кюхля, как Жанно, таких, как Федор, не будет. А Федор еще в Лицее избрал удел скитальца и навигатора. Участь завидная, не всякому на роду положенная... На дворе подвывал холодный ветер. Пушкин неприметно улыбнулся: простолюдины зовут этот ветер «чичер».

— Федя, вижу твоё затруднение. Шампанское выручит.

Они пригубили бокалы.

Может, и вправду шампанское выручило? Он стал рассказывать. Но на дворе за окнами бесился чичер, в бедной комнате истаивали сальные свечи; Пушкин как бы в сумрак ушел, и не весел был рассказ Федора.

Воспитанник свободолобцев, Куницына воспитанник и Малиновского, говорил он о повсеместной неправде и варварстве, о том, что Европа, накладывая длань свою на заморские земли, не обретает счастья и другим народам его не дает, особенно африканским, и еще о том, что не политики, озабоченные лишь золотом и властью, а истинные друзья человечества могут изыскать путь к свободе.

— Негры... Братья мои... — отрывисто произнес Пушкин. — Освобождение от рабства... Его желать должно не ради одной Европы.

— Ради общего блага, — сказал Федор.

— Ты принеси журнал. И не чинись: я ведь не чужой тебе.

— Принесу.

Пушкин снял нагар со свечей, в комнате посветлело.

— Не холодно?

— Нет, — сказал Федор. — Привыкать надо. Сибирь ждет.

Пушкин взглянул на него пристально. Федор усмехнулся:

— Своей волей. Экспедиция в проекте.

— А! — сказал Пушкин и коротко рассмеялся: — Сибирь, брат, не всегда в Сибири.

Федор ушел за полночь, условившись с Пушкиным о следующем свидании. Дождь кончился. Была тьма сентябрьская, петербургская. «А хорошо, — думал Федор, — хорошо: есть на свете республика: лицейская...»

2

В то утро, когда мичман Матюшкин, находившийся в отпуске после окончания кругосветного вояжа на шлюпе «Камчатка», почивал в номере старой петербургской гостиницы Демута, в то мглистое осеннее утро 1819 года в другом городе, в гостинице «Огненная рысь», проснулся некий английский моряк.

Джон Кокрен любил натошак подымить трубочкой и привести в порядок свои мысли. И вот он лежал, дымил крепким табаком и приводил в порядок свои мысли.

Кокрену было тридцать, может, тридцать с небольшим, но он уже пользовался почетной репутацией «смоленной шкуры», то есть считался моряком испытанным и удачливым.

Кокрен плавал давно. Где только не носили его британские корабли! Он познал мрак бурь и сплин штилей, изведаль ураганы Карибского моря, тонул близ Мадагаскара, дрожал в лихорадке на островах Пряностей.

Недавно он привел из Кронштадта в Ливерпуль судно, груженное строевым лесом. Потом повздорил с хозяевами, плюнул и уехал в Лондон. Он был уверен, что его-то уж непременно зафрахтуют.

Но тут случилось нечто неожиданное.

Рассыльный, отставной унтер с черной, как у покойного Нельсона, повязкой на глазу, отыскал Джона в гостинице «Огненная рысь» и вручил пакет из адмиралтейства. Его приглашал сэр Джон Барроу. О, Барроу был секретарем адмиралтейства, важной птицей, и Кокрен не заставил себя ждать...

Джон вытянулся под одеялом. Было над чем пораскинуть мозгами. И он раскидывал, вспоминая вчерашнюю беседу в адмиралтействе.

У Барроу были усталые глаза и упрямый подбородок. Одетый во все черное, Барроу ходил по просторному кабинету,

как по палубе. Барроу был из тех людей, которые полагали, что «Англия — прежде всего, права она или неправа».

Барроу показал своему тезке географическую карту с белыми, словно лишай, пятнами. О нет, секретарь адмиралтейства не призывал Кокрена ринуться на штурм Северо-западного прохода — таинственного пути из Атлантики в Тихий океан вдоль северных берегов Канады. На поиски уже отправились другие капитаны: Давид Бьюкен и Джон Франклин, Джеймс Росс и Вильям Парри. Не об этом шла речь. Речь шла о том, чтобы проникнуть на крайний северо-восток России.

— Вот здесь означен Берингов пролив. — Барроу ткнул пальцем в карту. — Однако некоторые наши географы отрицают существование пролива. Давний поход русских представляется им мифом. Вот здесь, — палец с широким ногтем пополз по чукотскому берегу к устью Колымы, — где-то здесь географы эти «видят» перешеек, соединение Азии с Америкой...

«Ну и что же? Какое дело нам до этого перешейка?» — подумалось Джону. Барроу отошел к окну, посмотрел на площадь, где катились фиакры и маячил, опираясь на длинную палку, здоровенный констебль.

— Вы понимаете, что все это означает? — глуховато произнес секретарь адмиралтейства, и Кокрен услышал в его голосе нетерпеливые нотки.

Они говорили долго. А нынче Джон должен сказать «да» или «нет». Было над чем поразмыслить.

3

Несколько месяцев спустя Джон Кокрен, частное лицо, путешественник, приехал в Петербург и обосновался на 10-й линии Васильевского острова, у агента торгового дома «Карлейль и сыновья». Отдохнув с дороги, Кокрен отправился в английское посольство.

Посол лорд Катхарт был болен, и Кокрена принял генеральный консул сэр Даниэль Кайли, седой джентльмен с остренькими глазками в воспаленных веках. Капитан вручил ему письмо, запечатанное печатью лондонского адмиралтейства.

В письме сообщалось, что «податель сего», капитан флота его величества, облечен доверием лордов адмиралтейства и что они, лорды адмиралтейства, рассчитывают на помощь и поддержку посольства во всех делах, связанных с сухопутным путешествием упомянутого капитана.

Байли не любил загадок. Он не очень любезно сказал:

— Я слушаю, капитан.

Кокрен тронул густые бакенбарды.

— Вы, вероятно, осведомлены, сэр, что русские затевают экспедицию для обозрения берегов Ледовитого океана в районе устья Колымы.

Байли кивнул с видом человека, обязанность которого именно в том и состоит, чтобы все знать. Капитан хотел было продолжать, но сэр Даниэль, неожиданно смягчившись, позвонил в бронзовый колокольчик и велел лакею подать чай.

Русские, изучая край, продолжал моряк, должны будут определить и координаты мыса Шелагского, а как раз там-то и предполагается наличие перешейка, соединяющего Азию с Америкой. И вот если перешеек существует, то все английские покушения на открытие Северо-западного прохода бессмысленны.

— Вот тут-то, сэр, и жмет башмак, — многозначительно заключил Кокрен.

— Все это отлично, капитан, но... вы-то при чем?

— Мы, — с некоторой важностью отвечал Кокрен, сознавая себя представителем адмиралтейства, — мы не можем дожидаться информации от русских. Мы не можем ждать русской информации, — повторил он слово в слово фразу Джона Барроу. — Посему я намерен добраться до Нижне-Колымска, расположенного в низовьях Колымы, и присоединиться к русскому отряду.

— Хм!.. — Консул мотнул головой. — Мне думается, вы бросаете благоразумие на ветер.

— Почему?

— Да потому, что никакое правительство не допустит иностранца участвовать в подобном предприятии.

— Вы правы, — улыбнулся Кокрен. — Но ведь можно... Кто понуждает нас объявлять русским о моем присоединении? О нет! Капитан Джон Дондас Кокрен, богатый чудака, оставивший королевскую службу, путешествует из простого любопытства. Капитан Кокрен... Ну хотя бы так: капитан Кокрен побился об заклад, что обойдет вокруг света пешком! — Капитан рассмеялся. — А? Ведь чудаки англичане заключают и не такие пари?

Сэр Даниэль взглянул на него внимательно, будто только что увидел, помолчал, подумал и, наконец, обещал на днях посоветоваться с послом.

В ближайшую неделю Байли, однако, не мог повидаться с лордом Катхартотом: послу было худо. Байли известил об этом нового жителя Васильевского острова. Однако «островитянин» не встревожился: русская экспедиция не отправится раньше весны 1820 года.

Джон Кокрен жил у холостяка-приятеля. Они убивали вечера за форо — карточной игрой, излюбленной лондонскими кутилами, и пили португальский портвейн, вино истинно джентльменское.

И вот однажды вечером Кокрен поведал приятелю цель своего путешествия к берегам Ледовитого океана. Роули опрокинул еще стаканчик, запустил в ноздри понюшку табаку, чихнул так, что огоньки свечей дрогнули.

— И это все, что ты получишь на Севере, будь он проклят тринадцать раз?

Кокрен кивнул.

— Помилуй бог, ты глуп!

— Что ж ты бранишься, старина? — осторожно сказал Кокрен.

Но агент ливерпульского торгового дома, попивая портейн, устался в камин и пошевеливал бровями, точно подгоняя свои мысли.

— В случае удачи десятую долю Майклу Роули, — сказал он вдруг. — Идет?

— Что ты предлагаешь?

— Экий ты, однако! Вместо того чтобы встать и отвесить поклон, он еще задает вопросы, как какой-нибудь шкипер Левантской компании.

— Нет, Майкл, в самом деле...

— «В самом деле, в самом деле!» — проворчал Роули с довольным видом.

Роули начал издалека. Помнит ли Джон плавание на «Герцог Йоркском»? Ах, помнит? Хорошо! А не припоминает ли он, что мистер Роули высадился тогда в Йорк-фактори? Припоминает? Отлично! А известно ли мистеру Кокрену, что мистер Роули долгое время служил агентом Северо-Западной компании, скупающей меха у индейцев? Ах, и это ему известно...

— Итак, — совершенно серьезно сказал Роули, — в случае удачи десятая доля. Ерунда, как выражаются здешние колбасники-немцы. Итак, или десятая доля, или я больше не скажу ни слова.

— По рукам!

— Прекрасно! Слово джентльмена. Итак, мой друг, ты посетишь края, где бывают чукчи. Чукчи пересекают на байдарках Берингов пролив... Что? Плевать я хотел, пролив это или залив! Не перебивай! Так вот, чукчи являются в Северную Америку и ведут торг с американскими туземцами. Понимаешь? Выменивают у них меха и моржовые клыки на русские товары... Мне доводилось даже у канадских индейцев видеть русские изделия. Теперь сообрази-ка: выгодно ли чукотское посредничество между туземцами Америки и сибирскими купцами? Конечно, старина, выгодно, и я рад, что вижу в тебе проблески ума. Выгодно чукчам, сибирякам, но отнюдь не нашим ребятам из Северо-Западной компании. Великие богатства утекают в чукотских байдарах. Я готов поклясться: компания пойдет на любые траты, лишь бы пресечь эту мену.

Он поворошил угли в камине, расколотил головешку, и по ней побежали, точно муравьи, синие и оранжевые искры.

— Что же тут предпринять? — проговорил он. — Дело, конечно, сопряжено с такими передрягами, какие тебе и не снились. Но игра стоит свеч. Тут, друг мой, ты можешь запросить втридорога... Скоро в Лондон едет мой помощник, я снесусь с директорами компании, и мы им предложим вот что... Слушай внимательно!

4

«Любезные друзья. При отправлении моем из Петербурга номер 14-й внушил мне мысль извещать вас о некоторых происшествиях дальнего странствия. Ныне, находясь на берегах Лены-реки, в старинном граде Якутске, приступаю, благословясь, к сочинению первого послания. Адресую его тебе, Яковлев, и уповаю, что покажешь его нашим москвичам, а засим перешлешь в Петербург, тем, кто там обретается из лицейских.

Итак, произведенный по флоту в мичманы, я включен в экспедицию, отряженную Адмиралтейством для обозрения полуночных краев, сопредельных Ледовитому морю. Этим лестным назначением я обязан моему учителю флотскому Василию Михайловичу Головнину. Да будет благословенно имя его!

Экспедицией начальствует лейтенант барон Врангель, бывший соплаватель мой на «Камчатке». В его подчинении аз, многогрешный, штурман Козьмин, тоже ходивший в круг света под командой Головнина, матрос Нехорошков и матрос Иванников. Вот и весь отряд. Адмиралтейство обещалось прислать также и медика. Покамест мы сидим в Якутске, собираясь в тяжкий переход через топи и тайгу, горы Алданские и разные реки в пункт нашего пришествия — Нижне-Колымский острог. Обосновавшись в сем остроге, мы приступим к изучению края, и тогда уже Нижне-Колымск будет, говоря по-морски, пунктом нашего отшествия.

Что сказать вам, друзья, о пути моем до града Якутска?

23 мая 1820 года воскресным утром прибыл я в Иркутск усталый, измокший до последней нитки, скучный, сердитый. Вы можете догадаться, что первое впечатление, которое сделал на меня Иркутск, было для него весьма невыгодное. Мне не понравился прекрасный вид, который представляется, когда подъезжаешь к городу. Я не видел ни быстрой Ангары, ни множества церквей и монастырей, не видел ни многолюдства, ни торговой деятельности. Мне все казалось пасмурным.

В тот же самый день мы с Врангелем представились генерал-губернатору Сибири Михаилу Михайловичу Сперанско-

му. Он пригласил нас к себе отобедать. Во время стола мы разговорились. Сознаюсь, ответы мои на вопросы Сперанского были дерзки. Например, на вопрос, как мне нравится Сибирь, я отвечал, что вижу в ней Россию через сто лет: образованность и довольство крестьян, приветливость и бескорыстную услужливость чиновников, порядок на станциях, прекрасные дороги, невероятную честность и прочее. Я говорил противоположное тому, что видел, и Сперанский понял это. Он выслушал меня терпеливо, с тихой улыбкой и переменял разговор.

Мы побыли в Иркутске месяц. Я, как умею и сколь знаю, расскажу вам, любезные друзья, о здешних делах. Сперанский щитится облегчить участь сибирского народа, отрешает старых чиновников, назначает новых, а все остается по-прежнему. Уездные исправники — настоящие тираны. Особливо отличился один из них, нижеудинский исправник Лоскутов. Он назначал повинности, от сохи гонял мужиков куда и когда хотел. Несмотря, однако, что Лоскутов имел такую власть и силу, он не осмеливался так, как у нас в Царскосельском уезде, подле государя, драть с крестьян взятки. Для сего он выдумал «честной» способ грабить людей — монополию на продажу рогатого скота. Что же погубило этого тирана? Он высек одного протопопа (тот для церкви собирал соборлей), на лбу у него написал углем «вор» и нарисовал на носу надрезы, как бы у каторжника. Поп пожаловался, и тут уж делать было нечего: Лоскутова прогнали. Ну хорошо, говорю я, а иной, пришедший на его «трон», будет лучше?..

Из Иркутска мы выехали 25 июня 1820 года. До Верхоленского острога, то есть 280 верст, есть еще тележная дорога, и такая прекрасная как по ровности своей, так и по живописному положению, какой вы не найдете ни в Англии, ни во Франции.

В те же сутки мы приехали на Качужскую пристань (250 верст от Иркутска), где стоял павозок, то есть речное мелкосидящее суденышко. Тотчас перебрались на него со всей кладью и на другой день, перекрестившись, пустились вниз по Лене.

Разнообразна и величественна дикость ленских берегов! Здесь нависла скала, седые волны омывают ее подножие, и она, кажется, грозит ежеминутно падением своим; там багровое зарево горящего лесу, медведи и олени ищут спасения, бросаются в реку и достигают другого берега... А там видны селения, разоренные весенним наводнением...

Плавание по Лене покойно и довольно поспешно, особенно весною, но мы делали в сутки не более 150 верст. Здесь большей частью бывает летом маловетрие, чаще других дует нордовый ветер. Имели мы и штормы, которые не только совершенно останавливали, но еще и несли вверх по течению наш павозок.

Наконец ночью 17 июля прибыли мы в Якутск.

Михаил Иванович Миницкий (бывший флотский), областной начальник, принял нас как своих. Его дом сделался нам как дом ближайшего родственника. Он старается о нашем снабжении, как будто бы ему самому надобно путешествовать с нами. Он редкий человек.

По совету Миницкого одному из нас следует ехать вперед в Нижне-Колымск, несмотря на чрезвычайно худую и трудную дорогу, чтобы там закупить заранее рыбу, нарты с собаками и сделать все возможные распоряжения для удобнейшей зимовки и скорейшего отправления на будущую весну. На меня пал выбор. Я уже почти готов в путь. Барон Врангель, штурман и оба матроса поедут месяца через два, когда установится свободный проезд.

Прощайте, любезные друзья, не забывайте вашего Матюшкина, извините ему, что он сделался очень болтлив, и хотя почти уверен, что это не доставит вам большого удовольствия, но ему весело писать, он и не требует, чтобы вы прочли всю его тетрадь».

5

Нессельроде, статс-секретарь русского министерства иностранных дел, был хитрым и осторожным сановником. Однако, выслушав просьбу лорда Катхарта, он ничего не заподозрил. К тому же выдача бумаг, необходимых путешественнику Кокрену, зависела от министра внутренних дел, и Нессельроде, долго не размышляя, отнесся к графу Кочубею.

Кочубей снисходительно тряхнул кудрями: Русь знавала и не таких блажных, как этот морской капитан, который, вместо того чтобы служить своему королю и Нептуну, желает маршировать к берегам Ледовитого океана. Но граф Виктор Павлович все-таки доложил о Кокрене государю. Александр выразил на своем кругло-кошачьем лице легкое удивление и, усмехнувшись, дозволил заготовить мандат, поручающий «пешего моряка» заботам «всех местных российских начальств».

Но «смоленая шкура» не торопился оставить Васильевский остров, отговариваясь нездоровьем, хотя и пребывал в совершенном здравии, и в этом можно было убедиться, взглянув на его энергическое, с густыми каштановыми баками румяное лицо. Кокрен действительно не торопился с отъездом; то есть он бы и хотел поскорее уехать, чтобы достичь Нижне-Колымска к концу года и, стало быть, успеть к началу действий экспедиции барона Врангеля, но принужден был медлить: ждал ответа почтенных директоров Северо-Западной торговой компании.

В мае 1820 года директора известили, что в случае удачи задуманного плана они обязуются выплатить капитану Кок-

рену пять тысяч фунтов. И Роули и Кокрен были в восторге. Особенно Майкл: он-то ведь ничем не рисковал...

И вот Сибирским трактом, по которому не так давно ямские сани мчали отряд Врангеля, трясся теперь в бричке Джон Кокрен. На тех же почтовых станциях, где-нибудь в деревне Драчево или в слободе Хмелевке, что при городе Василе, приходилось и ему дожидаться подставы, слушая, как скучливо жужжат мухи.

Покачиваясь в бричке, дивился Кокрен русским пространствам. Звенел колокольчик, мелькали версты, вставали леса, распластывались пашни. «Хорошее начало обещает добрый конец», — думал Джон. Скоро он повстречает Сперанского, покажет ему бумаги из Петербурга... Какой он, этот Сперанский? Некогда первый после государя сановник, а ныне почти опальный генерал-губернатор. Впрочем, что ж, и теперь этот человек хозяин такой земли, что во много крат обширнее Европы.

Он встретился со Сперанским в Иркутске. Генерал-губернатор Сибири оказался высоким белокурым человеком лет пятидесяти, с неторопливыми, уверенными жестами и тихим, тонким голосом.

Медленно и тщательно выговаривая слова, Сперанский поздравил английского путешественника с благополучным прибытием в Сибирь. Потом он подробно расспрашивал Кокрена о его намерениях, и Кокрен охотно говорил о своем неумном любопытстве и страстном желании обойти весь свет.

Невозмутимо выслушал британца белокурый человек с большой лучистой звездой на сюртуке. Выслушал и любезно заверил, что единоличное (чуть нажал тонким голосом на слово «единоличное», будто перышком подчеркнул) путешествие господина капитана не вызывает его возражений, тем паче что вот она перед ним, бумага, подписанная управляющим министерством внутренних дел.

В тот же день Кокрен поехал далее на восток. Англичанина сопровождал верховой казак. В дорожной суме его лежало секретное письмо Сперанского.

6

Мороз был лют. Дымы над кровлями стояли прямо.

В ноябре 1820 года лейтенант Врангель с матросами Нехорошковым и Иванниковым добрались до Нижне-Колымска, завершив путь, где мереной дороги было одиннадцать тысяч семьсот верст, да сверх того еще и полтора месяца езды по бездорожью.

Матюшкин встречал отряд колымским старожилом. Он усадил Врангеля на свои нарты и подвез к большому рубле-

ному дому. Бородатые плотники возводили бревенчатую башенку для астрономических наблюдений; в студеном воздухе резко и звонко тюкали топоры.

— Тут уж неделю велю топить вовсю, — говорил Матюшкин, подходя с Врангелем к крыльцу и отворяя дверь. — Дом пустовал несколько лет. Здешние уверяют, что в нем завелся нечистый.

— Коли и не было, так будет, — пошутил Врангель. — Я грязен, как дьявол, и мечтаю о баньке.

Изба, отведенная начальнику экспедиции, состояла из двух просторных половин. В первой гудела русская печь, во второй — чувал, камелек из жердей, обмазанных глиной. Сквозь оконца с толстыми пластинами льда вместо стекол сочился мутный свет. Широкая скамья, скрипучий стул да стол — вот и вся мебелировка.

— Дворец, ей-богу, дворец! — приговаривал Врангель, стаскивая рукавицы и сбрасывая капюшон оленьей кухлянки.

— А не хотите ли осмотреть все владения? — в тон ему с полупоклоном спросил Матюшкин. — Пойдемте на башню.

Они поднялись наверх. Плотники потеснились, с серьезным любопытством разглядывая приезжего.

Печальное зрелище открылось Врангелю: десятка четыре изб, юрты, церквушка да ширь замершей Колымы. Врангель насупился.

Пройдут годы, не месяцы, а годы. Они будут терпеть нужду и стужу... Как узник ждет солнечного луча, так они будут ждать почты... И летенант вздрогнул: померещилось, нет исхода из этой открытой со всех сторон западни. Сгинет он на Севере, погребут его под надтреснутый звон старенького колокола, а ворон, вот тот, голодный и тощий, на перекладине креста, закружит над могилой.

И тут вдруг на стежках, протоптанных в снегу, показались девичьи фигуры. Одна за другой, вереницей, с ведрами и коромыслами спешили они к реке, к проруби, и было это поспешное движение такое бойкое, такое веселое, что Врангель недоуменно подтолкнул локтем Матюшкина.

— Скоро полдень, идут по воду, — улыбнулся мичман. — Обычай здешний. Наряжаются в лучшее, идут, парни тоже приходят. Уговариваются о вечеринках, как в России у колодцев... А среди девиц, знаете ли, есть прехорошенькие!

Врангель ухмыльнулся:

— Амур порхает на Севере?

— И довольно резво.

Сошли вниз. В печи пылал огонь. На столе дожидались суп, свежие омули, штоф хлебного вина.

Сели обедать, разговорились, Матюшкин ругался: растяпа эдакий, местный исправник Тарабукин ничего не сделал для экспедиции, хотя его предупредили из Якутска. Правда, он,

мичман, успел кое-что припасти, условился о закупке ездовых собак с казаком Артамоном Татариновым, лучшим колымским собачником, а с другим казаком, искусным охотником Солдатовым, — о поставке дичи.

— Полагаю, Федор Федорович, — заметил Врангель, — зиму мы хорошенько подготовимся к вояжам и займемся астрономическими наблюдениями. В конце января ожидаю я нашего Прокопия Тарасовича с большим транспортом. А вам надо бы съездить к чукчам, просить помощи.

На дворе смеркалось. В Нижне-Колымск возвращались охотники. С заиндеветыми бородами, в кухлянках, подпоясанные кушаками, на которых висели большие ножи, медные трубки с коротенькими чубуками и кисеты с огнивом и табаком, охотники шагали устало и грузно. Одни несли рыбу, другие — «пакость», как называли они дичь.

Матюшкин простился с лейтенантом и отправился к себе, в соседнюю избу.

Матрос Михаила Нехорошков блаженствовал на печи. Ну, точь-в-точь как, бывало, дома, в Трифоногорской деревне, в той архангельской деревне, что покинул он шесть лет назад, забритый на цареву службу.

Федор сел у стола, оперся головой на руки. Вот и Врангель приехал. Хоть и не смостились их души, и близость не возникла сердечная, но ведь есть же и общие воспоминания, и общие знакомые... Но вот вновь, как уже случалось не раз, легло на душу Федора почти физическое ощущение далей, отринувших его от всего мира. Этого чувства не знал он на корабле. Может, потому, что корабль всегда был в движении, от чего-то отдаваясь, но в то же время к чему-то и приближаясь?

Хлопнула дверь, вошел матрос Савелий, пригожий чернявый малый. Они уединились с Михайлой за перегородкой, принялись баловаться чайком, завели разговор.

Матросы были ровесниками. Обоих в один год пригнали на флот. Служба, однако, у них сложилась по-разному.

Савелий Иванников сперва обретался «при берегу»: на Сестрорецком оружейном заводе обучали тамбовского мужика из деревни Красивской слесарному делу. Обучив, отправили в Кронштадт, в 12-й экипаж, и Савелий ходил в море на корабле «Принц Густав».

Но все его «кумпании» были пустяками в сравнении с походом Михайлы. Нехорошков-то был не просто балтийский матрос. Он был одним из тех немногих матросов, что звались уважительно дальновояжными, то есть совершившими кругоземные плавания. И одного этого было достаточно, чтобы Савелий признавал Михайлино превосходство в опытах жизни.

Федору слышался голос Михайлы. У него был крутой говорок с упором на «о». Раздумчиво повествовал Михайло —

и, наверное, не в первый раз — о плавании на «Камчатке». Говорил он что-то о штормах у мыса Горн, об острове Суматра, где «от жаров и паров расейскому человеку быть не можно», об ураганах Индийского океана, «когда хоть стой, хоть падай, хоть святых вон выноси».

А потом заговорил Савелий. Выспрашивал он не о бурях, не о напастях, а про то, «как же это живут в тех землях, где от жара и пара расейскому мужику быть не можно».

И Михайло отвечал рассудительно, что живут, мол, и там, как и везде, люди добрые и злые, живут в трудах и заботах, не гляди, что кожа, как деготь, или медная, как самовар томпаковый; работают домашнюю и полевую работу, растят ребят, а ежели и не в зыбках баюкают, так за спиной носят...

Федор сидел, облокотившись о стол, слушал и не слушал голоса за перегородкой.

7

Подобно тому как опытный моряк придирчиво, с оттенком жреческим осматривает и ощупывает, чуть не на зуб пробует снаряжение шлюпки, так и нижнеколымские казаки оглядывали и выбирали нарты, предназначенные для экспедиции.

Подобно тому как кронштадтские боцманы, великие знатоки своего дела, учили рекрутов обращению со шлюпкой, так и нижнеколымские казаки сперва объяснили морякам устройство походных нарт, а потом показывали, как управлять собачьими упряжками.

Нарты состояли из множества частей замысловатых наименований. Тут были копылья с вязкой и баран с доской, баранные оттяги и доска с потягом, темляк и кутюги, вардень и повлы... Оказалось, полозья у нарт должны быть непременно из белоствольной березки, и чем меньше в ней сучьев, тем лучше. Оказалось, надо выдерживать полозья в кипятке, а после сунуть на месяц-два в подледную речную воду; отправляясь же в путь, необходимо нарты войдать — обливать полозья водой, чтоб отполировались ледяной корочкой. Узнали моряки от казаков, что про запас не худо снабдиться брусьями из китовых ребер и подшить ими полозья, если доведется ехать по соляному раствору на морских льдах.

А собаки? Местные колымские четвероногие, те, что заводили по ночам свой жуткий хор, гожи были для недалёких ездок. По совету казаков, Врангель купил собак, пригнанных с устья Яны и Индигирки. Эти славные псы способны были к долгим путешествиям. Но их тоже надо было умеючи выезживать, мало-помалу увеличивая ежедневный пробег и давая роздых через каждые пять верст. Требовалось, наконец, отыс-

кать в своре передовщика: передовая собака в упряжке должна быть и сильнее и отважнее прочих, должна уметь держать прямой бег по тундре, лишенной ориентиров.

В избе у Врангеля часто устраивались «коммерческие совещания». Старшины якутских и юкагирских селений дымили длинными трубками, цедили кружку за кружкой чай и рядились с моряками. Лейтенант и мичман торговались усердно: морской министр маркиз де Траверсе был скуп, и отряду было отпущено куда меньше средств, нежели престарелый, но все еще женолюбивый маркиз расходовал на свою содержанку-француженку. Правда, француженка пользовалась особенным вниманием императора, чего об экспедиции сказать было нельзя. Вот и приходилось торговаться за каждую копейку.

8

Дышать было больно. Тощий ворон, перелетая с луковки церкви на крышу дома, где жил колымский поп, тянул за собой тонкую струйку пара. Легонький треск стоял в воздухе. Прислушиваясь, Федор вспоминал почему-то, как в Царском Селе в июне с берез облетали, лопалясь, крохотные, похожие на веснушки семена. Но здесь слабое шуршание производили мириады мельчайших ледяных блесток; они наполняли воздух, как пылинки — солнечный луч.

Подошло рождество. Прикатила из Якутска почта. Почтари остановились в доме исправника Тарабукина. Сбежались туда и стар и млад: приход почты был праздником.

На этот раз, однако, любопытство казаков привлекли не почтари с их кожаным мешком, а незнакомец, который спрыгнул с нарт и сипло крикнул, воздевая руки: «Хип, хип, хура!» — и засмеялся, и замахал руками, и залопотал непонятное.

Исправник округлил мутные очи. Нижнеколымцы вопрошительно глазели то на исправника, то на незнакомца. Тут подошли Врангель с Матюшкиным.

— Имею честь видеть господина лейтенанта Врангеля? — спросил приезжий.

— К вашим услугам, — пробормотал Врангель и громко добавил по-английски: — С кем имею удовольствие?

— Капитан Кокрен, сэр.

Врангель и Матюшкин изумленно переглянулись: батюшки светы, англичанин!

— Признаться, — медленно сказал Врангель, — мы в совершеннейшем удивлении. Мы, признаться, никого не ожидали. Тем паче капитана... британского флота.

Кокрен, все так же широко улыбаясь, отвечал, что он и сам никогда в жизни не помышлял о Нижне-Колымске, но

одно обстоятельство, которое, очевидно, покажется господину лейтенанту весьма курьезным...

Казаки затаили дыхание. А исправник важно кивал головой, хотя и не понимал ни полслова.

— Что же мы стоим? — спохватился Врангель. — Милости просим, сэр.

Англичанин расположился в доме начальника экспедиции. Матросы побежали истопить баньку, а лейтенант и мичман, усадив Кокрена к столу и поставив перед ним закуску и водку, принялись наскоро разбирать почту. Жадно набросились они на толстые пакеты. Из Ревеля и Дерпта писали Врангелю, из Москвы и Питера — Матюшкину. В одном пакете была книжка журнала «Сын Отечества», другой пакет, адресованный обоим офицерам, был запечатан сургучом, и на нем ясно оттиснулся герб отправителя: зубчатая башня, три львиных головы и рыцарская кираса — герб Василия Михайловича Головнина.

Они вскрывали пакеты, наскоро пробежали исписанные листы, откладывали в сторону.

Настоящее чтение, медленное и усладительное — потом, потом, после.

Однако в большом пакете с пятью печатями — по углам и посередке — было письмо генерал-губернатора Сибири, и Врангель тотчас его прочитал. Прочитав, неприятно покопился на капитана Кокрена.

Пришел Михайло, объявил, что банька истоплена, ухмыльнулся:

— Ужо асея мы побаним.

Англичанин и матрос ушли.

— Фердинанд Петрович, — весело сказал Матюшкин, — давно слышу от матросов это «асей», да все забываю спросить: что значит?

Врангель задумчиво смотрел на Матюшкина, и Федор понял: лейтенант чем-то озадачен.

— Асей? — рассеянно отозвался Врангель. — Ах, асей... А это, видите ли, наши матросы англичан так прозвали. Почему? Да, да, асей... — повторил он. — Так ведь англичане в разговоре часто употребляют «I say»¹. Ну вот, матросы, стало быть... — Он не договорил, быстро подошел к дверям, выглянул в сени, убедился, что в доме никого нет, и сказал: — Прочтите-ка, Федор Федорович!

Он протянул Матюшкину письмо Сперанского.

Матюшкин прочитал и оторопел:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

— Да-с, тонкая бестия, — молвил Врангель.

¹ Послушай (англ.).

Псы бежали, прижав уши и вытянув длинные, схожие с волчьими морды. Нарты, казалось, оторвались от крепкого мерзлого снега. Не успел Федор дух перевести, как пропал из виду Нижне-Колымск с четырьмя десятками бревенчатых домишек, с церковкой и полуразвалившимся острогом. Остались снег и небо, глубокий ровный снег и низкое небо в плотных тучах.

Упряжки неслись. Их было три. На первой ехал Врангель и казак Татаринов, знаменитый колымский охотник; на другой уместились Федор с Нехорошковым; на третьей — штурман Козьмин, недавно прибывший из Якутска, да казак-проводник, совсем еще молодой малый.

В февральский день 1821 года отряд отправился осмотреть берег Ледовитого океана к востоку от устья Колымы. Далеко ли на восток? Это уж как позволят обстоятельства! Хорошо бы увидеть Шелагский мыс.

Не мыс, а нос, как говорят северяне. Федор усмехнулся: «Шелагский нос оставил Кокрена с носом». Нет, в самом деле, ловко удалось-таки отвязаться от настойчивого, как таежный гнус, английского капитана. Ох как набивался «асей»! Но Врангель стоял на своем: с превеликим-де нашим удовольствием, сэр, но, сэр, нет ни малейшей возможности взять хоть фунт лишнего груза; вот ежели бы вы, сэр, предварили о своем намерении, то я бы... Но теперь... Нет, нет, сэр, ни фунта: вы же понимаете; пожалуйста, живите у нас, чем богаты, тем и рады. Кокрен с огорчения напился пьян. Черт побери, его можно понять. Отмахал бедняга от Лондона до Нижне-Колымска, сиганул туда, где «жительство невозможно», а тут-то и вышел пшик...

Проницательный человек Михайло Михайлович Сперанский! Это тебе, Джон Кокрен, не граф Кочубей, не граф Нессельроде. Присоединиться к экспедиции, направляющейся к Шелагскому носу? А потом, в туманном твоём Альбионе завопят со всех крыш: «Мы пахали!» Что и говорить, Шелагский нос — важная загадка. Если в этом месте действительно есть перешеек, соединяющий материки, тогда нечего англичанам искать Северо-западный проход. Но только, милый наш Джон Дондас, здесь, на Колыме и на Чукотке, тоже ведь Россия, а по сему случаю, господин капитан, исследовать и решать географические загадки будем тут мы, русские, а не подданные его величества короля Георга...

Летели нарты, кружила тундра. Путники, одетые в кухлянки, сжимали в руках толстые палки с колокольчиками. Палки служили опорой на поворотах, орудием для управления упряжкой. А на нартах под кожаными покрывалами лежали крепко стянутые ремнями харчи и навигационные инструмен-

ты, оленье одеяла, палатка, железная плита для раскладывания огня на снегу.

Вот уж и устье Колымы. На небольшом возвышении чернеет башенка. Ее возвел почти век назад лейтенант Дмитрий Лаптев. Упряжки повертывают на восток, съезжают на лед.

День за днем бежали они на восток, одолевая за сутки десятки и десятки верст. Вместе с упряжками бежали походные будни. На дневках моряки брали координаты приметных береговых точек — это было нужно для составления карты; на дневках наблюдали поведение компасной стрелки — это было нужно для изучения земного магнетизма. Вечером разбивали кожаную палаточку. Кололи дровишки из наносного леса, ладили костер. Казаки варили ужин, кормили собак; моряки, скорчившись у костра и мигая воспаленными, слезящимися от дыма глазами, усердно черкали в путевых книжках. Спали, тесно прижавшись друг к другу, завернувшись в оленье одеяла. И сон свой часто прерывали, чтобы произвести астрономические наблюдения.

Чистая каторга — выбираться на мороз.

Бр-р-р... Наметанным глазом отыскивают моряки звезду Поллукс из созвездия Близнецов. Затем Капеллу из созвездия Возничего. Теперь определи-ка истинное время. Как все это несложно в учебниках Бугера, в морских словарях Шишкова! А тут, на студенном ветру... Ба! Ртуть в искусственном горизонте покрылась от холода кристалликами. Да и с секстантом беда: в рукавицах не справишься, а снял рукавицы — пальцы обожжет мерзлый металл. Едва приноровился — стекла и зеркала уже покрылись инеем. Вот и мучайся! И мучились, и, посвечивая фонариком, всматривались в шкалу, считая градусы, минуты, секунды.

Рано поднимались путники. Завтракали, чистили посуду, сворачивали палатку. И снова бежали нарты, отмеряя версты, и звенел, злился ветер. Оленьи шкурки — налобники, наносники, нагубники, набородники — не ахти защищали лицо, ветер резал бритвой. Впрочем, где там кряхтеть да ахать! Того и гляди, сугроб или валун — и нарты мгновенно перевернутся. Смотри в оба, работай шестом, соскочи с нарт, поправь их, догони.

В марте началось иное. На пути к Шелагскому носу встали торосы. Они были велики и круты. Битый острый лед покрывал редкие ледяные поляны. Лед перемешивался с морской солью.

Завязалась битва за каждую милю. Пешнями¹ врубались в торосы, как рыцари в неприятельский стан. Сцепив зубы, взбирались на ледяные кручи. С захолонувшим сердцем скачивались в пропасти...

¹ Пешня — короткий лом с деревянной ручкой.

И вдруг он открылся, таинственный Шелагский мыс. Тот самый, где, по мнению некоторых английских географов, надо было искать перешеек, соединяющий Азию с Америкой.

Путники не закричали «ура», не замахали шапками. Они молча глядели на черные утесы, вставшие из белых льдов. И в этом столкновении белого с черным ощущался какой-то предел, какая-то грозная граница.

— Не кажется ль вам, друзья мои, — негромко проговорил Врангель, — что мы достигли конца света?

10

Кокрен пребывал в унынии, хотя хлебное вино и пришлось ему по вкусу, а матрос Савелий, оставшийся в Нижне-Колымске присматривать за жильем и имуществом экспедиции, аккуратно пополнял штоф, который капитан всегда держал под рукой.

Но вскоре надежда воскресла в капитановой душе. Кокрен убеждал себя, что русские не разгадали его замыслов, что Врангель и впрямь не мог взять ни фунта лишнего груза, что, возвратившись в Нижне-Колымск, русские непременно похвалятся своими успехами и он, Кокрен, так или иначе получит сведения, столь желанные лордам британского адмиралтейства.

Кокрен успокоился. Теперь он думал о поездке в Островное. Поездка эта, как сулил Врангель, должна была непременно совершиться, ибо надо было уверить чукчей в мирных намерениях экспедиции. Кто бы ни отправился в Островное, сам ли лейтенант или кто-нибудь из его подчиненных, но барон дал слово препроводить капитана в русское поселение на реке Малом Анюе, куда ежегодно прикочевывали чукчи для торговли с сибирскими купцами.

А с ярмаркой в Островном связывал Кокрен начало исполнения плана, родившегося в голове Майкла Роули и одобренного лондонскими директорами. План этот заключался в том, чтобы вместе с чукчами проникнуть в Северную Америку, разузнать пути и места, где сходятся для меновой торговли азиатские и американские туземцы. Вот и все дело! А там уж пусть английская Северо-Западная компания, действующая на востоке Канады, озаботится пресечь эту разорительную для нее утечку мехов, пусть устроит новые фабрики, пусть вышлет своих агентов...

Минуло три недели. Отряд Врангеля осмотрел западный берег Шелагского мыса. А чтоб убедиться в отсутствии перешейка, соединяющего Азию с Америкой, следовало осмотреть и северный берег его и восточный. Но то уж было делом будующих рейсов отряда Врангеля.

Неделю путешественники отъедались и отсыпались. И вот опять начались вечерние чаепития, опять усаживались у камелька лейтенант, мичман, штурман. И опять эти неторопливые беседы о разных разностях, о Ревеле и Царском Селе, о стариках адмиралах и общих знакомцах... Увы, ни единого, как назло, слова про Шелагский мыс. Кокрен бесился. Наконец не вытерпел и завел речь о давешней поездке.

— Мне не хотелось бы вспоминать об этом, — начал Врангель, старательно сооротив грустную мину. — Ей-богу, не хотелось бы, сэр. Но коли вы спрашиваете... — Он вздохнул и сделал паузу, мучительную для Кокрена. — Да-с, коли вы спрашиваете... Должен признаться, сэр: мы потерпели фиаско. Да-да, сэр, мы не пробились сквозь торосы и не увидели этот мыс, чтоб ему пусто было. Может быть, в следующий раз. Мы не теряем надежды, сэр, но ныне... Ах, лучше уж не вспоминать... — И, печально помолчав, он продолжил прерванный рассказ: — Так вот, господа. На чем, бишь?.. А-а, да-да! Так вот, бежал я из Ревеля, с эскадры, со своего фрегата. Вы понимаете, что мне за сие грозило? Ну-с, думаю, будь что будет! Добрался до Петербурга на какой-то финской лайбе, явился к Василию Михайловичу и, как говорится, пал в ноги. Так-то, господа, мечта моя исполнилась, я попал на шлюп «Камчатка» и ушел в дальний вояж. И должен заметить, ушел с легким сердцем: Головнин замаял скандал, мой полужной список остался чистым.

Матюшкин и Козьмин слушали с подчеркнутым вниманием, капитан Кокрен — с натянутой улыбкой.

11

В Островное был послан мичман Матюшкин. Кокрен поехал с ним. Путь в Островное взял четверо суток. Селеньице оказалось небольшим — три десятка изб да часовенка, погруженные в снега.

Когда нарты Матюшкина подъезжали к Островному, туда входил купеческий караван. В нем было более сотни обросших сосульками лошадей, навьюченных мешками. Чукчи уже поджидали купцов, раскинув на соседнем островке свои юрты.

Матюшкин пошел в ближайшую избу договориться о ночлеге. Кокрен остался на дворе.

Было темно. По небу перебегали красные и зеленовато-белые лучи. В хижинах светились льдистые оконца. На дворах подле тюков с товарами пылали костры. Где-то били бубны, глухо и размеренно, с жуткой настойчивостью. В этих глухих повторах Кокрену чудился ритм Севера, тот ритм, которому, казалось, был подвластен бег этих красноватых и светло-зеленых лучей.

На другой день ударил спозаранку колокол, на высокую мачту взбежал флажок, торжище началось. Чукчи разложили на нартах меха. Красивой изморозью отливали черно-бурые лисицы; дымчатой голубизной, как снега на рассвете, чаровали взор песцы, а куница и бобер так и манили нежить руки в их желто-бурой и темно-каштановой шерсти.

Купцы из Якутска были обвешаны кружками, бисером, связками курительных трубок. Прислужники купеческие распаковали тюки и ящики с топорами, медной посудой, материей, выставили бочонки со спиртным.

Торжище продолжалось три дня. Сменилось оно всеобщим весельем. Били бубны, мчались, состязаясь в беге, олени, разливались гармоники.

А Матюшкин тем временем встречался с чукотскими старшинами. Пользуясь услугами якута-переводчика, толковал мичман с хитрым, сообразительным Валеткой, жившим южнее Шелагского носа, и с рослыми, похожими, как близнецы, Макамоком и Леутом — обитателями берегов залива Святого Лаврентия, и с Эврашкой, как толмач называл морщинистого старика, пришедшего в Островное с берегов Чаунской губы...

В секретном письме к Врангелю сибирский генерал-губернатор говорил не только о нежелательности присоединения «английского пешехода» к экспедиции, но еще высказывал предположение, что Кокрен попытается выведать и самолично посетить пункты меновой торговли чукчей с американскими туземцами на Аляске. А сия разведка, по мнению Сперанского, могла дурно отразиться на русской торговле, как, впрочем, и на благосостоянии чукотских кочевников.

И все это надо было втолковать чукчам. Матюшкин объяснял, толмач старательно переводил, но слушатели хранили невозмутимое молчание, и Федор сомневался, поняли они его или нет.

Но вот уж чукчи собрались в обратный путь, и мичман зазвал старшин к себе, в тот бревенчатый теплый дом, в котором они жили с капитаном Кокреном.

Матюшкин терпеливо выждал, пока чукчи выкурили первые ганзы-трубки, а когда набили их табаком во второй раз, Федор обратился к старшинам с речью:

— Сын Солнца прислал нескольких своих подданных проведать берега Ледовитого океана. Люди эти желают чукчам добра. Они хотят узнать берег, куда станут приходить корабли с товарами для чукчей... — Федор не пускался в сложные географические рассуждения. — Если вы, старшины, поможете нам, — продолжал мичман, — то мы одарим вас щедро.

Толмач переводил. Старшины курили. На их широких лицах было вежливое внимание. Толмач перевел. Чукчи кури-

ли в задумчивости. Но вот Валетка, тот, что кочевал у Шелагского мыса, вынул ганзу изо рта.

— Слушай, — сказал он, — разве за помощь друзей одаривают топором или табаком?

И Валетка посмотрел на Макамока и Леута, что пришли с берегов залива Лаврентия, и на Эврашку, что пришел с берегов Чаунской губы. И Макамок, и Леут, и Эврашка вынули трубки и сказали так:

— Слушай, тойон! Валетка говорит правду. Нам не нужны дары. Мы поможем тебе и твоим братьям. Вы пришли не для того, чтобы отнять у нас меха или оленей. Мы поможем вам.

Матюшкин поднялся. Старшины тоже. Матюшкин поклонился им. Старшины поклонились ему. И все сели.

Теперь начался двойной перевод: Матюшкин по-русски передавал толмачу английскую речь Кокрена, а толмач обращался к чукчам. Капитан был краток.

— Достоуважаемые вожди! Я купец и прошу вас отвезти меня к тому морю, по которому вы плаваете на байдарах. Я прошу вас отвезти меня за море к тем людям, у которых вы достаете меха. Я отплату табаком и вином.

Чукчи курили. С их меховых шапок, украшенных бисером, свисали головы воронов, приносящих удачу в полуночных странствиях.

— Купец! — сказал после долгого молчания старшина Леут. — Я могу отвезти тебя к людям, которые дают нам меха. А ты дашь мне в награду тридцать сум табаку.

— Сколько? — опешил Кокрен.

— Тридцать пудов, — усмехнулся Матюшкин. — Эх заворотил!

Кокрен закусил губу. Тридцать пудов! Уж не потешаются ли над ним проклятые дикари?

— Купец! — послышался голос Валетки. — Я могу проводить тебя до реки Веркон. На Верконе живет мой сородич. Он приведет тебя к морю. А там ты найдешь путь за море. Соглашайся, купец. Мне даров никаких не надо.

Кокрен был сбит с толку. Что же это такое? Один заломил тридцать сум табаку, а другой ничего не хочет. Джон растерянно поглядел на русского мичмана.

— Купец ответит тебе завтра, — выручил Федор. — А сейчас, вожди, мы скрепим наш договор, как полагается добрым друзьям.

Чукчи ушли поздно. На прощание они долго жали Федору руку, смеясь хлопывали его по плечу.

А Кокрен был в отчаянии. Он спросил совета у Матюшкина. Мичман подумал и ответил, что на его месте не стал бы связываться с чукчами.

Видит бог, он, Кокрен, не из робких. Но кто же, находясь

в здравом уме, согласится верить свою жизнь дикарям, когда один требует невозможного, а другой согласился сделать все даром? Конечно, пять тысяч фунтов... Пять тысяч! Они стоят риска, но жизнь стоит дороже...

12

«Почта меня обрадовала. Что я говорю «обрадовала»?! Она сделала меня счастливым вполне, если только человек может быть вполне счастлив. Вы меня помните, вы меня любите! Тебе же, любезный Яковлев, особливая моя благодарность: ты отлично исполняешь должность почтмейстера и даже заставил, как я догадываюсь, писать ко мне ленивца Дельвига.

Итак, в июле нынешнего, 1821 года... Но прежде всего — порядок. Я вам всем неспешливо расскажу.

После поездки в Островное мы, барон Врангель, я и штурман Козьмин, путешествовали на санях по Ледовитому морю. В задачу нашей экспедиции входит не только обозрение Колымского края, но и поиски Земли Андреева. Землю сию, как о том повествуют старинные записи, усмотрел во время императрицы Екатерины Великой сержант Андреев, путешественник отважный. Но вот беда: ни одна душа после Андреева острова этого не узрела.

Надобно признаться, что и мы его покамест не видели, хотя и рыскали во льдах с немалым упрямством. Собачье дело, доложу я вам, шататься в полунощном море! Не найдя Земли Андреева, мы, однако же, подробнейшим образом изучали Медвежий остров и дошли (вернее, дотащились) до 72° северной широты, а 29 апреля вернулись в Нижне-Колымск, который показался нам райской обителью.

В Нижне-Колымске мы уже не застали капитана Кокрена. Исправник Тарабукин сообщил нам, что сей искатель приключений отправился с одним тунгусом в Охотск. Дальнейшая судьба его нам неизвестна.

Дождавшись лета, мы продолжили наши исследования на материке. На мою долю выпало обозрение рек Большого и Малого Анюя. Я пустился в путь июля 20-го вместе с верным моим оруженосцем, матросом Михайлой Нехорошковым, и проводником из местных казаков.

Берега Анюя однообразны и пустынные. Среди болот, поросших стелющимся тальником, попадаются местами хорошие луга. Правый берег обставлен крутыми песчаными холмами.

Река с каждой верстой становилась быстрее. Течением своим образует она бесчисленные короткие излуины и цепи мелких островков. Русло и берега усеяны остроконечными камнями и утесами.

В конце июля мы были в урочище Плотбище, где осенью олени обыкновенно переправляются через реку.

Олени еще не приходили: в урочище ожидали их с нетерпением.

Престарелый зажиточный юкагирский старшина Коркин радушно пригласил нас к себе в дом и угостил всем, что только у него было, то есть сухой оленьиной и оленьим жиром. Истинное гостеприимство равно отличает все народы, живущие от Москвы до Камчатки и от Кавказа до Ледовитого моря. Здесь же, между кочующими племенами Сибири, особенно сохранилась похвальная добродетель, побуждающая хозяина с редким самоотвержением уступить гостю лучшее место и лучший кусок.

Ныне берега Малого Анюя населяют лишь несколько юкагирских семейств. Дома их построены прочно и состоят по большей части из одной просторной комнаты. В ней на-лево от входа вместо обыкновенной в русской избе печи находится чувал, или очаг, где непрерывно горит огонь. В одном из углов помещаются образа; по стенам развешиваются ружья, луки и стрелы; на полках стоят горшки и другая посуда; посредине — большой стол; широкие лавки идут по стенам.

Я упомянул об иконах. Да, юкагиры приняли христианскую веру. В христианскую веру обратили их странствующие попы. Подобно тому, что видел я в заморских странах, и тут туземцев скорее не обращают в Христову веру, а заманивают в нее. В Островном на ярмарке довелось мне наблюдать, как крестили одного чукчу. Новокрещеный долго не решался окунуться в чан с холодной водой. Ему сулили и табаку, и бисер, и топор. Наконец он сел в воду, но тут же выскочил и стал бегать по часовенке, дрожа от холода. «Давай табак, давай табак!» — кричал он, стуча зубами. Ему говорят, что обряд еще не кончился. «Нет, — кричит, — более не хочу! Давай табак! Давай табак!» Поп, однако же, поспешил зачислить его в штат христианский...

Когда мы приехали в Плотбище, все жители находились в ожидании оленьей переправы через Анюю. Наконец разнесся слух, что табуны показались в долине, к северу от Анюя. В мгновение ока все бросились в лодки и спешили укрыться в изгибах высоких берегов.

Переходы оленей достойны замечания. В счастливые годы число их простирается до многих тысяч, и нередко занимают табуны пространство от 50 до 100 верст. Для переправы олени спускаются к реке по руслу почти высохшего, маловодного протока, выбирая место, где противолежащий берег отлог. Сначала весь табун стесняется в одну густую толпу. Затем передовым олень с немногими сильнейшими товарищами выходит вперед, поднимая высоко голову и осматривая окрест-

ности. Уверившись в безопасности, он входит в воду; за ним кидается весь табун; в несколько минут поверхность широкой реки покрывается плывущими оленями.

Едва олени начали приближаться к берегу, как охотники окружили их на своих лодках и старались удержать. Между тем несколько опытных промышленников, вооруженные длинными копьями и поколюгами, ворвались в табун и принялись бить животных. Шум нескольких сот плывущих оленей, страшное харканье раненых, глухой стук сталкивающихся рогов, обгаренные кровью охотники, крики и восклицания, река, несущая туши и кровь...

В середине августа мы были уже далеко от Плотбища. Берега Аноя изменились. Вместо крутых черных скал, изредка прорезанных ручейками, видишь отлогие побережья и острова, покрытые купами высоких деревьев.

Однажды мы остановились на ночевку вблизи скалистых гор. Вершина одной из них была увенчана облаками. «Это Обром», — сказал мне проводник. Мы достигли цели, проделав 250 верст.

Я позвал Михайлу с проводником и начал карабкаться на гору. Мы шли по крутым ложбинам, перескакивали с камня на камень. После часа трудного пути я совершенно выбился из сил. Но проводник, знавший хорошо все тропы, решительно объявил, что спуститься можно лишь по другому скату, перевалив вершину. К счастью, потянулась вскоре оленья тропа. После трех часов восхождения мы очутились в снегах вершины Оброма.

Только тот, кто сам бывал в северных странах Сибири, может иметь ясное понятие об истинно величественных и поражающих красотах матери-природы! Передо мной лежали цепи гор. Вершины сияли льдами, склоны были в яркой зелени. Багровые лучи солнца, предвестники бури, окрашивали белые верхи гор прозрачным розовым светом. Бессчетные радуги стояли в небе. Среде хребтов был налит синий туман, из коего, как острова, торчали там и сям зубцы черных утесов. Совершенная безжизненность и тишина напомнили мне горы перуанские.

Спустившись по более отлогому скату, достигли мы реки, нашли лодку и счастливо воротились к месту нашей ночевки.

От Оброма поплыли мы вниз по реке и быстро прибыли в знакомое Плотбище. Отселе для обозрения окрестностей я решил отправиться верхами, хотя уже гуляли молодые вьюги.

Так в последних числах августа начались мои скитания по болотам, лесам, тундрам. Свитой моей были густые метели, моим недругом — холодный ветер. Медведи караулили нас, а соболя не давались под выстрел. Как-то раз проводник сбился с пути, и мы с Михайло приготовились сложить косточки под

небом Севера. По непростительной оплошности моей я целиком уповал на опытность проводника и оставил в ближайшем селении компас. С божьей помощью, однако, кое-как выбрались.

Нам довелось видеть селения, которые не были толико счастливы, как Плотбище. В Лабазном, например, показались было олени табуны. Ветвистые рога их заколыхались вдали, точно полосы сухого кустарника. Со всех сторон устремились туда якуты, чуванцы, ламуты, тунгусы. Радостное ожидание оживило их лица, все предсказывало обильный промысел.

Но вдруг раздалось роковое известие: «Олень пошатнулся!» Действительно, табун, вероятно уstraшенный множеством охотников, отошел от берега и быстро скрылся в горах. Отчаяние заступило место радостных надежд.

Сердце раздиралось при виде народа, лишенного всех средств поддерживать свое и без того бедственное существование. Ужасна была картина всеобщего уныния и отчаяния. Женщины и дети громко стонали, мужчины бросались на землю и с воплями взрывали снег, будто приготавливая себе могилу; старшины устремили безжизненные взоры на горы, за которыми исчезла их надежда.

По всей дороге видели мы, как туземцы страдали от голода и, отчаявшись в оленьем промысле, прибегали к рыбной ловле. Но пришла беда — отворяй ворота: к несчастью, и рыбы оказалось так мало, что прибрежные жители остались в самом беспомощном и ужасном положении.

Путешествие наше становилось с каждым днем труднее. Холод усиливался; лед у берегов ширился, кое-где он уже перехватывал реку; приходилось топорами и шестами прокладывать себе путь. Занятие, признаться, до крайности утомительное.

Вчера мы прибыли в Нижне-Колымск. Наши скитания по рекам, горам и тундрам заняли семьдесят дней. Я был бы совершенно удовлетворен ими, когда б не картины страшных бедствий народных. Прощайте. Поминайте хоть изредка вашего Матюшкина. Сентябрь 1821 г.»

13

Щеки ввалились, борода отросла космами. Одежда была изорвана в клочья. Он едва волочил ноги.

Флотский офицер, возвращаясь из порта домой, увидел страшного пришельца. «Тунгус? — быстро соображал моряк. — Беглый каторжник?..» И крикнул строго:

— Ты кто такой?

Незнакомец молчал.

— Отвечай, каналья!

— Джон Кокрен, — пролепетал оборванец и дрожащей рукой вытащил из-за пазухи клочок бумажки. — «По-ва-ли-шин... Сто-гофф...» — прочитал он по складам.

— Стогов? — изумился лейтенант. — Стогов? Это я. — Флотский ткнул себя в грудь с таким видом, точно хотел убедиться в том, что он — это он.

Как многие тогдашние моряки, Стогов, водивший бриг «Михаил» из Охотска на Камчатку и обратно, считал необходимым сохранять невозмутимость во всех случаях жизни. Однако теперь рот у лейтенанта округлился, а глаза расширились.

— Ну-у-у, — пробормотал он. — Вот так штука... — И спросил по-английски: — Каким ветром занесло вас в Охотск, сэръ? — Но, взглянув на Кокрена, поспешно взял его под руку и повел к себе на квартиру.

Джон проспал день, ночь и еще полдня. Когда он наконец проснулся, выбрился, вымылся и переоделся. Стогов пригласил его к столу.

— О, это длинная история, — отвечал Кокрен на вопрос Стогова о том, как он попал на край света. — Это длинная и печальная история... Если у вас есть время, с удовольствием расскажу.

— Признаться, горю нетерпением.

Кокрен помещивал ложечкой в стакане. В чай был налит ром, запах рома напоминал Джону лучшие времена. На лице его появилась улыбка.

— Однажды в Лондоне, — начал Кокрен, — в обществе моих приятелей-моряков зашел разговор о путешествиях. Толковали о разных случаях и приключениях. К концу вечера было довольно выпито. На столе рядом с нами лежали карты. Эти, знаете ли, великолепные карты, составленные стариком Эрроусмитом. Кто-то, не помню уж кто, развернул одну из них, и, представьте, именно ту, на которой изображены северо-восточная Азия и Аляска. А кто-то при этом заметил, что самый трудный кругосветный путь — путь Европой через Россию и Колыму в Берингов пролив, потом американским берегом от фактории к фактории и домой — в Англию. Разговор оживился, все рассуждали, но находили такое путешествие невозможным. Черт догадал меня объявить, что невозможного нет. Меня поймали на слове, я побился об заклад, что пройду из Лондона в Лондон вокруг земли.

Кокрен взглянул на Стогова.

— Вы, кажется, сомневаетесь? — обиженно спросил капитан, которому после стольких неудач и передряг казалось, что он и впрямь пустился во все тяжкие лишь для того только, чтобы удивить божий мир.

— Нет, нет, — поспешно сказал Стогов, — но согласитесь, поводов для сомнений достаточно. Впрочем, — он добродуш-

но подмигнул, — чего не случается на свете! Особенно, ежели англичанин побьется об заклад.

— Вот именно, — осклабился Кокрен. — Я и сам на другой день страшно досадовал. Но что было делать? Дал слово — исполнить должно. Намерение мое сделалось известным. Я был львом дня.

— Я начал кое-что понимать, — с улыбкой заметил Стогов. — Европа, Петербург — и далее, далее. Но ведь вы сильно отклонились от Берингова пролива? Не так ли?

— Совершенно верно, но и этому есть причина. Под самый Новый год добрался я в Нижне-Колымск, где нашел экспедицию лейтенанта Врангеля.

— Врангеля?! — воскликнул Стогов. — Фердинанда Петровича? Да он мой приятель по корпусу! Что же, однако, он там делает, на этой Колыме? Что за экспедиция? Зачем? Мы в нашем захолустье и не слыхивали.

Кокрен рассказал.

— М-да, — промычал лейтенант, — завидное дело. Впрочем, он достоин. Он, знаете ли, еще в корпусе все об северных экспедициях мечтал. И готовился к ним. Бывало, из бани — прямо в снег ложился, зимой налегке ходил. Да-с, Фердинанд, Фердинанд... — задумчиво повторил Стогов. — Он достоин начальствовать этой важной экспедицией. И она, конечно, принесет ему славу.

— О, господин Врангель — отличный молодой человек, — сказал Кокрен. — Могу заверить, сэр, я не встречал джентльмена более подготовленного для выполнения той задачи, которую ему поручило ваше Адмиралтейство. Я всегда буду помнить этого достойнейшего офицера. Но как бы это все ни было хорошо и приятно, но именно там, на Колыме, меня постигла неудача. Я пробовал сговориться с чукчами, чтобы перебраться в Америку, но ничего не получилось.

— Что же теперь?

— Решил попасть в Петропавловск. Там надеюсь сесть на корабль, отходящий на остров Ситху или в другие русские владения за океаном, на северо-западном берегу Америки. Таков мой замысел, сэр, и я рад, что встретил в Охотске вас.

Наконец-то Стогову стало все ясно. Он уважительно посмотрел на Кокрена: что ни говори, а в отважности ему не откажешь.

— В Петропавловск я доставлю вас на моем бриге. А вот уж далее... — Он задумчиво постучал ножом по тарелке. — Придется дожидаться оказии. — И, положив нож, добавил: — Если вы не утомились, я охотно выслушал бы рассказ о путешествии к нашим берегам. Ведь путь-то долгонек, а?

— Это было, пожалуй, самое ужасное из всего, что я испытал в жизни, — нехотя отозвался Кокрен. — Нигде и ни-

когда я так не страдал. Никогда и нигде! — Кокрен помолчал, потирая ладонью подбородок. — Да-с, дорогой Стогофф, — продолжал он, — вышли мы в путь с одним тунгусом. Питались только тем, что удавалось добыть охотой. А добывали редко и мало. Случалось, по трое-четверо суток ни крошки съестного. Спали в снегу. Проваливался я в такие холодные реки и озера, что ужаснее и вообразить трудно. Тунгус от меня сбежал. Почему? Не знаю. — Кокрен поморщился и махнул рукой. — Ну а теперь я в тепле и комфорте. И все позабыл! — заключил он почти весело.

14

Лейтенант Стогов сдержал слово: бриг привез в Петропавловск английского путешественника.

В Петропавловске лейтенант предложил ему зимовать под одной крышей. Кокрен согласился.

Единственным петропавловским домом, где было вечерами приятно и весело, был дом начальника Камчатской области капитана первого ранга Петра Ивановича Рикорда.

Петр Иванович, старый моряк, близкий друг Головнина, жил на Камчатке вот уже лет шесть-семь вместе с женой своей Людмилой Ивановной.

Забот у Петра Ивановича было немало. Но все они вскоре показались ему «пустыми хлопотами». Завел Петр Иванович полицию, журил исправников, когда замечал буйных во хмелю обывателей, а потом узнал, что и чины полицейские такие запивохи и драчуны, что самое им место в каталажке. Пробовал он облегчить участь камчадалов устройством казенных магазинов с мукой и порохом, да все одно купчишки ухитрялись обдирать туземцев по-прежнему. Сообразил Петр Иванович и лазарет, но лекари истребляли спирт, безбожно объедали больных, и ничего-то Рикорд поделать не мог. А если захаживал он в казармы матросских служителей, то там при всем желании придраться было не к чему.

Людмиле Ивановне тоже жилось скучно. Пробовала она заняться огородничеством и даже, надо сказать, преуспела в этом, да только огородничество не вполне ее занимало. Ждала, ждала она детей, но так и не дождалась. Не обзаведясь собственными чадами, Людмила Ивановна надумала нечто вроде пансиона. Собрала у себя под крылом четырех девочек-подростков; трое из них были дочери местных ремесленников, четвертая, Ксения, — дочь вдового священника Иоанна. Людмила Ивановна звала ее на украинский лад Оксинькой и только диву давалась, за что это господь наградил отца Иоанна такой «найкрайшей дивчиною». И точно, Оксинька, с ее худенькими, еще совсем детскими плечиками, с ее стройными

ножками, наивными яркими глазами и отливающими медью волосами, была хороша, очень хороша.

Пансионерки зубрили французский, музицировали на фортепьяно и наострились славно отделявать менуэты, экосезы, польки и даже вальсы, недавно вошедшие в моду. Словом, Людмила Ивановна так образовала пансионерок, что могла бы вывезти не только в Иркутск, но и на зимние балы в Москву. Но девам приходилось довольствоваться обществом гарнизонных офицеров. Лейтенант Стогов и командир брига «Дионисий» лейтенант Повалишин первенствовали тут так же, как заезжие гвардейские офицеры на московских балах.

Появление английского путешественника вызвало, разумеется, живейшее любопытство. Однако в первый вечер Кокреном завладел Петр Иванович. Он увлек Джона в кабинет, где тот увидел цветные японские гравюры, камчатские акварельные пейзажи и портрет царя Александра, писанный маслом.

Англичанин привычно повторил вранье о пари, о слове джентльмена и о том, что он все-таки выиграет спор. И опять-таки в десятый, наверное, раз он увидел на лице собеседника выражение благодушного сомнения. Потом они беседовали о знакомых Рикорду английских капитанах Фисгарде и Чорче, у которых Петру Ивановичу довелось плавать в молодые лета, поспорили о достоинствах и недостатках непотопляемого бота с воздушными ящиками, изобретенного корабельным мастером Фингамом, похвалили мясные консервы фирмы «Донкин и К°», незаменимые в дальних вояжах, а затем перешли к обсуждению морских карт, которые издавал в Лондоне Эрроусмит, и преимуществ хронометров работы Баррода перед хронометрами мастерской Смита... Короче, беседовали они с тем истинным удовольствием, с каким могут беседовать знатоки своего ремесла. С этого вечера Кокрен стал постоянным гостем капитана первого ранга.

Но прошел месяц, и Рикорд заметил, что гость его все дольше задерживается в зале, где играет фортепьяно и танцуют молодые люди. Петр Иванович не без досады крикнул и попытался перенести беседы в гостиную. Однако и там дело не пошло с прежним согласием. Кокрен отвечал невпопад, однажды даже широту с долготой спутал и вообще был рассеян.

Петр Иванович все понял, перехватив как-то его взгляд, устремленный на Оксиньку. Оксинька отплясывала мазурку со Стоговым. Глаза ее блистали, волосы казались червонными. Петр Иванович покосился на англичанина, теребившего коричневую свою бакенбарду, и сказал иронически:

— Сдается, сэр, вы не обойдете вокруг света.

— Нет, почему же, — смутился Кокрен и поспешно затянулся сигарой.

Рикорд снисходительно усмехнулся: сигара у англичанина давно погасла.

Кокрен понимал, что с ним творится. Нечто подобное случилось года три назад, когда он едва не предложил руку и сердце дочери одного вест-индского плантатора. Но теперь... теперь, черт возьми, все это было куда значительнее. Он не мог отвести глаз от Оксиньки, он испытывал и томление, и волнение, и еще что-то такое, чему, кажется, и названия-то не было.

Кокрен перестал приходить к Рикордам и убивал время в мрачном одиночестве, окутываясь клубами дыма и наливаясь пуншем. Сколько, однако, он ни играл в прятки с самим собою, в дом Рикорда его тянуло неудержимо. Обругав себя болваном, он явился к Петру Ивановичу с повинной головой. А там его приняли как ни в чем не бывало, с прежним радушием.

Зима была долгая и жестокая. Но с того дня, как Оксинька согласилась обучать «смоленую шкуру» мазуркам и экосезам, сумерки и стужа перестали наконец тяготить английского капитана.

Кокрен исправно сидел в гостиной, невпопад отвечал на вопросы Петра Ивановича и старательно, с наивной радостью на лице ходил в экосезе или мазурке с Оксинькой.

Однажды, объятый странным волнением, он протиснулся с хозяевами раньше обычного. Стогов, воротившись домой около полуночи, нашел его в облаках табачного дыма.

— Эразм! — торжественно провозгласил Кокрен. — Эразм! Я намерен жениться.

Стогов расхохотался.

— Что за смех? — сдвинув брови, воскликнул Кокрен.

— Я вспомнил, как ты зовешь женатых моряков.

— Да, я называл их дураками первого ранга, — строгим и серьезным тоном отвечал Кокрен. Он пыхнул дымом и меланхолически закончил: — Придет время, друг мой, и ты тоже станешь дураком первого ранга.

Стогов перестал улыбаться. Он покосился на приятеля и начал деликатно вразумлять его. Дескать, ни сама Оксинька, ни отец ее, ни Рикорды не дадут согласия на этот странный брак. Почему этот брак представлялся ему странным, Стогов объяснить бы затруднился, но только он никак не мог вообразить себе Оксиньку, такую чистую и светлую, такую... такую русскую, женою Кокрена, который хоть и был, по его мнению, неплохим малым, но все же чужаком, залетной птицей. Впрочем, Кокрен и не спрашивал объяснений. Он по-бычьему нагнул голову:

— Иди к Рикорду. Я прошу, Эразм.

Стогов напомнил о лондонском пари, Кокрен отвечал, что готов проиграть спор, если получит такой приз, как неземная, очаровательная, прелестнейшая Оксинька.

— Послушай, Эразм, — заговорил Кокрен несвойственным ему жалобным тоном. — Мы с тобой большие приятели. Не так ли? Ну как же ты можешь отказать мне? Я бы для своего друга все сделал. Все, что хочешь. — Кокрен умолк, внимательно посмотрел на печального Стогова и вдруг улыбнулся проницательно: — О! Я понял! Я все понял... Ты не хочешь терять холостяка друга?

Стогов промолчал. Кокрен погрозил ему пальцем:

— О! Я тебя вижу насквозь, плут! — Капитан поднялся, лицо его приняло выражение клятвенное. — Так знай же, Эразм Стогов, наши отношения останутся прежними. И наши привычки тоже не изменятся. Я обещаю. Ну хочешь, мы даже утренний чай будем по-прежнему пить вдвоем? Я обещаю...

Стогов не мог не улыбнуться. Он пожал плечами и отправился к Рикордам, ничуть не сомневаясь, что встретит решительный отказ. К его изумлению, Петр Иванович и Людмила Ивановна поглядели друг на друга так, словно бы говоря: «Ну вот, видишь...» — и нашли, что их воспитанница будет счастлива, что поистине фортуна необыкновенно добра к Оксиньке, ибо кто же усомнится в том, что одно дело жить в Портсмуте, в Англии, а совсем иное — век вековать в замужестве с каким-нибудь писарем в этом богом забытом Петропавловске.

Родитель же Оксиньки, будучи спрошен Петром Ивановичем, смиренно отвечал, что во всем полагается на господню волю и решение благодетеля и благодетельницы. Но Оксинька воспротивилась:

— Не хочу за Кокрена, хочу за Повалишина!

— Эх мать моя, Повалишин-то твой в Охотске сватается, — храбро соврал Петр Иванович.

Оксинька залилась слезами и ничего не сказала.

Ее молчание было принято за согласие, и все пошло тем стародавним порядком, каким на Руси справляли бессчетные свадьбы.

В Рикордовом доме начались приготовления. Девицы-воспитанницы шили новые платья. Дебелая экономка сердито гремела ключами и вела с барыней обстоятельные переговоры. Камердинер Сосипатыч, отставной матрос, прижившийся при Петре Ивановиче, у которого ему, конечно, было вольготнее, нежели в божедомке, командовал чисткой серебра и ковров, хлопотал, суетился и поминутно терял рожок с нюхательным табаком.

А Стогов ходил грустный. Нет, он не был влюблен в Оксиньку, но ему было жаль ее нестерпимо. Однако Петр Иванович предложил Стогову быть шафером, и Эразм не отказался. Он принялся наставлять Кокрена, как держать себя в церкви.

И вот все было готово. Стогову и второму шаферу, золотушному поручику местной команды, нацепили на рукава пунцовые банты. Кокрен надел стоговский мундир, приладил эполеты и, кажется впервые в жизни, опрыскался духами.

Церковь была неподалеку от дома Рикорда. Дорогу к ней выстлали красным сукном. В сумерках процессия двинулась в церковь.

Хор певчих встретил молодых. Батюшка начал свершать обряд. Все умилились. Когда священник спросил Кокрена, согласен ли он взять в жены Ксению, Джон, позабыв наставления Стогова, забормотал:

— Здравствуйте, благодарствуйте... Здравствуйте, благодарствуйте...

Батюшка проговорил поучение. Все вышли из церкви и направились к дому Рикорда. Горели зеленые и желтые фальшфейеры. Снег хрустел.

Свадьбу сыграли в той самой зале, где Кокрен впервые увидел Оксиньку. Оксинька была растерянна и молчалива. Испуганно и покорно поглядывала она на краснолицего, в каштановых бакенбардах хмельного англичанина. Далеко за полночь дом утих. Все спали по углам, на диванах, в креслах, на перинах, постеленных на полу. Кот и мыши, не мешая друг другу, лакомились объедками.

Поутру гости, хохоча и толкаясь, направились еще раз к молодоженам, чтобы поздравить их. Отворили двери — и замерли, лица у всех вытянулись, никто не произнес ни слова...

Капитан Джон Дондас Кокрен исчез.

15

«Прежде чем приступить к рассказу, два слова к тебе, Яковлев. Если ты до сей поры не получил моего последнего письма, то извести об этом Егора Егоровича, служащего при Московском почтамте. Сверх того, писал я еще отдельно к Пушкину.

Итак, нет недели, как я воротился из довольно трудного и продолжительного путешествия, и вот теперь, расположившись подле яркого огня, начинаю марать лист за листом.

Минувшим летом мне же было поручено осмотреть страны, к северо-востоку от Колымы лежащие.

Отправился я с матросом Нехорошковым и проводниками. Не стану описывать день за днем наше путешествие к берегам Чаунской губы. Скажу только, что августа 13-го достигли мы низменного песчаного берега моря. В тот самый день, оставши от товарищей, я ехал стороной и внезапно наткнулся на медведя, с жадностью терзавшего тюленя. Я хотел ретироваться, но не успел. Медведь оставил свою добычу и с ревом

пошел на меня. Надобно было защищаться. Все мое оружие состояло из охотничьего ножа. Вспомнив поверье (медведи, говорят, боятся пристального взгляда), я слез с лошади и пошел на зверя. Не знаю, чем кончилась бы наша схватка. Полагаю, не в пользу мою. Моя твердая поступь, пристальный взор, обнаженный нож не испугали зверя, с возрастающей яростью ко мне приближавшегося. К счастью, подоспела наша собака, с громким лаем бросилась на него и прогнала уstraшенного неприятеля. Я поспешил завладеть оставленным тюленем и соединиться с товарищами.

Около шести недель мы бродили по пустыням. Холодное время приближалось, и я опасался, как бы не пришлось заканчивать поездку нашу зимним путем, к которому мы не были приготовлены. В довершение всего, когда я справился у проводника, где мы находимся, он после многих оговорок объявил, что сбился с пути. Видя мой гнев, проводник решился идти напрямик через тундру в Колымск.

Дня через три попали мы к реке, которую проводник называл Тауншео. Она была довольно широка и усеяна островами. Плоские холмы, покрытые стелющимся березником, и голые утесы стояли по берегам ее. Мы поехали вверх по реке.

На берегу Тауншео застиг нас первый сильный снег, принесенный северо-западным ветром. Потом снег смешался с дождем. Буря разразилась прежде, чем мы успели разбить палатку и вздуть огонь. Ночью ударил мороз. Промокшее наше платье замерзло. Мы весьма чувствительно страдали от холода.

Нам предстояло перевалить еще и высокий хребет. Между тем атмосфера наполнилась туманом. Мы очутились в глубокой долине. Напрасно смотрели в мрачную бездну, напрасно напрягали взоры — выхода не было... Наконец нашли добрый луг. Лошади наши были довольны. Но мы... Общий и самый подробный осмотр мешков и карманов доставил несколько старых сухарей и немного рыбы. Мы поделили их. Наутро в самом дурном расположении духа и с пустыми желудками продолжили путь.

Продвинувшись верст на тридцать с лишком, мы решили остановиться на ночлег. Разложили костер и по привычке повесили над ним котел, хотя в нем была одна вода. Проводники заплакали и начали обнимать меня, умоляя спасти от гибели. Я молчал. Вдруг Михайло, матрос мой, отзывает меня в сторону и, показывая из-под полы утку, которую он, отстав от нас, случайно подбил камнем, говорит: «Возьми, Федор Федорович, ты сильно устал». Хотя похлебка вышла водянистая, однако же мы все несколько подкрепились одной уткой.

Еще три дня поста при беспрерывных усилиях. Голод делался непереносимым. Замечательны были разные впечатле-

ния, которые такое мучительное чувство производило на всех нас: один молился, другой пел унылые песни, третий кричал, четвертый говорил несвязно. Что делал я сам, предоставлю решать вам, друзья мои...

Без всякой побудительной причины вел я моих товарищей к высокой цепи холмов. Я старался всех утешить, обещая к вечеру достичь реки Анюя. С трудом добрались мы до холмов и вдруг увидели перед собой обширную долину и разбросанные по ней купы деревьев. Как на море после долгого изнурительного плавания крик «Земля! Земля!» возбуждает радость и оживление на корабле, так и здесь вид деревьев подействовал, будто электрический удар, на утомленное общество. «Лес! Лес!» — и мы радостно погнали лошадей: река Анюй и селения юкагиров были недалеко.

Вот так-то, побывав к северо-востоку от Колымы, вернулся я в нашу «столицу» и теперь занят составлением отчетов, которые, будучи представлены в Адмиралтейство, принесут вашему Матюшкину славу, ордена, деньги. «Ой ли?» — скажете вы. А я вам отвечу: «Не об том пекусь, не о сем стараюсь». Писать более не желаю, а только кланяюсь лицейским».

16

Море взламывало льды. На льдине был отряд лейтенанта Врангеля: Матюшкин Федор, Козьмин Прокопий, Нехорошков Михайло, Иванников Савелий, казак Артамонов Иван да четыре упряжки собак.

Они были беспомощны, как при землетрясении. Их окружали море, льды, ночь, хаос. И возникло в памяти Федора: «Поллукс и Кастор тебя нашей мольбой охраняют...» Строка из стихотворения Кюхельбекера, написанного в тот год, когда Федор уходил в «кругосветку».

Поллукс и Кастор? Зачем звезды? Может, затем только, чтобы определить долготу и широту да бросить в полынью бутылку с листком «бутылочной почты» — вестника кораблекрушений и смертей? Сшибались, гремели льдины. Осколки летели картечью...

Удар был оглушителен.

Качнулось небо, встало наискось — Федор ухнул в воду.

Ледяной вал накрыл его. Судорожным движением он вырвался из плотных волн, но тотчас опять погрузился, будто кто-то быстро и крепко потащил его за ноги. Еще раз вынырнул, но уже не до пояса, а только по грудь. И в тот миг увидел, как соскользнули в океан нарты с упряжкой. Но Федор не услышал короткого предсмертного взвизга собак, увлеченных в океан тяжелыми нартами, не услышал потому, что новый ледяной вал прокатился над ним, как лавина...

Режущая боль развалила ему грудь, как топором. И вдруг сквозь свист, шипение, клекот:

— Держи-и-и-и-ись...

На краю льдины лежал Врангель. Штурман и матрос навалились ему на ноги. Врангель протягивал Федору ту длинную, с бубенчиками палку, которая помогала управлять нартами. Федор, словно в снопе света, увидел мокрое и страшное лицо Врангеля. Федор рванулся, казалось, лопнули сухожилия...

Так было в марте 1823 года, когда отряд вновь вышел на поиски Земли Андреева. Это было последнее «препоручение» Адмиралтейства. Остальное они уже совершили: осмотрели Шелагский мыс и развеяли гипотезу англичан о соединении двух материков; положили на карту тридцать пять градусов по долготе — тысячеверстное побережье; изучили огромный бассейн Колымы; собрали коллекции и метеорологические наблюдения. Но Земля Андреева... И вот лежал на льдине полумертвый Федор Матюшкин, лицеист «номер двенадцатый», моряк-«кругосветник». То проступали из мглы, то таяли в ней силуэты Врангеля, Козьмина, матросов. Медленно, как смола, шла кровь в жилах, больно толкалась в пальцах рук и ног.

Врангель принял отчаянное решение. У путников остались три нарты и три упряжки. На одни нарты уложили Федора. Михайло сел рядом. Все нарты поставили вровень. Собаки дрожали и поводили ушами. И вдруг страшно гаркнул казак Артамонов, и упряжки разом, сильным броском взяли с места. Мчались нарты, гикал казак Артамонов, кричали Врангель с Козьминым и Михайло с Савелием, гикали и кричали, точно хотели заглушить стук своих сердец, грохот льдов, шорох, всплески.

Льдины не поспевали разомкнуться под тяжестью упряжек. Наконец очутились на неподвижной ледяной равнине.

Казаки сварили похлебку; загасив костерок, подобрали угли.

Отряд расположился на ночлег.

И только штурман, только не знающий устали штурман Козьмин, принялся долбить лед: ему надо было измерить глубину, взять пробу грунта.

Федор разлепил веки, посмотрел на штурмана с изумлением, подумал, что Прокопий Тарасович, должно быть, и впрямь двужильный, и тотчас забылся сном.

Во сне Федор смутно ощущал, как возвращается к нему тепло, как все тело его наливается приятной истомой, и так же смутно почувствовал, как кто-то неторопливо, методически и упрямо растирает ему ноги, руки, грудь, бока.

Утром Врангель записал в дневнике: «Ночь прошла спокойной». И, пряча карандаш, не глядя на Матюшкина, спросил:

— Как, Федор? — Он впервые называл Матюшкина по имени.

И Матюшкин понял: от его ответа зависит, продолжит ли отряд поиски Земли Андреева или повернет к Нижне-Колымску.

Врангель улыбнулся краешком сухих, растрескавшихся губ. И Федор понял еще и то, что это он, Врангель, растирал его всю ночь напролет.

— Держи мористее, Фердинанд, — ответил Матюшкин, тоже впервые называя Врангеля по имени.

Полчаса спустя отряд был в пути.

Вновь обходил он широкие польньи, где зловеще всплескивала тяжелая, плотная студеная вода. Вновь пробивался сквозь торосы, вяз в рыхлом глубоком снегу.

А на северо-востоке трепетали сполохи, призрачные, таинственные, как и та земля, которую отыскивал отряд...

Может быть, сержант Степан Андреев, геодезист екатерининских времен, видел огромный айсберг?

Быть может, ходил он не к северо-востоку от Медвежьих островов, как полагали в Адмиралтействе, а на северо-запад и тогда действительно «усмотрел в великой удаленности» какую-то неведомую землю?

Но на северо-западе от Медвежьих островов Врангелю и его товарищам делать было нечего: в 1806 году там был открыт остров, окрещенный Новой Сибирью.

ПОД СЕНЬЮ ПАРУСОВ

1

Какой-то сановник прибыл на станцию в деревне Липня одновременно с Федором и забрал всех лошадей. Раздосадованный задержкой, а пуще того разыгравшимся ревматизмом, Федор молча ходил по горнице. Молодой смотритель читал книгу. Матрос Нехорошков латал в уголку мундир.

Протекло уже полгода, как Федор покинул Нижне-Колымск; Врангель с Козьминым остались завершать хозяйственные дела экспедиции, да уж и они, наверно, были на дороге в Москву.

Отворилась дверь, потянуло январским холодом, в горницу вошел человек в длинной дорожной дохе с башлыком.

— А-а, Петр Алексеевич... — приветливо сказал смотритель, поднимаясь со стула. — Милости просим.

Вошедший поздоровался со смотрителем, поклонился Матюшкину, сбросил доху, потом снял шинель. Это был офицер конвойной команды. Смотритель крикнул, чтобы подали самовар, спросил:

— С партией, Петр Алексеевич?

Офицер, обтирая усы, благодушно отвечал, что идет с партией, но в Липне останавливаться не станет, чтобы засветло прийти в Дмитриевское да там и заночевать.

— И большая партия? — спросил смотритель, принимая у бабы самовар и устанавливая его перед офицером.

— Самая, сударь, обыкновенная: около двухсот душ... Нда-с, без чайку в дорожке — что свадьба без гармоника, — прибавил он, обращаясь к Матюшкину с нецеремонной простотой человека, привычного к мимолетным дорожным знакомствам. — А вы что же... Не знаю, как величать.

Матюшкин назвалса и поблагодарил. «Партия, — подумал Федор. — Арестантов ведут». Он вспомнил новые, пахнувшие смолой тыны у Сибирского тракта: тракт обстраивали этапными тюрьмами.

Федор накинул полушубок и вышел за ворота станционного двора. Арестантов нигде не было видно: офицер приехал в санях, партия, очевидно, двигалась следом. Но на деревенской «середке» уже толпились бабы, ребятишки, мужики.

И вдруг Федор услышал звон. Он нарастал, близился, переходя в тяжелый, пугающий гул. Забрехавшие было собаки смолкли.

Арестанты шли медленно. На руках и ногах гремели цепи: протяжно и ржavo — ножные железа, с окаянным «дилим-дилим» — кандалы ручные. Войдя в деревню, арестанты запели. Начали первые ряды, высокими голосами:

Мы сидим во неволюшке,
Во неволюшке, тюрьме каменной...

И хриплым рокотом прокатили остальные:

За решетками за железными,
За замками за висячими...
За дверями за дубовыми...

От Бутырского тюремного замка до сибирских каторжных мест певали эту песню арестантские партии, подходя к деревням и селам, посадкам и городкам. Как в громе и звоне цепей, так и в песне этой была страшная, цепенящая душу тоска. Но когда вслед за жалостным «распростились мы с отцом, матерью» раздавалось с грозной отрешенностью «со всем родом своим, племенем» — слышались в песне не одна тоска, но и укор кому-то и забубенная отвага.

Шла по деревне партия, пела «Милосердную», принимала крестьянское подаяние, видела в бабьих глазах слезу, в мужичьих — сумрак.

В первых рядах шли ссыльно-каторжные в ручных и ножных кандалах. За ними — ссыльно-поселенцы без ножных оков, но на одной цепи четверо в ряд. За мужчинами — женщины, и тоже скованные по рукам. Шли бунтари-крепостные, солдаты-утеклецы из военных поселений, шли бродяги и воры, заеденные нищетой и вшами. А рядом шагали солдаты-караульщики, кто с ружьем наперевес, кто с ружьем на плече, и у всех — вислый, седой от инея ус, и у всех — тупая скука на дубленых лицах.

Федор сунул было руку в карман за деньгами, но тут из арестантской колонны кинули с веселой отчаянностью:

— Эй, б-а-арин бестолковой, подай целковой!

Федор вспыхнул, отдернул руку...

Арестанты вытягивались за околицу. Ребятишки не бежали за ними следом, как бегали они за солдатским строем. Гул кандалный стихал. И стихало в снежном дыму:

Должны мы вечно бога молить,
Что не забыли вы нас,
Бедных, несчастных невольников...

Показался, запахивая доху, конвойный офицер. Морщинистое лицо его было потное и красное. Солдатик подкатил к воротам на легких саночках.

— Счастливого пути, господин мичман, — приветливо сказал офицер, усаживаясь в саночки.

Федор молча наклонил голову. Офицер, закидывая ноги сеном, махнул рукой в сторону ушедшей партии и добродушно прибавил:

— Ихнее дело-с бежать, наше дело держать... Трогай! — И еще раз махнул рукою.

Вскоре уехал из деревни Липня и Федор Матюшкин.

Потемки колдовали. Придорожный куст глядел медведем, верстовой столб подступал разбойником, и склонялся лес, будто хотел накрыть кибитку темной своей, глухой массой, а дальняя церковь поворачивалась и погружалась в снежные волны, словно фрегат, терпящий бедствие.

Катился возок хорошо наезженным Владимирским трактом. Похрапывал матрос Михайло, нахлобучив на самые брови лисий малахай, подаренный ему Федором в Иркутске. А Федор все думал и думал об этих людях, что шли в сибирскую сторону под окаянный звон кандалов, под командой пожилого офицера, страшного в своем добродушии...

«Острог и кнут — отечественные звуки». Кто сказал это? Кажется, Пушкин. Свирепая жизнь: «Ихнее дело-с бежать, наше дело держать».

2

Москва — это Марьиная роща и Екатерининский институт, куда матушка, воспитательница благородных девиц, иногда приводила его. Москва — это день бабьего лета, когда над гробом отставного надворного советника Федора Ивановича Матюшкина пели «Приидите вси любящие мя и целуйте мя последним целованием». Москва — это и Газетный переулочек с его Университетским пансионом, где Федя начинал ученье, и книжная лавка во дворе пансиона, и шумные толки о Бонапарте, о позоре Тильзитского мира и о многом ином, тогда непонятном...

Федор помнил допожарную Москву, как помнили ее Пушкин, Яковлев, Вольховский, Данзас, все восемь отроков, отвезенные в 1811 году в Петербург и оттуда в Царское Село.

Отправляясь в Сибирь, он прожил у маменьки в доме Сорокина, что против Екатерининского института, несколько дней. И вот теперь, на двадцать пятом году жизни, обожженный полярными ветрами, измученный ревматизмом, с первыми тонкими и острыми морщинками у глаз, он вновь был в Москве.

Анна Богдановна охнула и припала к нему на грудь. Матрос Михайло с чемоданами в дверях засопел и отвернулся.

В Сибири, мечтая о Москве, Федор был уверен, что хотя бы начальные дни своего отпуска неотлучно просидит в ма-тушкиных комнатах с низкими потолками, со старинной мебелью и вылинявшими обоями. Но едва он очутился в Москве, едва умылся, переоделся, напился чаю с кренделями, как тотчас потянуло его вон из дому. Но он не решался встать из-за стола, надеть шинель и дать тягу.

Было уже поздно, и старушка начала зевать, когда Федор послал матроса с запиской в один из переулков близ Чистых прудов.

Семь лет минуло, как разлетелись птенцы Лицея. Далеко разошлись их дороги. Переписывались они мало и редко. Но один из прежних однокашников, Михаил Лукьянович Яковлев, держал в руках незримые нити, соединявшие дружеский круг. И старые однокашники величали его «лицейским старостой», а он называл свою квартиру «лицейским подворьем».

Яковлев был весельчак и балагур. Он умел подмечать смешное и представлять комические сценки, глядя на которые все хохотали и никто не обижался. Кроме того, был Яковлев музыкантом, пелал и пивал он весьма недурно.

Вот к этому-то Яковлеву и пришел поздним вечером матрос с запиской Федора. Полчаса спустя Яковлев обнимал Федора. Час спустя он мчал его в «лицейское подворье». А с Арбата летели туда же в одних санях Иван Пущин с Вильгельмом Кюхельбекером: Яковлев известил их о прибытии «пустынника Федыки».

Захлопали пробки. Радость и вино ударили в головы. Яковлев принялся лицедействовать. Он вышагивал наставником-иезуитом Пилецким: носатое, губастое, толстобровое лицо Яковлева непостижимым образом сделалось лисьим. Потом он прошелся с каким-то особенным изяществом, исполненным достоинства и скромности, потер лоб, скрестил руки на груди, проговорил с доброй улыбкой: «Ай да Матюшкин! Ай да Лицея!» — и все увидели не Яковлева, а директора лицейского Егора Антоновича. Засим «староста» присел к столу, опер голову на руки, возвел мечтательный взор к потолку и... обратился в Дельвига, погруженного в поэтические грезы. Изобразив Дельвига, он неожиданно вприскочку подлетел к Кюхельбекеру, ухватил его под мышки, проговорил: «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее», — и, отпрянув, рассмеялся быстро, громко, гортанно, и все тотчас увидели Пушкина.

У Яковлева в запасе было двести комических сценок, но уже после третьей Пущин съехал с кресел, Федор отирал веселую слезу, а Кюхля, мотаясь из стороны в сторону, молил: — Будет... Помилуй... Мишель, братец, прошу...

Потом они ужинали и дурачились так, словно все еще

были мальчуганами в темно-синих однобортных мундирчиках с красными стоячими воротниками.

Около полуночи Кюхля вдруг вспомнил, что его ждет князь Одоевский, с которым они издавали альманах «Мнемозина». Вильгельм вскочил, едва не опрокинув тарелку и бокал, чмокнул Федора в висок, взял с него обещание увидеться завтра же и исчез. А «староста» Яковлев вскоре осовел, повалился на диван и захрапел, сладостно причмокивая во сне толстыми губами.

Федор остался с Пуциным.

После Лицея Иван был определен в гвардию. В гвардейцах, однако, ходил он недолго, подал в отставку и перебрался из Петербурга в Москву. В Москве Пущин служил судьей московского надворного округа.

При слове «судья» Матюшкин поморщился. Жанно усмехнулся.

— Надо, — сказал он, — вносить дух справедливости там, где можешь.

— А люди говорят: «Где суд, там и неправда».

— Вот то-то и оно. Я и стараюсь, чтобы правда торжествовала.

— И торжествует? — не без иронии спросил Федор. Он вспомнил толпу арестантов, пахнувшие свежей смолой этапные остроги.

Пущин насупился. Помолчав, он заговорил о том, о чем Федор часто размышлял наедине: о деспотизме царей, о лихоимстве чиновничества, о неуважении к человеческой личности.

— Все это так, Жанно, — согласился Матюшкин. — И не только в России, но под другими небесами тоже.

— Не спорю, — сказал Пущин. — Однако пока ты был на краю света, дух преобразования промчался над Европой.

Он заходил вперевалячку по комнате. Федор следил за ним. Пущин говорил о мятежах в Испании и в Италии, о восстании греков против поработителей-турок.

— Ты видишь? — И он широко повел рукою.

— Вижу, — угрюмо отозвался Матюшкин. — А русские проливали кровь за свободу Европы, сами ж теперь сидят, как медведь на цепи.

— Не все, не все, — молвил Пущин и взглянул на Федора своими светлыми спокойными глазами.

И Федора осенило. Но Пущин уже опять пошел вперевалячку по комнате. Федор нагнал его в два шага, навалился на спину, обнимая за плечи, обжег ухо:

— Да? Да? Жанно!

Пущин освободился от объятий, повернулся всем корпусом, негромко и требовательно произнес:

— Ты должен дать честное слово.

Пушин ждал клятвенного обещания. И Матюшкин, отступив на шаг, тихо ответил:

— Клянусь. Честью клянусь.

— Нигде, никогда, никому ни при каких обстоятельствах ни полслова, — тем же негромким и требовательным голосом произнес Пушин.

— Нигде и никому, — повторил Матюшкин.

В эту ночь мичман Федор Матюшкин узнал о существовании Тайного общества, которое поставило своей целью изменение существующего в Российской империи порядка. И в эту же ночь Иван Пушин условился с Матюшкиным, что, будучи в Петербурге, Федор явится к людям, имена которых Жанно назовет ему перед отъездом.

Они разошлись утром.

В блеске солнца, в синеве пришел день, холодный и крепкий, как яблоко. На Мясницкой Федор спугнул воробьев, они треснули крыльями, как картежник колодой, а Федор улыбнулся во весь рот. Молодайка в полушубке (на щеке — маковый цвет, а в косящем на Федора черном глазу — бесовские искры) плыла с коромыслом на плече, покачивала бедрами. Федор подмигнул, молодая, поведя плечами, плеснула водой, рассмеялась звонко и счастливо.

Какое утро, какое утро! И эти сизые дымки над кровлями, и этот глухой, дробный стук снежных комьев о передок легких саней, и ранние прохожие, на лицах которых еще лежит тень сладкого сна.

3

Петербург... В этом имени были иной вкус и запах, нежели в имени «Москва». Город держался прямо, как полк на плац-параде. Но в Петербурге была Нева. Не дворцы и не площади, не караульные будки и не казармы, но река Нева придавала городу властный вид.

Лед сошел недавно, вода отливала вороновым крылом. За рыхлыми тучами едва дышало солнце. На Адмиралтейской верфи ухал молот. Было просторно и холодно.

У Матюшкина в кармане сюртука лежало письмо Пушина к Рылееву. Жанно просил Кондратия Федоровича жаловать моряка — «моего старинного однокашника, товарища и единомышленника». До Рылеева было рукой подать: он жил там, где и служил, — в доме Российско-Американской компании, что у Синего моста, на Мойке.

Федор пошел по набережной. Он увидел памятник Петру. Позади высился недостроенный Исаакий. Справа начиналась узенькая и прямая Галерная улица. Федор устыдился: «Боже мой! Второй день в Питере, а до сих пор...»

Он вошел в Галерную. Во флигеле, заслоненном большим домом, жил Головнин. Федор дернул звонок. Дверь отворил матрос-денщик — высокий, седой, с карими глазами.

— Здорово, Лука! — радостно воскликнул Федор.

— Здравия желаем, ваше благородие! — отвечал матрос с некоторым недоумением.

— Ты что ж, старина, Матюшкина не узнал?

— Прости, господи! — заулыбался Лука. — Как не признать, господин мичман, как не признать! Проходи, батюшка... Дома-с, дома-с, проходи. Позвольте шинель.

Головнин обнял Федора. Подобно многим старым морякам, капитан-командор обычно держался с угрюмой вежливостью. Но когда он встречал кого-нибудь из бывших подчиненных, ходивших с ним на «Диане» или на «Камчатке», то светлел.

Обнимая Федора и подводя его к креслу, он твердил не то себе, не то мичману:

— Ну, ну, будет... Садись, будет...

Они сели.

— Ну-с, вот ты и воротился. Хорошо, слава богу. А мы тут, брат, воюем...

— С кем же, Василий Михалыч?

— С кем? — Головнин грустно усмехнулся. — С ветряными мельницами. Одначе не воевать не можем. — Он нарочито говорил о себе в третьем лице. — Не можем... А ты Врангеля видел?

— Он здесь? Нет, не видел.

— Здесь, брат, здесь. Вечор заглядывал. Сидит на Васильевском, корпит над журналами. И ему спасибо, и тебе, и Козьмину. Спасибо. Ты вот, кажись, и не мыслишь, что свершил знатное дело. Не для одной России — для всего ученого света.

— А награды?

— Награда там. — Головнин сердито ткнул пальцем вверх. — Впрочем, что ж... Фердинанда, слышал, капитан-лейтенантом сделают, эполеты с висюльками наденет. И по праву, по заслугам. Да и Владимиром, говорят, обрадуют. Ну-с, тебя в лейтенанты. Анну на шею. Мало? Они там... — Головнин иронически показал рукой куда-то поверху головы и назад, что, видимо, означало в Адмиралтействе, а может, и в Зимнем, — они там полагают вашу экспедицию адской, чертовски тяжелой. Что ж до наград, то для сего, милостивый государь мой, надо не флоту и не науке служить, а на императорской яхте ножкой шаркать. Понятно-с? Ну, то-то.

Федору был приятен сердитый Головнин. Матюшкин еще в Москве прослышал, что особых милостей за трехлетние скитания ждуть нечего. Федор был этим задет, обижен, огорчен, а теперь испытывал благодарность к Головнину за то, что тот тоже обижен и задет.

— Об императорской яхте не думаю, Василий Михалыч, — заметил Федор.

— Не думай, так-то лучше... А деньги есть? Я, правда, вашему брату мичману не одалживаю, но тебе бы ссудил.

— Благодарствуйте, Василий Михалыч, есть покамест.

— И то хорошо. Дальше что ж? По лавкам да по трактирам потаскаешься, а засим налегке, ветром подбитый — марш в Кронштадт. Дело известное.

— Для меня теперь Кронштадт что Париж — само веселье, жизнь сама.

— Веселье, жизнь, Париж... — проворчал Головнин. — Ты, брат, не дурак, а коли не дурак, то в Кронштадте не больно весел будешь.

— Отчего же?

— Оттого... Царь Петр заложил крепость для флота. Флот вывел на море, чтоб охранял подступы к столице, ко всему государству. А флот... флот нынешний в упадке. Да-с!

Матюшкин вопросительно глянул на капитан-командора:

— Как же, Василий Михалыч? Не мне, разумеется, спорить с вами, но... Ведь и вокруг света ходим, и в практические плаванья...

Головнин сдвинул щетинистые брови.

— Люди! — выкрикнул он. — На людях все держится. И лохань поплывет с нашим матросом. Ан и люди не без дна и покрышки. Эх, Федор Федорыч... Флот-то наш в самом бедственном положении. Кругом воры, бесстыдные, жадные... Рыба с головы гниет. Был у нас маркиз де Траверсе. Русский морской министр — маркиз де Траверсе! Ха-ха!.. Ну, тот хоть не так крал. А вот нынче «вождь морской» господин фон Моллер! Батюшки светы!.. — Он помолчал и прибавил: — А государю об этом ведомо.

— И что же?

— Государь? «Мой флот у них в кармане». Остро, нечего сказать: дескать, разворовали мой флот господа хорошие. А хуже того, что внемлет ослам, которые твердят: Россия суть страна сухопутная, флот ей не нужен, в тягость ей флот.

Он в сердцах отбросил кресло, отошел к окну, встал спиной к Федору. Потом обернулся, взял со стола листы бумаги.

— Вот слушай, брат, что я тут господам адмиралтейским... — Он прочел медленно: — «О злоупотреблениях, в Морском ведомстве существующих». — Пожевал губами и отложил бумагу. — Целый трактат, батюшка, о различных ступенях и хищении казенного имущества. Начинаю с параграфа о воровстве, неизбежном при нынешнем правлении, кончаю параграфом о злоупотреблениях тонких, то есть обдуманых и в систему приведенных. То-то взвоют! — злорадно заключил он и погрозил кому-то кулаком.

— Взвоят, Василий Михалыч, непременно взвоят. — Матюшкин улыбался.

— А недавно, братец, — продолжал Головнин, садясь в кресло, — такая история приключилась. Вздумал я составить описание достопримечательных кораблекрушений. Описать захотел многие несчастные случаи на морях, разобрать причины. Ну, составил, выдал в свет. Не встречал? Нет? Э, где там, на Колыме-то... Выдал, стало быть, в свет. И-и, милый ты мой, что тут поднялось! Головнин, кричат, клеветник! Головнин, кричат, императорский флот срамит! Не все, понятно, закудахтали. Многие поняли, что о пользе моряков радею, чтоб чужие несчастья наукой были. Правда? Ну вот. А закричали, на ком шапка горит. А как происшествия я описывал сравнительно давние, то виновниками, видишь ли, оказались те, что ныне в больших чинах ходят. — Головнин потыкал указательным пальцем в плечо. — С мухами на эполетах. Сам Александр Семеныч Шишков на дыбки поднялся. Так и так, шамкает, много-де у Головнина насчет высших чинов поносного, так и так, мол, подобные сатиры не научают, а токмо оскорбляют...

В кабинет заглянул Лука:

— Кушать подано.

— Иду, — откликнулся Головнин. — Скажи барыне, у нас гость. — И, обернувшись к Федору, прибавил с шутливой строгостью: — Господин мичман, извольте отобедать с капитан-командором.

— Слушаюсь, — отвечал Матюшкин. — С великим удовольствием.

Они прошли в столовую. Федор был представлен Евдокии Степановне, молодой, лет двадцати пяти, женщине, светловолосой, полной, приветливой.

За обедом разговорились об общих знакомых.

— Рикорда Петра Ивановича помнишь? — спросил Головнин, повязывая салфетку.

Матюшкин отвечал, что, дескать, отлично помнит те добрые деньки, когда шлюп «Камчатка» пришел в Петропавловск и все офицеры так хорошо были приняты в доме капитана первого ранга Рикорда.

— Вот-вот... — Головнин налил водку, рюмки запотели. — Так он теперь в Кронштадте командиром двадцать второго экипажа. И Людмила Ивановна с ним, разумеется. Твое здоровье, сударь.

Они чокнулись.

— Вот бы его-то, Петра Ивановича, в командиры Кронштадта, — продолжал Головнин, тронув губы салфеткой.

— А сейчас кто? — справился Федор.

— Моллер. Братец родной «верховного вождя» нашего. Вор из воров, да за братниной спиной как у Христа за пазухой.

Но есть, видишь ли, у меня надежда пристроить Петра Ивановича в командиры порта. Ну-с, прошу.

Матюшкин хотел было сказать тост, Головнин остановил его.

— Полноте. По английскому флотскому обыкновению, немые рюмки. Тосты — это, брат, вранье.

Федор улыбаясь поклонился Евдокии Степановне.

— Благодарю вас, — радушно отвечала она, — у Василия Михайловича на все непреложные правила. Не дом, а корабль.

— А на корабле, сударушка, — вставил Головнин с поддельной суровостью, — капитану не перечат.

Все рассмеялись.

— Да, вот, еще, послушай-ка! — продолжал Головнин, принимаясь за суп. — Помнишь, в Петропавловске был у Рикордши вроде как пансион?

— Как же, помню, — отвечал Матюшкин. — Такие милые девочки. Очень обрадовались, когда мы им фортепьяно привезли.

— Вот-вот. Так одну из тех девиц, представь, за англичанина выдали...

— За англичанина? На Камчатке? — удивился Матюшкин. И едва не уронил ложку. — Капитан Джон Кокрен? Чудеса!

— Ты что, знаком? — в свою очередь удивился Василий Михайлович.

Федор рассказал о приезде Кокрена в Нижне-Колымск.

— Ага! Так, так... А теперь послушай, что дальше-то было... — Головнин смешливо сморщился.

— Да уж будет, Василий Михайлович, — укоризненно сказала Евдокия Степановна.

— Э, чего там... Слушай, Федор. Вообрази, сыграли свадьбу. Приходят наутро поздравить, глядь... одна молодая... Это мне все Петр Иванович доподлинно сообщил... Натурально, полнейший конфуз. Туда-сюда, кинулись искать британца. Нет и нет. Ах ты господи! Нету, как в омут канул. Наконец нашли. Сидит у приятеля своего, нашего флотского офицера. Как его бишь... Стогов, что ли... Сидит. Все к нему: что случилось? А Стогов и объяснил: оказывается, проснулся англичанин да и вспомнил, что клялся приятелю не менять привычек. Как же, думает, чай-то пить? Решил идти немедленно, а двери заперты. Он тогда, долго не мешкая, сиганул в одном исподнем через окно да так по снежку, по снежку к этому самому... как его, бишь... Стогову. — Головнин смеясь откинулся от стола. — Настоящий джентльмен, черт побери!

У Евдокии Степановны раскраснелись щеки. Матюшкин хохотал.

— Зато теперь, — успокоившись, проговорил Головнин, — теперь, говорят, он от нее ни на шаг.

— Да где же они? — спросил Федор.

Оказалось, Кокрен с женой приехал в Петербург вместе с Рикордами. Рикорды поселились в Кронштадте, а Кокрены в Питере, на Васильевском острове, ждут открытия навигации, чтобы плыть в Англию.

4

На столе — графин водки, кочан кислой капусты, ржаной хлеб. В комнате полно офицеров и штатских. Дым, говор, смех. Федор растерянно огляделся.

— Ба! Ужели? — С кресел поднялся белокурой толстяк.

— Дельвиг!

Они облобызались.

— Однако, Антон, где ж хозяин?

Дельвиг повел голубыми глазами:

— Кондратий Федорович, позволь представить...

Матюшкин увидел Рылеева, худощавого, с несколько выдвинутой нижней челюстью, с подвитыми узенькими бакенбардами. Рылеев коротко поклонился Федору.

— Наш, лицейский, — сказал Дельвиг, похлопывая Федора по плечу пухлой ладошкой. — Моряк и сибирский ски-талец.

— Рад... Очень рад, — отрывисто ответил Рылеев.

Матюшкин протянул ему записку Пушкина. Кондратий Федорович пробежал записку, глаза его засветились.

— А... Милости прошу! Надо переговорить непременно. Не уходите, я сейчас. — Он отошел к какому-то офицеру, обернулся и еще раз громко сказал: — Федор Федорович, простите, сейчас...

— Послушай, что за клоб? — полюбопытствовал Матюшкин, усаживаясь рядом с Дельвигом.

Дельвиг развалился в кресле. Федор взглянул на него с любовью: «Ах ленивец...»

Дельвиг благодушно сказал:

— Русским завтраком зовется. У Рылеева собираются чуть не каждый день. Политики, экономы, брат. И я захаживаю, хоть и не политик и не эконом. Хорошо, знаешь, без чинов и церемоний, славно. — Дельвиг поглядел в сторону и окликнул молодого человека с рюмкой в руках: — Эй, Левушка, милый друг!

Тот опрокинул рюмку и бойко подошел, отирая рот платком.

— Меньшой Пушкин, — ласково сказал Дельвиг Федору, беря Левушку за руку и притягивая к себе. — А это, Лев, давний приятель Александра, приятель мой и многих лицейских: Федор Федорович Матюшкин.

Левушка улыбнулся и неожиданно чмокнул Федора в щеку.

— Приказание старшего брата, — весело сказал он. — Получил письмо, велено: «поцалуй Матюшкина».

— Спасибо! — обрадовался Федор. — Давно получили? Что пишет? Здоров? Я-то ему, бесу, из Москвы писал, так нет, не ответил, хорошо еще, через князя Вяземского передал: скажиде Матюшкину, что письмо его получил и буду отвечать непременно. Да где там... — Матюшкин рассмеялся. — Делать нечего, я утешился «Бахчисараем».

Дельвиг зажмурился, декламируя:

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.

И повторил, уставив на Федора медленные голубые глаза:

— «Как рыба в ясной глубине на мраморном ходила дне». —

И завистливо вздохнул...

— Послушайте, Лев Сергеевич, что Александр? — спросил Федор.

Но Левушка уже нетерпеливо посматривал на какого-то гвардейца, вошедшего в комнату, на ходу весело и фамильярно раскланиваясь со всеми.

— Александр? — рассеянно переспросил Левушка. — Известно: марает «Онегина», стреляет в цель, обедает в долг у Отона да волочится за одесскими красавицами. — И, сообщив это, он кивнул Матюшкину и поспешил к чернявому гвардейцу.

Матюшкин и Дельвиг переглянулись улыбаясь и заговорили об Александре, об его ссылке на юг, о том, когда же, наконец, кончится опала. Начались воспоминания, Матюшкин забыл о Рылееве.

Но Рылеев о нем не позабыл. Пущин в записке называл Матюшкина «единомышленник»; Дельвиг сказал о нем «сибирский скиталец». Единомышленниками Пушкина Кондратий Федорович дорожил: они были и его духовными братьями. А знатоки Сибири были ему необходимы: герой новой поэмы, над которой трудился Рылеев, был сибирским изгнанником.

Рылеев отнял Матюшкина у Дельвига, увел в кабинет. В кабинете Рылеев залпом выпил сахарной воды с лимоном.

— Надымили... От табаку горло дерет.

Он посмотрел на доску, обтянутую холстом, заваленную книгами и бумагами. Над доской тянулась проволока, к ней

был подвешен подсвечник со свечой. Рылеев любил работать стоя; он двигался вдоль доски, от книги к книге, от листа к листу, а подсвечник, привязанный шнурком за пояс хозяина, тянулся следом.

— Те-те-те, — пробормотал Рылеев и хитро глянул на Матюшкина. — Те-те-те... — Он рылся в книгах. — Господин «М» сибирский путешественник?

Рылеев извлек изящный, только что изданный в Москве Кюхельбекером и Одоевским альманах «Мнемозина», перелистал и, заложив пальцем какую-то страницу, приблизился к Матюшкину.

— Признайтесь, Федор Федорович, ваше?

Матюшкин уже догадался: Кюхля, не спросив Федора, тиснул отрывок из одного сибирского письма и выставил в конце литеру «М».

— Видите ли, — проямлил мичман, — это все Вильгельм Карпович, помимо моей воли. Если б не лицейский, не товарищ, я, право, рассердился бы...

— Отчего же? — воскликнул Рылеев. — Отрывок очень хорош! Ей-богу... Я вот намерен печатно хвалить «Мнемозину». Ваш отрывок очень хорош. Кто у нас знает Сибирь? Кто знает племя юкагиров? А вы рассказали кратко и живо. — Он заглянул в журнал. — На четырех страницах столь много нового, занимательного...

Федор смутился. Никто еще так не хвалил его. Правда, Кюхля, читая колымские письма-тетрадки, замечал на полях: «Хорошо!», «Чрезвычайно хорошо!», «Живописно!» и прочее. Но Виля был свой, друг давний и задушевный, как Жанно Пуцин, как Александр, и ежели Виля хвалил, то это воспринималось совсем иначе, чем похвала едва знакомого поэта, издателя «Полярной звезды».

Рылеев улыбнулся, отложил «Мнемозину», спросил у Федора, что он намерен делать далее; услышав про Кронштадт, отвечал значительным «о-о!» и присел на стул.

— Вот об этом-то и надо потолковать, Федор Федорович. Я короток с некоторыми из вашей морской братии. Но они все здесь, в Гвардейском экипаже. А Кронштадт забывать не должно. Помните остров Лион при восстании гишпанцев? Да, так вот, нам Кронштадт забывать не должно. — Рылеев налег на слово «нам», и Федор понял: «нам» — значит Тайному обществу. — Среди здешних моряков-гвардейцев наших немало, и я, Федор Федорович, не вижу резону, почему бы не найти истинных сынов отечества и в Кронштадтской крепости. Надо искать. Надо подготавливать, чтобы в урочный час опереться и на них...

— Да, — ответил Федор, с некоторой оторопью думая о том, что отныне он переходит от тайных дум к тайному делу.

Отпуск заканчивался. Федор таскался по лавкам, обновляя гардероб, обзаводясь кое-какой утварью для холостого кронштадтского житья-бытья. Обедал он в гостинице «Лондон», как и полагалось мичману, был щедр на чаевые. Бывал у Василия Михайловича, с удовольствием слушал его язвительные речи, принес ему как-то списки с запрещенных стихов Пушкина. Наведывался к Врангелю, помогал составлять экспедиционный отчет, чертил вместе со штурманом Козьминым планы местностей, карты. Ночевал где придется, чаще всего в квартире братьев Беляевых, мичманов-гвардейцев, у которых пировали за полночь и пели под гитару:

Ах, скоро ль кончится терпенье
И долго ль будем в рабстве жить,
Свободы нашей похищенье,
Ах, долго ль будем мы сносить?

Часто навещал Федор и дом у Синего моста. Вновь и вновь возникала у них с Рылеевым беседа о кронштадтцах. Или Кондратий Федорович выпрашивал Федора про Сибирь. Рылеев писал «Войнаровского» — ему нужна была «картина земли изгнания».

А однажды в хлопотливый питерский день на Большой Морской:

— Good day, old chap!¹

— С кем имею честь?

Едва спросил, как узнал: Кокрен. Да, собственной персоной Джон Дондас Кокрен, капитан королевского флота, путешественник. Кокрен обрадовался Федору. Что там ни говори, а познакомились не в гостиной. Обоим привиделись на миг бесконечные снега, голодный ворон на старой церквушке. А теперь вот Петербург, многолюдство, экипажи. И оба живы-здоровы.

В тот же вечер Матюшкин отправился в Первую линию Васильевского острова. Дом стоял в глубине двора. Двор был темный и тесный; с железного навеса у дверей тянулись дождевые струйки.

Кокрен любезно помог Федору стащить сырую шинель. В прихожей Матюшкин увидел еще одну темно-зеленую флотскую шинель, вопросительно взглянул на хозяина.

— Господин Врангель, — объяснил Кокрен и повел Федора в комнаты.

Федор услышал фортепьяно. То была соната Вебера, грустная и светлая, и Федор вообразил: играет женщина черново-

¹ Здравствуйте, старина! (англ.)

лосая, с очами темными и печальными. «Такая, непременно такая», — подумал он и увидел Оксиньку, Ксению Ивановну; увидев, кланяясь и целуя руку, ошеломленно подумал: «Нет, такая, только такая». А Кокрен уже усаживал его на диван, и Врангель кивал из кресел.

Все было обычным: ужин, сигары, подогретое вино, разговор. Ксения Ивановна, улыбаясь, сыграла несколько сонат — ученически-робко, девически-послушно, но от того, как она держала голову, как брала аккорды, от того, как переставила свечи и перелистнула ноты, от всего этого вдруг пахнуло на Федора грезами юности. И Матюшкин рассеянно поддерживал разговор о Колыме, о путешествиях английских моряков Франклина и Парри.

Они вышли от Кокрена вдвоем с Врангелем.

— Ну-с, какова?

— Мила, — сдержанно отвечал Матюшкин.

— «Мила-а-а»... — насмешливо протянул Врангель. — Прелесть!

Врангель свернул за угол. Федор вдохнул сырой, холодный воздух. «Как хорошо! И эта темень и этот дождь». В конце Первой линии невский ветер упруго толкнул его в грудь; он постоял, точно в удивлении, и зашагал назад к дому Кокрена.

Вот ворота, вот двор. И поленницы, и запах мокрой древесной коры, и темный квадрат неба. В окнах второго этажа двигалась тень. Огонек свечи загибался назад. Тень замерла у окна, огонек выпрямился. «О чем она думает? О ком?» Вспомнилось: «Приходите непременно. Здесь так одиноко!» Но может быть, она говорила это Врангелю? А может быть, лишь ему, Федору? И кому «здесь так одиноко»: ей ли одной или им обоим, супругам Кокрен? Тень исчезла. Свет в окнах начал гаснуть...

Федора тянуло к Кокренам. Он приходил часто.

Ксения радовалась ему искренне и простодушно. Они чаевничали, и Ксения доверчиво говорила с ним без умолку. И Федор поддакивал, кивал, переспрашивал с таким интересом, будто слышал невесть какую занимательную историю.

Кокрен затворялся в соседней комнате. Капитан писал книгу о странствиях по России. Не посчастливилось разведать места меновой торговли чукчей с американскими туземцами? Да, это так. Но во-первых, он вывезет из России такую красавицу, какой не найдешь ни у кого в Портсмуте. А во-вторых, он напишет книгу: все-таки поправит свое финансовое положение. И в-третьих, скоро, скоро он сядет на корабль — и домой, в Англию. Стоило ли унывать?.. И Джон Дондас Кокрен строчил лист за листом.

А в гостиной влюбленный Федор слушал Оксиньку.

Шестнадцать лет прожила Ксения в Петропавловске-городке. Огромный мир лежал где-то за сопками, за рейдом, за волнами. Она не думала о нем, знала только, что оттуда приходят иногда в Петропавловск корабли, люди, вести. А потом неожиданно-негаданно все переменялось. «Храни тебя бог, Ксенинька!» — прошептал на прощание отец и подарил дочке старенькую Библию.

Несколько месяцев ехали Рикорды, Кокрен, Ксения и лейтенант Эразм Стогов (он наконец выпросил перевод на Балтику), ехали на собачьих упряжках, верхами, в кибитках. Днем и ночью рядом с Ксенией был этот чужой человек — крепкий, жилистый, неутомимый. Он был очень заботлив, этот Джон Андреевич, как окрестил его Рикорд. Он кутал ее в шали и, когда она падала от усталости, на руках вносил в стационарные здания и кормил, полусонную, с ложечки...

Ксения жила в Петербурге и все не могла осознать, почему и зачем привезли ее на другой край света. И часто, стоя у окна, глядя на грязный снег и мокрые поленницы, тихо плакала.

А потом присядет на краешек стула и откроет ветхую книгу, подаренную на прощание батюшкой. Закапанная воском книга читаная-перечитаная: «Искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя»... Никуда она не пойдет. Судьба ее решилась в тот зимний день в Петропавловской церкви. Так думала Оксинька, сидя в полупустой, сумеречной квартире какого-то чужого дома, на чужом, покрытом слякотью и грязью Васильевском острове. А слух ее был напряжен: не прозвонит ли в сенях колокольчик?

И колокольчик звенел. И приходил Федор.

Но день отъезда в Кронштадт был близок. И близок был отъезд Кокренов в Англию. Сказать ей о своей любви? Зачем? Разве ее удержишь в России?

Федор простился с Оксинькой и уехал. Казалось, жизнь кончена.

6

Ужинали. Говорили громко, смеялись раскатисто. Коли был гусь с яблоками, наперед знали, что скажет обжора мичман Иванов:

— Эх, глупая птица: один не уберешь, двоим — мало!

Салатом денщик обносил мичмана Скрыдлова, и непременно следовало объяснение:

— Они-с не баран, траву не едят-с.

Старший в чине возглашал:

— По одной прошенной.

Выпивали.

Младший в чине объявлял:

— По одной непрошенной.

Выпивали.

Отужинав, слышали:

— По одной поминальной.

И потом — как аминь:

— По одной прощальной.

Денщик подавал трубки. Кто-то рвал бандероль карточной колоды. И, как бывало в кают-компаниях, «трень-брень с горошком»:

— А что, братцы, хороша моя Марьюшка?

— Твоя? Экий бахвал! Хороша-то хороша, да не про тебя писана.

— Отчего же?

— Сиверсу приглянулась.

— Сиверсу-у-у...

— Да, Сиверсу! А он еще в корпусе молодцом был.

— Хорош молодец! Его, бывало, математик все по башке шелкал: «Болван, болван, болван!..»

— Ну, брат, матема-атик... А Марьюшке на кой черт математика?

Так в Кронштадте коротали вечера.

Семь лет назад Федор был в Кронштадте мимоездом вместе с Пушкиным. Теперь он обосновался здесь до того дня, когда начнется кампания и эскадра пойдет в практическое плавание. По обыкновению, офицеры-холостяки нанимали комнаты в обывательских домах и жили артельно.

Поручение Рылеева — «надобно стараться подготавливать кронштадтцев» — Федор помнил. Зачастую после ужина заводил в своей «артели» такие беседы, что не всем, пожалуй, были по сердцу. Однако слушали: придерживаться «либерального образа мыслей» было так же модно, как носить подстриженные наискось бачки.

Мичманы и лейтенанты, обитавшие под одной крышей с Матюшкиным, знали понаслышке о Тайном обществе. И они соглашались с Федором, когда тот говорил о необходимости для России конституционного правления.

В Кронштадте по рукам ходили крамольные стихи:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи, говори,
Как в России царей
Давят.

«Дурно правят, тиранствуют», — кивали Стогов, Иванов, Петя Скрыдлов. Дурно — это так. Но вот «давят»... Гм, случалось, «давили». Оторопь брала при таких-то мыслях. Убить императора? Нет, сердцем они не соглашались.

— Что ж, — спросил однажды Петруша Скрыдлов, — повторить, что ли, Францию с ее Комитетом общественного спасения?

И Федор потерялся. Гильотина, кровь... Почудились отблески пожаров, свист и хохот беспощадной черни. Вспомнилась арестантская партия, шедшая в Сибирь, насмешливый окрик колодника: «Эгей, ба-а-арин!» А Стогову, Иванову, Петруше Скрыдлову вспомнилось кроткое лицо Александра. Они видели его на фрегате «Проворном», когда император поднялся на палубу, склонил голову и смиренно поцеловал руку судового священника.

Федор молчал. Нет, не о Комитете общественного спасения мечталось ему. Он мечтал о законе, перед которым равны будут все — великие и малые мира сего.

А утром барабаны били «поход». Экипаж выходил на плац. Песельники начинали:

Баталер нам выда-а-ал чарку,
Прощай, мила-ая сударка!

Матросы невесело подхватывали:

Закрепили крепче пушки,
Прощай, милая Марфушка.
Выстрела как завалили,
И Прасковью позабыли...

Флотские офицеры презирали фрунтовые занятия. «Матрос не солдат, — было их твердое убеждение. — Ему мерность движения и все «эфтакое» ни к чему». Но фрунтовые учения были введены строжайшим приказом.

Стогов морщился, как от зубной боли. Писарь подбегал к нему с «Воинским уставом». Лейтенант долго мусолил устав, отыскивая нужную страницу и нужные команды. С лица Эразма не сходило мученическое выражение, он махал рукой:

— Боцман! Валяй по-вчерашнему.

Били барабаны.

Федор тоже не знал сухопутных команд, кричал:

— От забора поворачивай!

Являлся иногда адъютант командира крепости, выговаривал офицерам:

— Господа, ну что же это такое? Ей-богу, господа, не миновать гауптвахты.

Гауптвахтой вице-адмирал фон Моллер жаловал часто: за то, что Матюшкин показался в городе без сабли, а на строгое замечание вице-адмирала отвечал: «Помилуйте, ваше превосходительство, какая нужда таскать-эту дуру в мирное время?»; за то, что Петруша Скрыдлов, хватив лишку в питейном доме купца Синебрежцева, проникновенно исполнял под окнами фон Моллера кадетскую песню: «Мы тебя любим сердечно, будь нам начальником вечно...»

Итак, стояли в карауле, маршировали на плацу, сидели на гауптвахте.

Май разгорался медленно. Плавно, как ладьи викингов, шли тучи. Грязные волны шлепали о гранит набережной. Заплесневелой баранкой мокнул в волнах Чумной замок — кронштадтский карантин.

Луна обходила посты. И вместе с луной обходил часовых мичман 17-го флотского экипажа. Вон там, за тем выступом, за далью зазубренных холодных вод... Нет, нет, решено: он не будет думать о ней. О счастье странствий! Чем дальше, тем лучше. Чем труднее, тем желаннее. Путешествие было бы счастьем. Или заменой счастья.

7

Шхуна «Радуга» принадлежала Майклу Роули, веселому грубияну Роули, что несколько лет назад представлял в Петербурге ливерпульскую торговую фирму. Теперь у него было свое «дело». Правда, не очень-то значительное, но свое: он владел тремя судами и занимался коммерческими перевозками. Однако с некоторыми пор Роули помышлял об одном рискованном предприятии; от этого предприятия сильно отдавало авантюрой во вкусе семнадцатого столетия; тем не менее, как разведал Роули, подобные замыслы успешно осуществлялись и в девятнадцатом.

Остановка была за шкипером. Конечно, мистер Кларк, шкипер «Радуги», добрый моряк, но теперь Роули нуждался в человеке несколько иного склада.

Роули знал, что Кокрен вернулся в Англию, знал, что вернулся Джон неудачником, если не считать его женитьбы на русской красавице. Разумеется, думал Роули, карманы «смоленной шкуры» не слишком отягощают золото...

Майкл был легок на подъем, к тому же деловые заботы призывали его в Портсмут. И он отправился в лондонском дилижансе, запряженном четверкой, в Портсмут, остановился в Фоунтен-отеле и в тот же день увиделся с Кокреном.

Майкл нашел, что Джон мало переменялся. Кокрен усмехнулся. Деньги? Что верно, то верно: их, проклятых, маловато. Да, они с женою живут у стариков, да, да, все в том же доме, что рядом с трактиром «Джордж».

Роули был краток. План таков: идти на остров Пасхи или остров Нукагива, захватить там туземцев, а потом следовать на островок Мас-а-Фуэро; островок пустынен, вокруг тьма морских котиков, а туземцы отличные ловцы. Понятно?

Джон призадумался. Он вспомнил английский закон, запрещающий торговлю невольниками. Но военные крейсера

охотятся за невольничьими кораблями в Атлантике, а «Радуга» будет в Тихом океане...

— Сколько? — спросил Джон.

Роули назвал сумму значительную.

— Мало, — сказал Джон. — Это тебе не сукно возить.

Роули подумал и набавил.

Кокрен подумал и повторил:

— Мало.

Роули выругался. Кокрен непреклонно улыбнулся.

Служанка в черном передничке принесла корнбиф, устриц, пиво.

На улице припустил дождь. Сквозь него било закатное солнце. В комнате то светлело, то смеркалось. И на Джона вдруг, не поймешь почему, пахнуло радостью и тревогой.

8

Кокрен не обманулся в шхуне: «Радуга» была легка на ходу и поворотлива. Не ошибся Джон и в команде. Семнадцать молодых отыскал он в харчевнях Портсмута. Все они были из бесшабашного племени морских бродяг. Сверх семнадцати на борту шхуны находилась пятерка парней, присланных мистером Роули. Они не были матросами, а скорее походили на беглых каторжников. Эти высадятся вместе с туземцами на островке Мас-а-Фуэро: парни будут надсмотрщиками.

Но прежде всего надо раздобыть туземцев. Остров Пасхи, а может, Нукагива — самый крупный из Маркизских островов? Захват туземцев... Это представлялось столь же нехитрым, как поставить яйцо на острый конец. Он заманит темнокожих дурней, оделит бусами и прочими безделками, подпойт ромом, заведет в трюм да и снимется с якоря. Только-то и забот!

В мае 1825 года Джон Кокрен вышел из Портсмута.

Все началось хорошо. Джон поймал пассатный ветер. «Радуга» гудела тем ровным гулом снастей и мачт, который означал, что судно идет полным ветром и с большой скоростью. Матросов понукать не приходилось. Парни, похожие на беглых каторжников, вели себя смиренно. Они дулись в карты и курили, сплевывая сквозь зубы.

Обогнув Огненную Землю, шхуна появилась в Тихом океане. Можно было бы тотчас лечь курсом на Маркизские острова, но Кокрен решил дать команде отдых. И «Радуга» зашла в перуанский порт Кальяо. Матросы вдоволь натешились на берегу, провизия была куплена. А в конце 1825 года шхуна находилась уже в нескольких десятках миль от острова Нукагива.

Остров открылся на закате. «Радуга» шла восьмиузловым ходом. Горы на острове стали синими и наконец исчезли, поглощенные тьмой.

Кокрен ушел в каюту и лег спать. Далеко за полночь внезапный удар швырнул его с койки, он больно ударился об угол комода. «Радуга» потеряла ход. Кокрен бросился наверх.

— Руль, сэр! — гаркнул рулевой.

— Мель, сэр! — рывкнул боцман.

— Киль, сэр! — завопил кто-то из темноты.

Кокрен мотал головой, как бык.

Шхуна набежала на камни. Руль был сорван. Часть кили разбило. Кокрен заорал:

— Шлюпки на воду! Живо! Бегом! Фонари!

Заскрипели блоки, шлюпки вывалили за борт.

Когда со шлюпок были сброшены в стороне от шхуны, за кормою, малые якоря-верпы, а концы якорных канатов закреплены за барабаны шпилья, Кокрен скомандовал:

— На шпиль!

Шпиль вращался, тросы, натянувшись донельзя, медленно стаскивали «Радугу» с мели. Вот она сползла на глубину, качнулась, и Кокрен велел выбрать верпы, вернуться шлюпкам, а сам полез с боцманом и двумя матросами в трюм. Они нашли там течь. Течь была не слишком большая, но когда Кокрен снова вышел на палубу, он похолодел: где-то совсем неподалеку грохотал бурун. Шхуну несло на камни.

— Пропали! — ахнул кто-то.

— Молчать, дерьмо! — огрызнулся Кокрен.

Но тут шхуна опять набежала на камни, и он закричал:

— Отдать якорь!

Это было исполнено мгновенно. И все же океан проволок «Радугу» по острым камням. Почти тотчас стал слышен рев воды, хлынувшей в трюм.

— К помпам! — приказал Кокрен. — Пошел все!

Шхуна погружалась. Матросы оставляли помпы. Вода переливалась через борт. Кокрен крикнул, чтоб спускали шлюпку и баркас.

Шлюпку тотчас захлестнуло и опрокинуло. Кокрен сигналу в баркас, переполненный людьми.

Охтенская слобода за Невой — по берегам речек Большой и Малой Охты, — слобода столяров и плотников, конопатчиков и мачт-макеров, как звали по старинке тех, кто изготовлял корабельные мачты, досыпала последние сны.

Всходило солнце, ясное, холодное, и рассветная стеклян-

ная тишь, казалось, вот-вот зазвонит, рассыплется на мелкие льдистые кусочки. Но тут запели петухи, хлопнула дверь, стукнул ставень. И вскоре уж затюкал топор, шаркнул рубанок, взвизгнула пила. И затагнули на верфях всегдашнее «ра-а-аз, два — взяли!», и пошел, пошел новый страдный день строителей фрегатов и транспортов, корветов и бригов.

Только на верфи у Малой Охты не так было. Плотники, столяры, мачт-макеры и конопатчики, одетые чисто, по-праздничному, собрались у стапелей и переговаривались степенно, как люди, сладившие еще одно настоящее, важное и значительное дело. Несколько поодаль от мастеровых стояли флотские офицеры в парадных мундирах, с орденами и при саблях, и среди них долговязый и белобрысый корабельный инженер, тоже в мундире, но без сабли.

Инженер Стоке выстроил на своем веку немало судов; выстроил он и шлюп «Камчатку», на котором плавал Головин, и шлюп «Восток», что под командой Беллинсгаузена добрался до Антарктиды, и шлюп «Открытие», одолевший с капитаном Васильевым штормы четырех океанов. И вот теперь инженер Стоке выстроил еще один корабль — военный транспорт «Кроткий», трехмачтовый, водоизмещением около пятисот тонн. «И этот не осрамится», — думал инженер, любовно оглядывая изящный корпус «Кроткого» и представляя себе, как судно будет красиво, когда получит парусное вооружение.

Стоке достал часы, щелкнул крышкой.

— Фердинанд Петрович, полагаю, начинать можно?

Врангель, говоривший о чем-то с лейтенантом Матюшкиным, обернулся и отвечал, что начинать не только можно, но и должно.

Толпа сгрудилась плотнее и умолкла. Ударил топор, спуск «Кроткого» начался. Вестовой с улыбкой на молодом круглом лице поднес Врангелю матросскую чарку. Врангель выпил и поцеловал парня. Вестовой начал обносить офицеров.

Не прошло и получаса — гребные баркасы вывели корабль на искрящуюся солнечными бликами Неву. «Кроткий» тянули в Кронштадт: вооружить парусами, нагрузить товарами, провизией, порохом в медных ящиках...

Федор глядел именинником. Еще бы! Он отправляется в кругосветное плавание. Правда, плавание чисто служебное, не преследующее географических открытий: «Кроткому» надлежит доставить товары в Петропавловск, в Русскую Америку. Но что ж из того? Теперь он, лейтенант флота Матюшкин, будет начальствовать вахтой. Ему предстоит самостоятельно вести корабль многие сотни миль. А когда «Кроткий» вернется в Кронштадт... О, тогда никто в Адмиралтействе, никто, даже самая тупая голова, не посмеет

усомниться в том, что Федор Федорович Матюшкин настоящий, доподлинный, просоленный навигатор, один из тех мореходов, что с честью, с высоким умением, с неколебимым спокойствием проносят флаг России по гремящим волнам океанов.

И еще одна радость у Федора: «Кротким» командует Врангель, на «Кротком» штурманом Козьмин. Старые товарищи. Что там ни думай о воззрениях Врангеля, а Фердинанд испытан в северном странствии, и Федор уверен, что этот не дрогнет в тяжелую минуту. И молчаливый Прокопий Тарасович тоже... Старшим офицером идет на «Кротком» Михаил Андреянович Лавров. Рекомендация Литке стоит много. А Литке превозносил Лаврова; Литке плавал с ним на бриге «Новая Земля» в те самые годы, когда Матюшкин с Врангелем и Козьминым были в Сибири. И мичманы... Один из них — Дейбнер, другой — Нолькен. Нет, нет, Федор, говоря по чести, ничего против них не имеет. Ребята как будто ревностные к службе, оба на одну статью — голубоглазые, белокурые, и оба словно запьяневшие от счастья, выпавшего на их долю.

Кронштадт снаряжал транспорт в океанское плавание. Несколько десятков матросов, и среди них Михайло Нехорошков, произведенный в унтер-офицеры, работали не покладая рук. Ругался боцман Семен Шамшев. Юнга Варфоломей, смысленный, курносый, с плутовскими глазами, метался по кораблю. Врангель бранил портовых чиновников, в каждом из них видел жулика, норовившего нагреть руки в предотъездной суете. Матюшкин и Лавров забыли про сон и еду. Мичманы, убегая на вечерок, кутили с приятелями в кронштадтском трактире. Раза два удалось и Матюшкину вырваться в Санкт-Петербург.

Он заглянул в дом на Галерной улице. Сашка, первенец Василия Михайловича, без церемоний забрался к нему на колени; Евдокия Степановна, все такая же полная, радушная, улыбающаяся, потчевала его отменными блюдами: «Угощайтесь, кушайте, насидитесь, батюшка, на корабельных-то сухариках». А капитан-командор Головнин поглядывал на лейтенанта из-под насупленных щетинистых бровей, наставлял Федора, желая ему удачи.

Простился Матюшкин и с Рылеевым, и с Вилей Кюхельбекером, который жил теперь в Питере у брата своего, офицера Гвардейского экипажа, и Кюхля вспомнил стихи, написанные в честь «лицейского Одиссея» восемь лет назад:

Нет! Не нарушишь святых ты обетов, Матюшкин, в отчизну
С прежними чувствами ты ту же любовь принесешь...

Не нарушу, братцы! Пишите в Петропавловск, жду добрых

вестей. Кто знает, не грянет ли гроза, покамест «Кроткий» будет в морях? Так хочется вернуться в Россию и увидеть на рейде огромную эскадру с флагами свободной республики! И всех друзей застать в Петербурге. И нашего Пушкина...

10

Кокрен слышал ритмичность гулких ударов, чередовавшихся со слитным ревом, похожим на океанский накат. И вот он уже уловил в этом реве и грохоте некий напев, грозный и простой, и в тот же миг с ужасом подумал о человеческих жертвоприношениях.

Кокрен пополз в темноте, стукнулся теменем обо что-то твердое. Он осторожно повел рукой, нащупал бревна, жесткие кожистые листья и догадался: хижина. Задерживая дыхание, выглянул из хижины, во рту у него пересохло... На поляне горели костры, у костров сидели люди; они били в огромные барабаны, над их головами качались черные перья.

Кокрен отпрянул. Он лежал на животе, положив голову на руки, притиснувшись к земле, которая пахла, как ему показалось, прокисшим яблочным пирогом. Он подумал: «Почему пирогом, да еще яблочным?» Но тут опять накатил вал барабанного грохота.

С моряками «Радуги» случилось то, что нередко случается с теми, кто терпит бедствие в ночной час у незнакомых скалистых берегов. Баркас, на котором они пытались спастись, был разметан в щепки, о рифы зашибло насмерть почти всех матросов. Лишь троих подобрали рослые татуированные люди, покрытые маслом кокосовых орехов.

Вот так-то Кокрен достиг острова Нукагива. И теперь, очнувшись в темной хижине, лежа на земле, отдающей яблочным пирогом, потому что здесь часто готовили тесто из таро, прижатый к этой земле устрашающими раскатами барабанного боя, он думал, что никогда не вырвется с проклятой Нукагивы — корабли приходили сюда редко; думал о Ксении, которая, прождав мужа несколько лет, вторично пойдет под венец; и проклинал Роули, обвиняя его во всех своих бедах.

— Как вы себя чувствуете?

Кокрен оцепенел: «Уж не померещилось ли?» Он боялся поверить своим ушам. Чья-то рука легла ему на плечо. Он вздрогнул.

— Кто вы?

— Меня зовут Робертс.

Кокрен провел рукой по лбу.

— Послушайте, они... съедят?

— Полноте, — усмехнулся Робертс, — успокойтесь. Король Тапего справляет праздник. Мы жарим свинину.

Кокрен перевел дух, ему стало легче, но говорить он не мог.

— Счастье, что вы попали к королю Тапего, — сказал Робертс. — Я при нем первым министром. Вам не причинят никакого вреда. И вашим товарищам.

«Первый министр... Плен... Король Тапего...» — мелькнуло в голове Кокрена.

— Вот что, — сказал тот, кто называл себя первым министром, — поешьте и спите спокойно.

Кокрен проснулся только на другой день. Уже наступило «время огней» — вечерняя пора. Стояла благостная тишь, сотканная из шороха пальм и всплесков волн.

В хижину вошел Робертс:

— Ну как, старина?

— Спасибо.

— Пойдемте. Ужин ждет.

Молодая женщина с белой искусной перевязью в черных волосах подала жареную рыбу и соленую воду в скорлупе кокосового ореха.

К костру подошли туземцы. Робертс что-то сказал им. Островитяне опустили на корточки. Кокрен подумал, что вот эти-то и есть те самые темнокожие дурни, которых он собирался схватить и отвезти на островок Мас-а-Фуэро. Робертс опять что-то крикнул в темноту. Из хижины вышла другая женщина. Она тоже была невелика ростом и тоже шла валко, по-утиному, но лицо ее было еще красивее, чем у первой. Женщина принесла вина.

Робертс взглянул на Кокрена:

— С вашей лоханки.

— Неужели? Что-нибудь еще выловили?

— К сожалению, только ром.

— Вы бы приберегли...

— Э, нет, земляк. Я должен потчевать всех, кто собрался у моего костра.

Робертс пустил чашу по кругу.

— Ради бога, — заметил Кокрен. — Налижутся, пожалуй.

Робертс ответил надменно:

— Я повторяю: вы в безопасности. Лучше спросите об участии ваших товарищей.

— Понимаете, — виновато отозвался Кокрен, — у меня отшибло не только печенку, но и память... Так что же мои ребята?

Островитяне передавали чашу из рук в руки. Перья на головах туземцев покачивались. Костер горел ярко. Слышна была сонная возня океана.

— Его величество король Тапего повелел всех вас содер-

жать отдельно. Его величество опасается враждебности белых пришельцев.

Кокрен подумал: уж не спятил ли старик, коли всерьез называет дикаря его величеством?

— Послушайте, чего же опасаться? Что могут поделывать трое безоружных против оравы чумазных чертей?

— У туземцев, сударь, много оснований не доверять... Давайте-ка выпьем, я расскажу...

Они выпили, и Робертс рассказал о капитане Портере.

— Несколько лет назад этот самый Портер пришел к Нукагиве и стал на якорь как раз в той бухте, где должна была бы теперь покачиваться ваша «Радуга». Стал он себе на якорь, этот янки, как мы полагали, только затем, чтобы налиться водой. Мы ведь могли так полагать, не правда ли?

— Конечно.

— Между тем, — продолжал Робертс, — проклятый Портер пришел за живым товаром. (Кокрен быстро и пристально глянул на старика: «Не хитрит ли «премьер»? Упаси боже, если подозревает...») Да, сударь, — рассказывал Робертс, — паренята пришел за живым товаром. Изловчившись, схватил десяток островитян, тотчас вытянулся из бухты, вступил под паруса и был таков. Вот что сделал капитан Портер, будь он проклят! Что вы на это скажете?

— Его следовало бы вздернуть на рее.

— Да, вздернуть... — задумчиво повторил Робертс.

Захмелев, он опустил седую голову.

— Тридцать лет, тридцать лет... — проговорил он со вздохом. — Я плавал на «Регине», сэр. Теперь-то, верно, никто о ней не помнит, а? Добрый был барк, ходкий и послушный... Так вот, я плавал на нем матросом, сэр. Мои товарищи взбунтовались и убили шкипера. Я и теперь вижу, как скovyрнулся он разинув рот. Ударом топора Боб развалил ему череп. Развалил, точно кокосовый орех, право слово. Шкипер заслуживал смерти, этакая он был скотина. И все же я, один из всей команды, сказал ребятам, что они поступили дурно. И что же? Они разозлились, кинулись на меня с кулаками. Я думаю потому, что после убийства, когда шкипер, зашитый в парусину, отправился кормить акул, они и сами так думали. Так вот, сэр, они бы пристукнули меня тут же, но Боб, тот самый, что развалил череп шкиперу, остановил их. «А что бы ты сделал с ним?» — спросил меня Боб. «Я, говорю, высадил бы его на каком-нибудь острове, куда редко заходят корабли». — «Хорошо», — сказал Боб. И больше ничего. Меня оставили в покое. Но когда барк был на траверзе Нукагивы, Боб велел мне собирать пожитки. И они высадили меня с барка. Тридцать лет... Тридцать лет, как один день...

Он долго молчал. Кокрен не решался тревожить его. Ост-

ровитяне по очереди говорили Робертсу несколько слов; Робертс кивал, и гости уходили, ступая след в след.

Робертс продолжил внезапно, будто и не вспоминал о бунте на «Регине»:

— Так вот, сударь, эта скотина капитан Портер исчез, но его не забыли здесь. Как-то, дай бог памяти... да, года два назад... Шторм забросил на здешние рифы французское судно. Оно село на камни покрепче вашей «Радуги» и до утра держалось на плаву. Дело было ночью, и я ничего не знал. Узнал поздно: моряков убили, судно разграбили. Говоря по чести, можно ли винить нукагивца за то, что он не отличает Жана из Марселя от Джо из Нью-Орлеана? Ну, скажите-ка мне по совести, можно ли?

11

Англия... Он не думал ни об ее старых меловых обрывах, ни о колесных пароходиках, которые прожигали Ла-Манш, как жуки-плавунцы, ни об английских маяках и лоцманах. Он даже не думал о том, что, наверное, представится возможность съездить в Лондон. Он неотступно думал об Оксиньке.

А матросы недоумевали: что за вожжа попала под хвост их благородию? Ведь золотой барин. Не то чтобы тебе по мордасам, как иные прочие, — слова бранного не услышишь. И вот накось! То разорется ни с того ни с сего, то молчит и глядит волком, аж душа в пятки уходит. Да и с лица будто опал. Не иначе, хворый, ей-богу...

Были дождь, туман, вечер, когда «Кроткий» встал на якорь в Портсмуте. Десятки кораблей лежали на сумеречном Спит-Гедском рейде; отсветы судовых фонарей пятнали темную воду.

В самом же Портсмуте ярко горели огни. Должно быть, один светился в ее комнате. Федор слышал, как Врангель приказал готовить шлюпку. Он тоже может сесть в шлюпку, отыскать ее здесь, в Портсмуте...

— Федор Федорович! — весело окликнул мичман Дейбнер. — Капитан спрашивает: вы как?

— Нет, — отрезал Матюшкин. — Скажите: нет.

Он не поедет на берег. Зачем? Нет, он никуда не поедет. У него болит голова, он устал. И вообще, не соблаговолит ли господин мичман убраться ко всем чертям?

Капитан-лейтенант Врангель хотя и догадывался о причине, по какой Матюшкин не хотел показываться в Портсмуте, все же повторил свое приглашение. Лейтенант отвечал не с большей любезностью, чем мичману Дейбнеру. Врангель пожал плечами и пробормотал несколько неодобрительных

слов о «лицейском сентиментальном воспитании». Что же до него, то он надеется отлично повеселиться в Портсмуте: там немало знакомых.

А на другой день «Кроткий» опять был в море.

12

Король Тапего сжимал тяжелую палицу, испещренную узорами. Короля сопровождали воины с пращами и длинными, заостренными с обоих концов копьями. По левую руку от короля шел Робертс.

Кокрен, боцман Риддон и матрос Дре, все, кто уцелел после гибели «Радуги», ужасно трусили, хотя Робертс не раз уверял, что король Тапего милостив к ним.

Тапего что-то проговорил, воздевая палицу. Воины трижды стукнули оземь копьями.

— Его величество король Тапего Первый, — торжественно возгласил Робертс по-английски, — дозволяет вам жить на свободе. Его величество дозволяет белым пришельцам построить хижины, заняться выращиванием таро, сбором кокосов, плодов хлебного дерева или, если хотите, рыбной ловлей, презренным делом бедняков. Его величество приказал трем своим подданным помогать вам. Живите с миром, белые люди. Да светит вам такое же доброе солнце, как и всем нам.

Трое туземцев вышли из толпы. То были Мау-Гау, Бау-Тинг и Мау-Дей. Ожерелья из свиных зубов белели у них на груди. В руках все трое держали каменные полированные топоры.

— Мау-Гау, Бау-Тинг и Мау-Дей, — заключил премьер-министр, — могут приступить к делу: они готовы строить хижины.

А вечером ударили барабаны в честь новых жителей Маркизских островов. И на этом празднике пришла на ум Кокрену горькая мысль. Она являлась ему и раньше, но нынче овладела им вполне: нет, не суждено выбраться...

Чаши плыли по кругу, качались на головах туземцев перья. Неподалеку мрачно погромыхивал океан.

13

«Кроткий» подходил к обширной бухте. Ее покрывало множество судов с убранными парусами. За плоским рейдом был плоский берег. Там и сям вздувались, как желваки, красные холмики. Вкривь и вкось бежали домишки. Ни куполов, ни колоколен. Плоский берег, плоский город, плоское небо... Врангель разочарованно опустил трубу. Федор рассмеялся:

— Красиво?

— М-да... Но после трех месяцев в океане. Что же, не так уж худо.

Спустили шестивесельный ял; лейтенант Матюшкин сошел на берег — потолковать о снабжении корабля свежими припасами.

Чилийский порт был пестрым и шумным. Двухолки громыхали по булыжнику. В лавках чилийцы, в широкополых, сдвинутых на затылок шляпах, страшно вращали глазами и что есть силы дымили сигаретками, а приказчики-англичане с обычной своей напускной флегмой взирали на возбужденных покупателей. Из харчевен пахло жареной рыбой. Стрижами неслись школяры в синих курточках и остроконечных вязаных колпачках. Смеясь и толкаясь, спешили куда-то темноволосые женщины; на плечах у них пестрые, цветастые, как у цыганок, платки. Из окон «Юнион-отеля» слышалось фортепьяно. Мелодия Вебера? Ах, вечера на Васильевском острове...

Федор вздохнул.

Пока лейтенант был в городе, «Кроткий» посетили два английских капитана. По обычаю морских странников, они обменялись с русским командиром новостями: повстанцы захватили Кальяо — последний опорный пункт испанской короны на континенте Южной Америки.

Когда Федор вошел к Врангелю, в каюте еще плавал медовый аромат трубочного табака; денщик проворно убирал посуду. Врангель рассказал Матюшкину о событиях в Кальяо, прибавил мечтательно:

— Помнишь, как там было весело?

Федор отмахнулся:

— Весело!.. Подумать только: лишь несколько лет, и вот от гордых испанцев нет и следа, а знамя вольности...

— Степан, пшел вон! — крикнул Врангель.

Денщик испуганно выскочил из каюты.

— А знамя вольности, — повторил Федор, — реет в бывших колониях.

Лицо Врангеля стало брюзгливым.

«Вот сейчас мы схватимся», — подумал Федор и, чтобы не дать барону уйти от схватки, проговорил:

— Славно! В славное время живем!

Врангель взял сигару, двигая рыжеватыми бровями, раскурил ее от фитиля. И заговорил с вызывающей методичностью:

— Должен сказать, Федор Федорович, я решительно не разделяю ваших восторгов. Вникнув в дух нынешнего времени, которое вы изволите называть «славным», вижу: человечество, обезумев, стремится к конечному разрушению. В Европе, и в Америке, и даже, сказывают, на острове Ява народы, подобно разъяренным зверям, бросаются за свободу, которой не понимают...

Федор откинулся на подушки сафьянового дивана. Слушал и думал, что человек, с которым он разделит столько невзгод и опасностей, в сущности, враждебен ему до кончиков ногтей, что оба они исполнены друг к другу глубокой неприязни, а между тем обстоятельствами службы принуждены действовать заодно. Врангель по-прежнему спокойно и методично, видимо понимая, что именно это спокойствие и методичность сильнее всего действуют на «пылкого лицеиста», продолжал развивать свои мысли:

— Я не вижу возможностей для народного управления в нынешний век безверия, тщеславия и корысти. Что ж до нашей родины, то Россия самим провидением назначена стать спасительницей от ужасов безначалия. — Он неожиданно улыбнулся. — Может быть... Может быть, впоследствии, потом когда-нибудь, некоторые свободы, некоторые послабления...

— Когда?

— Когда управляемые поймут, что такое свобода, когда они станут достойны ее, когда они со-зре-ют для свободы.

Федор вскочил:

— Да поймите, не человек созревает для свободы, но свобода делает его человеком!

В дверь постучали. Вошел старший офицер Лавров:

— Фердинанд Петрович, прибыли баркасы с провизией.

— Пойдемте, — хмуро ответил Врангель.

Федор остался один. И вдруг рассмеялся: «Да черт ли? Вот изгнано рабство из колоний — и баста!»

14

Ничего странного не было в том, что «Кроткий» держал к Нукагиве, хотя ни капитан Врангель, ни лейтенант Матюшкин, ни штурман Козьмин и не слыхали о судьбе Джона Кокрена. Просто командир русского военного корабля знал об отменной пресной воде на Нукагиве, а судовые бочки были почти опорожнены. Так случилось, что в первых числах апреля 1826 года «Кроткий» шел к Маркизским островам. И вот на рассвете марсовой закричал: «Земля!» — а штурман Козьмин объявил, что это должен быть мыс Мартина.

В то апрельское утро, когда верхушки мачт «Кроткого» возникли темными черточками на ясном горизонте, Кокрен, матрос Дре, боцман Риддон и Мау-Гау с Мау-Деем болтались неподалеку от мыса Мартина в лодке, выдолбленной из крепкого дерева. Вся честная компания вдохновенно охотилась за бонитами — красивой золотистой рыбой с удивительно вкусным мясом.

Есть нечто таинственное в облике парусного корабля, когда он бесшумно и медленно появляется из-за горизонта. Однако моряки тотчас задаются практическими вопросами: кто, откуда, в каком состоянии? Но одно дело гадать «кто» и «откуда», когда ты похаживаешь по набережной или смотришь на рейд из окна кофейни, и совсем иное, когда ты стоишь в полинезийской лодке.

В бородище Кокрена сверкали капли воды, драная рубаха облепила грудь. Сердце Джона колотилось. Милый, чудесный, прекрасный корабль! Свобода! Ура! И все-таки машинально — привычка «смоленной шкуры» — Кокрен думал: кто, откуда, в каком состоянии? И решил: «Состояние отличное, он в полной исправности. Должно быть, из Бостона или Нью-Лондона...»

— Тайо-Гое, — проговорил один из туземцев.

Пожалуй, так: корабль держал на зюйд, туда, где в трех милях от залива Тайо-Гое была удобная, глубокая, тихая бухта... И рыболовы бросились к веслам.

«Кроткий» был уже хорошо виден — большой, с тремя стройными мачтами. Пресная вода и немного свежей провизии — вот и все, что хотел раздобыть капитан Врангель.

На «Кротком» проворно отдали оба якоря, и корабль словно бы врзал свой высокий темный корпус, белизну парусов в этот блистающий день.

Спустили шлюпку. Матросы ударили веслами по теплой прозрачной воде, в которой истаивали, как сахар, солнечные лучи. Мичман Дейбнер правил к лазейке в прибрежных рифах. Ему страсть хотелось половчее совладать с буруном и досадить мичману Нольке. Тот остался на судне и ревниво следил за своим другом и соперником по регельским шлюпочным гонкам.

Четверка приближалась к острову. Молча глядели на нее нукагивские воины. Глядели, расставив ноги, опираясь на боевые дубинки. Чужеземцы! Если белого человека, безоружного и беспомощного, выбрасывает на берег океана, надо приветить его. Но если белый человек приходит невредимым — жди беды.

Среди гребцов на шлюпке был Нехорошков. Заметив, что в толпе островитян одни мужчины, Михайло заподозрил недоброе.

— Ваше благородь!

— Чего тебе?

— Ни баб, ни ребятни, ваше благородь...

— Ну и что? — беззаботно улыбнулся Дейбнер, уверенно пошевеливая румпелем и все так же весело и зорко вглядываясь в прибрежные рифы.

— Поостерчься бы.

— Пустое, — отмахнулся мичман.

Четверка подошла к берегу.

— Суши весла! — скомандовал Дейбнер.

И тут десятки мускулистых татуированных рук подхватили шлюпку, резкий гортанный рев перекрыл отчаянный крик мичмана: «Спасайсь, ребята!» — и в ту же минуту дубинки обрушились на моряков. О, нукагивцы хорошо помнили пришельцев из Нью-Орлеана, а эти, нынешние, тоже были белокожими.

Один Нехорошков чудом поспел увернуться, стремительно нырнул в набежавший вал, нырнул еще раз, вылетел на гребень отходящей волны. Михайло не видел ни моря, ни неба, не слышал ни прибоя, ни криков. Он молотил по воде, плыл саженками, как одержимый.

На «Кротком» первым опомнился Врангель.

— Баркас! — крикнул он сорвавшимся голосом.

Двадцать гребцов село в баркас. Двадцать первым был лейтенант Матюшкин. Тяжел и валок был этот баркас, но понесся он стремительно, точно гичка. Федор судорожно притиснул трубу к глазам.

Врангель приказал изготовить орудия к бою.

— Вы свидетели, — сказал он, не глядя ни на Лаврова, ни на Козьмина, — вы свидетели злодейства, не я виновник пролития крови.

— Что же это? — испуганно начал штурман.

Врангель гневно мотнул подбородком:

— Да-да! И дикари запомнят...

— Осмелюсь заметить, — сказал Лавров, снимая фуражку и ероша курчавые волосы, — осмелюсь заметить... наши никогда не применяли оружие против туземцев.

— Мне это известно, сударь. Но оскорбление флагу должно смыть кровью.

15

— Несите ко мне, — сказал Матюшкин и пошел следом за матросами.

Михайлу положили на койку в офицерской каюте. Матюшкин склонился, прислушался к дыханию. Штурман распахнул дверь. Никогда еще не видел Матюшкин таких багровых пятен на скуластом лице Козьмина.

— Иди! Скорее!

И в эту минуту «Кроткий» дрогнул, резкий взвизг донесся в каюту: двенадцатифунтовые корабельные пушки ударили картечью.

Федор выскочил на палубу. Врангель стоял на шканцах. Лавров тоже. Федор мельком, но до странности отчетливо за-

метил, что старый шрам на щеке Лаврова был бел, точно кто черкнул по нему мелом.

— Опомнись! — Федор ухватил Врангеля за рукав сюртука. (Барон яростно стряхнул его руку.) — Опомнись! Вели прекратить, — быстро твердил Матюшкин. — Тут ошибка... Эти несчастные дикари...

— Извольте... — с бешенством начал Врангель.

— Шлюпка! Шлюпка! — закричали матросы.

И точно, из-за небольшого скалистого мыса, по которому пришелся первый картечный залп — получился недолет, — вывернулась туземная лодка.

— Что за черт? Кто такие? — пробормотал Врангель и громко крикнул: — Ядрами! Живо!

Матюшкин опять подступился к Врангелю, но тот холодно и раздельно выговорил:

— Извольте покинуть палубу, Федор Федорович.

Сжал кулаки, ненавидяще глянул на Матюшкина и быстро отстегнул и застегнул орленую пуговицу на сюртуке.

А канониры уже сунули фитили. Коротенькие пушки, присев, как бульдоги, плюнули ядрами туда, где крылось туземное селение, и пороховой дым за клубился, застя полуденный блеск.

Сквозь этот тяжелый темный дым к борту «Кроткого» подошла лодка с балансиром. Трое было в лодке. Живые — боцман Риддон и матрос Дре. И мертвый Кокрен: его наповал сразила картечь в ту минуту, когда лодка очутилась в заливе Тайо-Гое.

16

Давно уж отдан морю труп Кокрена. И уже не считают на русском корабле новичками двух англичан, двух «асеев»: они включены в списки команды. А убитые на острове Нукагива из списка выключены.

Сменяются вахты, бьют склянки. На «Кротком» ставят и убирают паруса. По утрам шаркают швабры, в обед пахнет солониной, а вечером нет-нет да и зачнут песельники то ли песню про волжских разбойников, то ли песню про березоньку, что стоит себе, раскидистая, посреди желтеющего поля...

А вокруг все тот же Великий, или Тихий. И встает солнце, и заходит солнце. Горят созвездия, и меркнут созвездия.

Федор в смятении. Настроение, мысли его переменчивы. Нет больше Кокрена — значит, Оксинька свободна. Ах, зачем он не открыл ей свою любовь?! Теперь бы не терзался зря: любит, не любит... Может, нет у нее к нему ни малейшей склонности, а он, глупец, рисует пленительные картины. И

подло радоваться гибели... такой глупой гибели... этого человека... Свободна! Оксинька свободна! Через год «Кроткий» опять зайдет в Портсмут. Теперь он кинется вплавь, не дожидаясь шлюпки. Впрочем, не загадывай! Моряков отделяет от смерти несколько дюймов корабельной обшивки. А год... год — срок великий. Кто знает, не увидит ли он Оксиньку женою какого-нибудь мистера... мистера Гочкинса или как его там еще. Нет-нет, она должна вернуться в Россию. Непременно. Почему? Этого он не знал, но верил, что Ксения не останется в Англии...

— Время, ваше благородие.

Пора господину лейтенанту принимать вахту. Вон как нетерпеливо поглядывает Михаил Андреянович Лавров. Понятное дело: нет ничего тягостнее последних минут. И нет милее товарища, чем тот, кто сменит тебя хоть на минуту, да раньше. Понятное дело, Михаил Андреянович...

А подвахтенные уже выбираются из кубрика. Дробно стучат сапоги. Лица спросонок хмурые. Однако свежие. Свежее, пожалуй, нежели в Кронштадте год назад. Кого ни возьми — и рулевого, и марсовых, и служителей первой и второй статьи, — всех хоть сейчас на смотр. Вот только с Егором Мочаичевым беда. Ударило беднягу еще в Рио-де-Жанейро вымбовкой в живот, а он скрыл, работал ровней со всеми. И лежит теперь в корчах. Должно быть, не жилец. Надо б навестить парня после вахты...

Два месяца шел «Кроткий» от берегов Нукагивы к берегам Камчатки. И вот Петропавловский рейд. И небо в облаках, пышных, белых, взбитых, как большие подушки. Июнь, тишина.

За бортом «Кроткого» на деревянных скамеечках-беседках сидели, словно дятлы, матросы; лопаточками-шпателями сшибали они с корпуса старую краску: корабль требовалось выкрасить заново.

Негромко стучат лопаточки-шпатели, перекликаются матросы за бортом, поскрипывают блоки. А в нескольких кабельтовых — город. В городе пыль, тишина, скука. Смиранный Петропавловск-городок, какие страшные вести обрушил ты на Матюшкина!..

Запершись в каюте, Федорпил водку. Пил, не пьянея, не обретая забвения, а только чувствуя, как голова наливается тяжелой чугунной мутью.

Где ж ты был, Федор, в тот декабрьский день, когда друзья твои вышли на Сенатскую площадь? О чем думал в тот сумеречный час, когда пушки стреляли картечью по друзьям твоим, по солдатам Московского полка, по матросам Гвардейского экипажа?

В декабрьский день 1825 года «Кроткий» покидал Рио-де-Жанейро. В Питере была зима, студеный ветер нес ледяную

крупу; в Бразилии полыхало лето, влажный ветер нес аромат кофе. Нет, не думал Федор, не гадал, что там, в России, умер император Александр и Тайное общество подняло восстание. Не думал, не гадал, что восставших разгромили. И, глядя, как истаивают бразильские горы, не знал, что в Петербурге, на Сенатской площади, полицейские подбирают трупы, волокут к темным прорубям на Неве...

Страшные вести обрушил Петропавловск на лейтенанта Матюшкина. Что-то надломилось в душе его и погасло. В Петропавловской церквушке, в той, где некогда венчалась Ксения, команда «Кроткого» была на молебне во здравие и благополучие нового государя императора всероссийского Николая Павловича. И Федор, окаменев, с отсутствующим выражением на обветренном лице, с выгоревшими до рыжины бровями, отстоял службу, а потом присягал, как и все, Николаю I.

А теперь сидел он, запершись в каюте, ипил водку. Где нескладный, милый Кюхля? Где Ваня Пушкин? Где пылкая ва-тага мичманов-гвардейцев? Что с Рылеевым?

Ни слова об этом в единственном письме, полученном Федором в Петропавловске. Ни слова об этом в письме Мишки Яковлева, лицейского «старосты». Да ведь и не могло в нем быть никаких известий: письмо помечено десятым декабря двадцать пятого года. За четыре дня до «злодейского возмущения» повезли почтари послание Яковлева.

Со слов Яковлева узнал Федор, что Пушкина выслали из Одессы в глушь Псковщины, что опала продолжается и что Пушкин ознаменовал 19 октября — годовщину лицейскую — таким поэтическим творением, каких не знала русская словесность. И Яковлев — низкий ему за это поклон — посылал «Пустыннику Федору» чудные эти стихи.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.

«Веселых лет»?.. Не будет ни у тебя, Александр, ни у меня...

Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?

«Кто не пришел»? И больше не придет...

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Спасибо, Пушкин...

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты постирал из-за моря нам руку,
Ты пас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

«На долгую разлуку нас тайный рок, быть может, осудил...»
Пушкин помнил эпиграф к его, Федора, дневнику, к тому
дневнику, который он писал по совету и настоянию Пушки-
на: «Судьба на вечную разлуку, быть может, съединила нас».

БОРИСЬ ЗА СВОБОДУ, ГДЕ МОЖЕШЬ...

1

— Они были в мундирах, при орденах, при саблях... Бес-тужев и Торсон шли первыми. Потом Антоша Арбузов... Ты знаешь всех: Вишневский, Дивов, Беляевы-братья... Да-да, ты всех знаешь, Федор.

«Кроткий» только что пришел на Малый кронштадтский рейд; на корабль приехали знакомые моряки: поздравить со счастливым окончанием двухлетнего кругосветного похода. Эразм Стогов, лейтенант, товарищ Федора по кронштадтскому береговому житью, явился к Матюшкину. Эразм захватил рейнвейна, но бутылка осталась непочатой. Стогов рассказывал, как свершилась гражданская казнь над друзьями, над теми из моряков, кто принял участие «в злодейском происшествии 14 декабря».

В тот июльский день — солнце и дождик — на кронверке Петропавловской крепости повесили Рылеева, Пестеля, Бес-тужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Каховского. А моряков-декабристов привезли из крепости на эскадру — «для поучения флота». Привезли на фрегат «Князь Владимир». И подняли на фрегате черный флаг. Арестантов окружило каре. Адмирал фон Моллер аккуратно читал приговор: «Каторжные работы навечно... Каторжные работы навечно... Двадцать лет каторжных работ... Двадцать лет каторжных работ...» Бог весть, кто первым бросился обнимать осужденных, каре смешалось, матросы плакали... Потом осужденные братья спустились в тюремную баржу, пароходик потащил баржи в Питер, в крепость... Теперь-то уже все на каторге, в рудниках Сибири.

— А вы? Что же вы?

— Мы?... Ничего, — пробормотал Стогов.

— Ничего... — повторил Федор.

2

Давно уж осознал Федор, что произошло на Сенатской площади. И все-таки надеялся: государь не озаглавит царствование виселицами. С этой надеждой прошел Тихим, Ин-

дийским, Атлантическим. Не покидала она ни на Филиппинах, где «Кроткий» чинили, ни в штилевом безмолвии Зондского пролива, ни у базальтовых скал острова Святой Елены, последней обители Наполеона Бонапарта.

Правда, потом, говоря по совести, иное теснило сердце. Каждая миля приближала к Портсмуту. «Ксения, Ксения, Ксения... Должно быть, — думал он, — фрегат «Блоссом», тот, что заходил в Петропавловск, доставил уже в Англию не только англичан, подобранных близ Нукагивы, но и известие о гибели капитана Кокрена».

В Портсмуте, в домике из красного кирпича, что был рядом с отелем «Джордж», Федор нашел Кокрена-старшего.

— Миссис Кокрен? — переспросил старик, отирая слезящиеся глаза. — Она уехала.

— Куда? — вскрикнул Федор.

Старик вздрогнул.

— Куда? — тихо повторил Федор.

Старик понял: так не спрашивают из простого любопытства. «Вот этот, — подумал он, глядя на статного темноглазого лейтенанта, — этот будет счастлив». Старик процедил:

— В Кронштадт, к благодетелям. — И прибавил резко: — Прощайте!

А нынче — кронштадтский рейд, иссеченный сентябрьским дождем. Смутно виден Кронштадт — церковь Богоявления, дома, казармы. И среди тех домов — дом командира кронштадтского порта Петра Ивановича Рикорда...

— Эге-ге-гей! — кричит боцман.

— Дава-а-ай! — доносится из трюма.

Топот на палубе, началась разгрузка. «Кроткий» привез из Русской Америки, с острова Ситхи, шкурки морского котика.

Офицеры — и Врангель, и Лавров, и мичман Нольке — не раз уже ездили в Кронштадт. А Федор соберется — и стоп. Что-то мешает ему. Стыдно быть счастливым. Эх, Эразм, лучше бы ты повременил со своим рассказом...

Приняли чиновники заморские грузы, на судне паруса отвязали, реи спустили. И корабль утратил свой гордый облик. Портовые баркасы поволокли его в док. «Кроткий» брел покорно, как матрос-ветеран в божедомку.

При входе в гавань лейтенант Лавров скомандовал:

— Флаг долой!

Барабанщики ударили «поход». Матросы и офицеры обнажили головы. Флаг, прощально всплескивая, медленно полз вниз.

Дождь перестал, закатное солнце пробилось сквозь тучи, тишина воцарилась в Кронштадте.

Разбрызгивая грязь, прошла рота моряков 19-го экипажа. Рота шла хорошо, лицо у молоденького мичмана было самозабвенное. Прогремела коляска, какой-то обрюзглый бородач,

развалясь на сиденье, клевал носом. И опять тишина. Только пощелкивают, срываясь с крыш, дождевые капли.

Федор пошел сперва быстро, но чем ближе был к цели, тем шаги его делались медленнее, неувереннее. «Послушай, — сердито приструнил он себя, — это уж ни к черту. Ну-ка, прибавь рыси!»

Но рыси не прибавилось. Куда там! Хоть беги без оглядки. Он даже подыскал оправдание: нельзя, мол, прямо с палубы — и «честь имею», и все такое прочее... И тут вдруг изумленный, радостный, негромкий оклик:

— Федор Федорович? Вы?.. — Закатное солнце светило ей в лицо. Она шурилась, растерянно улыбаясь, чуть склонив голову. — Вы? — повторила Ксения, защищаясь ладонью от солнца.

Он шагнул к ней, схватил руку, прильнул к перчатке.

Они вошли в дом. В прихожей показалась Людмила Ивановна Рикорд.

— Вот так и отпускаяй тебя, душа моя, — певуче и добродушно сказала Людмила Ивановна, не глядя, однако, на Ксению, а всматриваясь в Матюшкина.

Федор представился.

— Погодите, погодите, — сказала она, вводя Федора в гостиную. — Нет, батюшка, не помню, не обесудьте старуху.

Федор вдруг заговорил бойко, сам на себя удивляясь и радуясь. Он говорил, что вспомнить Людмиле Ивановне, пожалуйста, и невозможно, потому что виделись они недолго, да и то, почитай, вот уж лет десять назад тому, что он гостил у них вместе с офицерами «Камчатки», когда они пришли в Петропавловск... И Федор принялся описывать, как он, тогда волонтер, командовал перевозкой фортепьяно с корабля в дом Петра Ивановича.

— А! — Людмила Ивановна рассмеялась. — Вы, батюшка, совсем-совсем зелены были.

Матюшкин развел руками: дескать, был, а нынче — вот глядите — старикан.

— Ну-ну... — Людмила Ивановна погрозила ему пальцем. — В морях, говорят, молодеют. А вы что же, нынче только явились? Вы уж, сделайте милость, обождите Петра Ивановича. Он скоро пожалует и так вас умучит расспросами, что и дух перевести не даст... Извините, я пойду распорядюсь. Вы у нас ужинаете, надеюсь? — И она удалилась, шурша длинным платьем.

Федор онемел. Ксения сидела в кресле и серьезно, прямо, вопрошающе смотрела ему в лицо синими влажными глазами. На ней было черное платье, на левой руке желтело вдовье колечко.

Никогда потом Федор не мог понять, что с ним произошло в ту минуту, когда они сидели вот так, друг против друга, ни-

когда он не мог понять, какая сила подняла его с места и перенесла к Оксиньке. Да, он подошел и произнес с отчаянной решимостью:

— Ксения Ивановна, я люблю вас.

3

Матюшкин зажил у лейтенанта Стогова по-холостяцки, по-приятельски. Каждый вечер ташил он Эразма в дом Петра Ивановича, уверяя, что Рикорд ему уж очень по душе пришелся. Стогов ухмылялся и послушно сопровождал Федора. А однажды вскользь заметил, что такая уж у него, видно, планида — быть шафером. Федор и рассердился, и обрадовался, и задумался. Ему и в самом деле пора бы уж сделать предложение. В согласии Ксении сомнений нет. Он беден? Это так. Но ведь с милым и в шалаше рай. Только где он, шалаш? Каюта корабельная — вот где. А разве мало в Кронштадте женатых моряков, над которыми он прежде столь глупо посмеивался? Не мало. Так за чем остановка?

Он и сам не знал, что его удерживает. Она подсказала, что нужно делать. «У вас матушка в Москве?» — «В Москве». — «Вы не видели ее...» — «Три года с лишним». — «И вам не совестно?» — «Совестно». И впрямь совестно. Но уехал он не только по этой причине. Уехал, чтобы решиться.

В Петербурге Матюшкин задержался дня на два в обычном своем петербургском пристанище — в гостинице Демута, на набережной Мойки, большой, старой, пропахшей нюхательным табаком и пылью.

Слуга нес его чемодан полутемным коридором. Из сумрака внезапно появился Пушкин: с резкими морщинами, заросший бакенбардами. У Федора дрогнул подбородок. Пушкин обнял Федора с коротким, похожим на всхлип выдохом и, не отпуская его руки, стремительно повлек к себе.

Комната Пушкина выходила окнами во двор. На дворе было мерзко, шел дождь, и в комнате тоже была холодная сиротливая полутьма.

Пушкин не спрашивал Федора, что он, как он. Пушкин прислонился спиной к голландской печке и сказал:

— Я видел Вилю.

Матюшкин знал, что Кюхельбекер после восстания на Сенатской площади бежал, скрывался, но вскоре был пойман. И вдруг: «Я видел Вилю». Федор сел, пристально вглядываясь в Александра. У Пушкина было желтое, как после тяжкой болезни, лицо.

— Когда? — едва слышно спросил Федор.

— Намедни. Я возвращался из деревни и дожидался лошадей в Залазах. Слышу бубенцы: тройки, фельдъегерь, арестан-

ты. Я вышел взглянуть и... — Пушкин сложил руки крест-накрест, сунул ладони под мышки, словно его зазнобило. — И увидел Вилю. Он был во фризовой шинели, с черной бородою, исхудалый, бледный...— Пушкин откинул голову, прислонил затылок к изразцам и продолжал быстро, лихорадочно: — Мы бросились в объятия, жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательствами. Виле сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали...

Он зябко передернул плечами. Из глаз Федора потекли слезы. «Какая гиль, — подумал, злобясь на себя,— все эти мои заботы, колебания!..» Он обнял Пушкина, бережно усадил на диван, и они долго сидели рядом, прижавшись плечом друг к другу.

Что было делать в этой Северной Пальмире?

У Синего моста не шумел рылеевский «клуб». В доме Пушиных, на Мойке, не ждали больше милого Жанно. На Екатерингофском проспекте в казарме Гвардейского экипажа смолкли голоса вольнолюбцев. А на Галерной? Головнин отводил глаза, разговор у них с Федором не клеился.

Нечего ему было делать в этом Санкт-Петербурге...

Ямские лошадки звякали колокольцами на Московском тракте. Мокрые вороны каркали с голых деревьев.

4

Сосновые поленья трещали пороховым треском. Пахло шафраном. Портрет круглолицего, чуть курносого надворного советника, покойного батюшки. А рядом — маменькин. Сколько ей тут? Двадцать два, должно быть. Как ныне Ксении... Годы изживает в одиночестве. Много ль радости от сына? Навигатор, скиталец морей... Ну а какое ждет тебя море? В третий раз не угодишь в дальний вояж. Вот у Врангеля все по ранжиру: получил капитана первого ранга, женился в Ревеле на баронессе Россильон... Прехорошенькая, говорят... Отпросился на службу в Российско-Американскую компанию, укатил с молодой за океан, на остров Ситху. Отслужит пять годков да и воротится в любезную Эстляндию с немалой деньгой. А ты, братец, на лейтенантском коште еще насидишься. И добро бы при настоящем деле, а то ведь экипаж, фронт, смотры. Тьфу, пропасть!..

Нет друзей. Обитал некогда у Чистых прудов Миша Яковлев — перебрался в Питер, повышаясь в чинах, согласно табели о рангах.

Поехать в собрание, на бал? Известно, Москва невестами красна. Кой черт в невестах?..

Неприметно, как в полудреме, текут недели. Кружат на

дворе белые мухи, потрескивают дрова в печах. Напротив, в окнах Екатерининского института благородных девиц, мелькают быстрые тени. Эх, бедняжки затворницы!

Скука анафемская. Что же, однако, с тобой, Федор Федорович? Сидишь в вольтеровских креслах, книжка из рук валится, к бумаге и перу не тянет. Только и заботы, что табак переводить. Была Ксения... Смотри, брат, в Кронштадте-то вечера в Морском собрании с танцами, шарадами, шампанским. И какие туда альбатросы слетаются! Смотри, Федор, упустишь — не воротишь. Поцелуй — это тебе, брат, не воинская присяга. Уехать в Кронштадт? Жаль матушку. Как ехать? Сердце сыновнее есть иль нет? А впрочем, и в Кронштадт ехать не велика охота. Разбил тебя, Федор Федорович, душевный паралич...

А в канун пасхи пришло коротенькое, второпях писанное письмо Эразма Стогова. И в том письме — листок со стихами.

When man hath no freedom to fight for at home,
Let him combat for that of his neighbours;
Let him think of the glories of Greece and of Rom,
And got knocked on the head for his labours.
To do good to Mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly requited;
Then battle for Freedom wherever you can,
And, if not shot or hanged, you'll get knighted¹, —

прочел Матюшкин. И увидел под стихами: «Лорд Байрон».

На другой день Федор взял место в дилижансе и распросался с матушкой.

5

Условным знаком был дымный столп над Петергофом, и сигнальщик закричал громко и испуганно, как всегда кричали сигнальщики перед царскими смотрами:

— На адмиральском к вантам становятся!

И командир брига лейтенант Матюшкин тоже закричал громко и испуганно:

— Мар-совые к вантам!

¹ Что ж, если ты вступить не можешь в бой
За собственный очаг, — борись за дом соседа,
За Греции права, за Рима блеск былой...
Пусть ждет тебя иль смерть или победа.
Кто может за других живот свой положить,
Тот духом рыцарским бесспорно обладает.
Не все ль равно, за чью свободу кровь пролить,
За чью свободу лавр твое чело венчает?

Перевод с английского С. Ильина.

Матросский строй рассыпался. Все было как надо, но Федор почувствовал недовольство — недовольство собой за этот испуг.

Он навел трубу на петергофский берег. Пароход шел оттуда, раздувая белые водяные усы. Впереди и вокруг был малахит залива, над заливом было ясное небо.

Федор посмотрел на флагманский корабль. В линзе мелькнул флаг начальника отряда: красный прямоугольник и белый квадратик в правом верхнем углу, перечеркнутый синим крестиком. Матюшкин чуть опустил трубу и увидел палубу флагманского фрегата: там уже взбежали на ванты.

— Пошел по реям! — крикнул в рупор Матюшкин.

Пароход приближался, кренясь на левый борт, и влево же развертывалось, вздрагивая на ветру, большое полотнище царского штандарта — черный двуглавый орел на желтом поле.

На флагманском ударил салют. После третьего залпа к орудиям фрегата присоединились пушки всей эскадры. Тяжелый гул покотился над заливом.

На сухопутных парадах царь верхом объезжал полки, на морских парадах обходил фрегаты и бриги на пароходе. Порывавшись с каждым, государь здоровался с экипажем, а в ответ громом: «Здравия желаем...»

Царский пароход подошел к бригу Матюшкина. Офицеры взяли под козырек. Матросы замерли. Пароход, застопорив ход, медленно и плавно протягивался вдоль борта брига. Николай стоял впереди свиты. Он показался Федору огромным. Глаза их на миг встретились. У Николая был взгляд цезаря: безотчетно суровый, цепенящий. И Федор почувствовал, как что-то в нем подло дрогнуло.

Матросы и офицеры на палубе семь раз прокричали «ура».

— Здорово, ребята! — громко, по-армейски молодежато и хрипло сказал Николай.

— Здравия желаем, ваше императорское величество! — отрубили на бриге и опять закричали «ура».

Пароход пошел дальше. Матюшкин сделал знак вахтенному, тот скомандовал:

— С рей долой!

Несколько минут спустя над царским кораблем взвился цветной набор флагов, значение которого знали все, не заглядывая в сигнальную книгу: «Государь император изъявляет особенное монаршее благоволение за порядок и устройство флота, жалует команде по рублю, по чарке вина и фунту мяса». И тотчас на всех кораблях, у всех офицеров и рядовых один вздох, одна мысль: «Уф, гора с плеч! Слава те, господи, пронесло...»

Федор скрылся в каюте. На сердце у него было нехорошо. Он не мог простить себе той подлой дрожи, которая, как

озноб, проникла в душу, когда он встретил взгляд Николая. Он лег на койку, закурил сигару, но табак показался кислым. Он бросил сигару и закрыл глаза.

Вошел вестовой:

— Капитанов требуют к адмиралу, ваше благородь!

На палубе флагманского корабля встретился Федору старший офицер лейтенант Стогов. Они поздоровались.

— Как думаешь, зачем? — на ходу спросил Эразм.

Матюшкин хмуро дернул плечом.

— А я думаю, за тем... — значительно улыбаясь, сказал Стогов, — за тем за самым!

Контр-адмирал Петр Иванович Рикорд кивком отвечал на поклоны капитанов. В отворенное кормовое окно тянул ветер, и седые редкие волосы на макушке и висках адмирала шевелились, придавая ему домашний, совсем не начальственный вид. Но вот он поднялся (и все капитаны поднялись тоже), вздел очки, голубые глаза его потемнели.

— Господа, — торжественно и строго произнес адмирал, — я призвал вас для того, чтобы объявить высочайшую волю.

За окном коротко и резко крикнула чайка...

Итак, свершилось. Эскадра отправлялась в Средиземное море, к берегам Греции.

Уже семь лет эллины бились за свободу. На знамени повстанцев была птица Феникс, символ жизни, возрождающейся из пепла, и символ самой Греции, поднявшейся на своего владыку — султанскую Турцию.

Семь лет. Годы громких побед и жестоких поражений. Годы лихих вылазок, стремительных набегов вооруженных пастухов и рыбаков, виноградарей и бродяг. После веков беславия — годы славы.

О, сколько говорилось про Грецию в Петербурге и в Москве, сколько говорилось о ней в ту пору, когда Федор воротился из Сибири. Пущин и Кюхельбекер, Кондратий Рылеев и моряки Гвардейского экипажа, все, кто мечтал «о введении в России нового порядка вещей», видели в греках-повстанцах братьев по духу. Еще тогда, в Петербурге и в Москве, услышал Федор о героях греческой народной войны. Их подвиги походили на мифы. Одиссей Варуз, сходивший со своим отрядом на берег Коринфского залива. Троекратная защита Фермопил. Марко Боцарис — рыцарь и поэт. Не ведавший страха Канарис. И гречанки, суровые и величественные: Модена Маврокианос — предводительница повстанцев в Эвбее; Констанция Захариос — вождь повстанцев в Лаконии; Бобелина — командир трех кораблей и отряда, овладевшего Навплионом.

Из портов Англии и Франции отплывали в Элладу добровольцы. Джордж Байрон погиб в Греции. Его друг Джон Трелонэ был сподвижником Одиссея Варуза. В рядах французских

волонтеров находился Сильвестр Броглио — воспитанник Царскосельского лицея... Для греков собирали деньги. Грекам тайком переправляли оружие. О восставших эллинах слагали стихи Гюго и Беранже, Пушкин и Рылеев.

Но правители Англии, Франции и России не спешили помочь восставшим. Слишком противоречивы были политические дворцовые интересы Зимнего, Сент-Джемского и Тюильри. Париж и Лондон побаивались влияния Петербурга в Средиземном море. Петербург не желал, чтобы там первенствовал Лондон или Париж. Лондон и Париж косились друг на друга.

Наконец Николай (ему важно было согнуть турецкого султана) объявил, что он решительно поддержит «несчастливых единоверцев, погранных властью полумесяца». Лондон и Париж тотчас выказали пылкие христианские чувства. Все вдруг заторопилось. Ни в Лондоне, ни в Париже не хотели, чтобы Петербург вырвался вперед, и тройка держав впряглась в союзническую колесницу.

В тот год, когда Федор Матюшкин заканчивал плавание на «Кротком», Средиземное море пенили эскадры британская, русская и французская. В октябре 1827 года турецкий флот был атакован и сожжен в Наваринской бухте. Однако война не закончилась, Константинополь не терял надежды на победу. К тому же султан знал, что среди союзников нет сердечного согласия. И война продолжалась. Корабли под флагом с полумесяцем рыскали в архипелаге, доставляя рабов на батистаны — невольничьи рынки. Горели греческие селения, в маленьких крепостях-пиргосах отбивались от турок изможденные повстанцы.

Греция сражалась за свободу. И когда Федор узнал от Стогова, что есть возможность отправиться в Средиземное море, он ринулся в Кронштадт. «Борись за свободу, где можешь...» — повторял он следом за Байроном.

Начальником эскадры был назначен Петр Иванович. Федор явился к нему и сказал, что если его, лейтенанта Матюшкина, не возьмут в Средиземное море, то... то... Рикорд поглядел на него своими добрыми, уже терявшими яркую голубизну глазами. «А Ксения?» — спросил он напрямик. «А Людмила Ивановна?» — не особенно почтительно ответил Федор. Старик вздохнул, покачал головой, сказал: «Хорошо».

Он сдержал слово. Больше того: лейтенант Матюшкин как опытный навигатор, дважды обогнувший под парусами земной шар, получил отличный четырнадцатипушечный бриг «Ахиллес».

И вот поутру эскадра снимается с якорей. Государь шлет корабли для державных притязаний на море, а Федору Матюшкину этот поход — искупление перед сибирскими изгнанниками. «Борись за свободу, где можешь...»

Недели две, как Федор и Ксения были помолвлены; в Кронштадте это знали, Федор совсем уж запросто бывал в доме Рикордов.

Известие о назначении Федора в боевой поход Ксения приняла без слез и обмороков, не в пример прочим кронштадтским невестам. Однако, оставаясь наедине с ним, говоря о чем-нибудь постороннем или наигрывая ему сонаты, она иной раз так бледнела, что жених звал на помощь Людмилу Ивановну.

Тревога Ксении печалила и радовала Федора. Черт возьми, впервые в жизни — а ему ведь как-никак скоро тридцать — объявилось на свете существо, для которого он значил столь много. Правда, матушка тоже вечно пребывала в страхе за своего Феденьку. Но матушкины тревоги — дело натуральное и привычное. А Ксенины... От Ксениных сладостно сжималось сердце.

Да, Федор подумывал, что может сгинуть в чужих краях: «Пули — дуры, и бури — дуры». И тогда он ловил себя на желании тотчас идти под венец. Однако дал слово — держись. А Федор дал слово Рикордам венчаться после греческой кампании. Людмила Ивановна и Петр Иванович, заменявшие Ксении родителей, не хотели видеть свою воспитанницу овдовевшей вторично. А ведь могло случиться: «Все, батюшка, под богом ходим».

Накануне отплытия был прощальный вечер. В дом контр-адмирала сошлись офицеры с женами. За ужином тосты следовали один за другим. Сперва официальные — за государя, за победу русского оружия. Потом свои, кронштадтские: «Здоровье того, кто любит кого», «Здоровье глаз, пленивших нас». Сосед Федора, капитан-лейтенант Замыцкой, командир брига «Телемак», хмелея, дергал Матюшкина за рукав:

— А по-флотскому-то как? Борт о борт и вверх килем! — И, звякнув бокалом своим о бокал соседа, он опрокидывал склянку с истинно флотской питейной лихостью.

Рикорд со старомодной галантностью ухаживал за дамами, шутил и поглаживал седые свои пышные усы, но все замечали, как грустнел он, взглядывая на Людмилу Ивановну.

Эразм Стогов сидел напротив Федора и Ксении. По обыкновению, Эразм навалился на жаркое, с шутливым смущением говорил лакею:

— Ты, братец, знай накладывай.

Федор пил мало. Посреди застольного шума он совершенно отчетливо осознал то, что, казалось бы, вовсе не было для него новостью, но теперь только представилось так реально. Он осознал, что завтра — завтра! — не увидит ее. Не увидит этих глаз, этих волос, не увидит вот этой жилки, маленькой

родинки, этого прямого, гибкого стана. Он слышал ее голос, пожалуй несколько низкий для такой прелестно-изящной женщины, и думал, что завтра она будет смеяться, разговаривать вот в этих комнатах, а он не сможет переступить порог. И он невпопад говорил что-то, забывал вовремя подхватить очередной тост, не слышал язвительно-дружеских замечаний Стогова.

Между тем стулья задвигались, все шумно встали из-за стола. В соседней зале заиграла музыка. Мужчины постарше начали составлять партии в вист.

Федор танцевал худо и норовил отсидеться в уголке. А Ксению приглашали то лейтенант Мятлев, то мичман Петруша Скрыдлов, такой же мальчишески розовый и бойкий, как и три года назад, то сам Петр Иванович Рикорд, танцевавший, несмотря на годы, легко и ловко.

В комнатах становилось душно, и, хотя окна были растворены, свежесть белесо-зеленой балтийской ночи не могла одолеть духоту.

7

В то время как эскадра Рикорда, торопясь на помощь грекам, бежала к Гибралтару, лейтенант Стоддарт, командир брига его величества, прибыл на остров Корфу.

Стоддарт, красивый белокурый малый, страсть не любил, чтобы им понукали штатские. Однако адмирал Кодрингтон приказал ему отплыть из Ла-Валетты на Корфу в распоряжение лорда-комиссара Ионических островов сэра Фредерика Адамса. И лейтенант Стоддарт покинул остров Мальту, обогнул на своем бриге «Феллоу» Италию и поднялся на север Адриатическим морем к острову Корфу. И все это только затем, чтобы в это чудное утро, пройдя улочкой Страда Марина, оказаться в урюмой резиденции сэра Фредерика.

Лейтенанта принял Даниэль Байли, помощник и правая рука лорда-комиссара. Это был тот самый Байли, что прежде служил в британском посольстве в Петербурге, тот самый длиннолицый, костистый джентльмен с острыми глазками в воспаленных веках, который некогда имел честь помочь капитану Кокрену в его отважном предприятии.

Впрочем, лейтенант Стоддарт не знал ни послужного списка Байли, ни его прежних знакомств. Лейтенант Стоддарт знал только одно: отныне им распоряжается «этот старый сухарь».

— Начнем издалека, дорогой лейтенант. Известно ли вам, что еще весной прошлого года греческое народное собрание провозгласило президентом Греции графа Каподистрия?

— Да, сэр, малость наслышан.

Байли кольнул его остренькими глазками:

— То, что я хочу вам сказать, непосредственно касается вашей будущей деятельности.

«Час от часу не легче», — подумал моряк и вежливо произнес:

— Я весь внимание, сэр.

— Итак, — продолжал Байли, — граф Каподистрия избран президентом Греции. Я знал его в Петербурге. В мое время он был статс-секретарем русского министерства иностранных дел. Да, он грек, уроженец Корфу. Но он долго был в русской службе. Потом рассорился с покойным императором Александром, жил в Женеве и держал тесную связь с греческими мятежниками. Теперешний император обласкал его. Впрочем, как бы ни складывались отношения графа с русскими государями, он всегда придерживался русской ориентации. Он этого и не скрывает. Недавно сказал австрийскому посланнику: «Подозревают, будто я передался России. А почему бы и нет? Но, во всяком случае, я остаюсь прежде всего греком». Каков, а? Он отлично понимает, что Россия больше нас с вами, лейтенант, заинтересована в подлинной независимости Греции от султана. Куда больше нас и французов. Независимость Греции есть ослабление Турции. Ослабление Турции есть усиление России. Разумеется, — скрипел Байли, — русские поддерживают графа. Русская эскадра, можно сказать, главная его опора. А теперь спешит еще один русский корабельный отряд. — Он покосился на каминные часы. — Вот, собственно, все, что я хотел предварительно сообщить вам, сэр... Вы готовы сняться с якоря? — Байли сделал резкий жест, точно перерубая ладонью якорный канат.

— Хоть сейчас, сэр!

— Отлично. Итак, Аргонидский залив, Навплион. Дальнейшие указания — от тамошнего негоцианта Абадиоса. Это наш человек.

8

Могучий свет. До зенита золотистый, туда, в глубину, — голубой. И ветры. Шквалистые близ Испании. Стремительные с гор архипелага, вмиг покрывающие море хлопковой пеной. И южный, вкрадчивый, как шепот.

Южный ветер дул в лицо. Федор видел миражи Средиземного моря. Финикийская галера вспарывала волны, финикийский моряк смотрел на Полярную звезду... Гребцы расписной триеры склонялись в лад, спины у гребцов лоснились, сигнальщик играл на флейте... Пунические плователи, сожженные солнцем Африки, шли на римлян, а длинные либуры римских мореходов рассекали волны... Косые тени отбрасывали паруса венецианских высокобортовых нефов, и золотило солнце резную корму португальского каррака...

Шныряли бригантины пиратов, переваливались купеческие суда, груженные тонкими винами Хиоса, оливковым маслом и пурпуром, рабами и оружием... Дул южный ветер, Федор шурился.

Вдруг он широко раскрыл глаза, вскинул подзорную трубу. В ту минуту, когда он уже отчетливо различил на горизонте неприятеля, с корабля Рикорда прозвучала сигнальная пушка. К Матюшкину подбежал мичман Скрыдлов:

— На адмиральском тревога!

Едва «Ахиллес» повторил действия флагмана, как с корабля Рикорда последовало приказание: капитану Матюшкину преследовать неприятеля и завязать бой.

Бриг полетел. Вскоре расстояние между ним и задним турецким кораблем сократилось настолько, что Матюшкин велел открыть огонь из носовых пушек. Турки ответили кормовыми пушками, торопливо и неудачно. Но Матюшкин не соразмерил скорости сближения с противником, и тот, поспев развернуться бортом, обрушил залп. «Ахиллес» дрогнул, Федор почувствовал, как у него что-то оборвалось внутри. Взметнулись щепки: были разбиты две шлюпки и часть палубы. Упал сигнальщик. На корме стрельнуло пламя. Федор увидел, что Рикорд близко, подумал: «Продержусь» — и тоже начал разворачиваться бортом к неприятелю.

Когда южный ветер одолел дым, флагманский корабль уже вел бой с турком. Второй турецкий корабль бежал, бросив товарища. Рикорд бил методично и упрямо; турки кидались за борт.

Бой кончился взрывом турецкого корабля. Огненный вихрь взметнулся. Наступила тишина. И странными были это сияющее море, этот солнечный блеск.

Когда вернулись шлюпки, подобравшие турок, Федору передали, что у Рикорда убито семеро матросов и офицер. «Кто?» — спросил Федор. «Лейтенант Стогов», — ответили ему. «Эразм?» — произнес Матюшкин, словно не понимая.

Федор долго пил воду. Вода стекала на сюртук. Потом взял сигару, закурил. Мысли его упорно убегали от Эразма, от смерти Эразма. Он выкурил половину сигары, закурил новую.

Он обошел бриг. Постоял рядом с плотниками, глядя, как они заделывают пробоины. Посмотрел, как матросы латают паруса, меняют перебитые снасти. И спустился вниз к раненым. Над ними хлопотали лекарь с помощником в кожаных фартуках, залитых кровью, с засученными по локоть рукавами. Федор ожидал услышать мольбы о помощи. Но было тихо. И это безмолвие неприятно и тяжело поразило Федора. Он заговорил с матросами нарочито бодрым тоном, но они молчали. Им нужны были какие-то иные слова, Федор созна-

вал это и не находил других слов. Помешкав, он строго наказал лекарю, чтобы раненым ни в чем не было отказа.

Потом Федор велел дежурным гребцам спустить шлюпку, отправился на флагманский фрегат.

Гроб стоял посреди жилой палубы. Корабельный священник отпевал убитого. Офицеры были певчими. Команда сумрачно теснилась у гроба. «Упокой, господи, душу усопшего раба твоего», — пели офицеры. Позади и вокруг Федора матросы опускались на колена. Федор нагнулся и тронул губами лоб Эразма. Запели «Зрящие мя безгласна». Офицеры друг за другом начали подходить ко гробу. Следом за ними — матросы. Вся команда, весь экипаж фрегата. И Федор еще раз, последним из всех, поцеловал Эразма.

Гроб подняли и понесли. Молодой белокурый матросик, похожий на послушника, держал в руках икону. За гробом шли адмирал Рикорд, офицеры, матросы. Так прошли они, согласно морскому обычаю, по кораблю, через правую сторону на левую.

На верхней палубе гроб поставили близ борта и забили крышку. Отец Михаил пропел литию.. Ударили ружья. Четверо офицеров медленно приподняли гроб, гроб плавно скользнул за борт, и сквозь шум волн донесся тяжелый всплеск. Отец Михаил, склонившись за борт, крестил воду, черный рукав его рясы реял вороном. Федор отвернулся и заплакал.

9

«Ахиллес» шел в одиночестве.

Рикорд направился в критские воды наперехват турецким кораблям; турки, по слухам, готовились перебросить подкрепления из подвластного им Египта.

«Ахиллес» держал в Арголидский залив: бриг Матюшкина поступал в распоряжение президента Каподистрия.

Первым клочком греческой земли был мыс Матапан. Его скалы резко обрисовывались в прозрачном воздухе. В камнях, увенчанных пеной, бесился прибой. Обыкновенное и привычное Федору зрелище: прибой и камни. Но то были камни Греции. «Борись за свободу, где можешь...»

Ветер дул средний. У входа в Элафонисский пролив рухнул дождь. Бриг проскочил, дождь остался за кормой; видно было, как дождевые полосы, подсвеченные солнцем, падали на воду. Обойдя мыс Малая, «Ахиллес» взял мористое и стал подниматься к северу. Выше тридцать седьмой параллели начался Арголидский залив; пройдя неподалеку от острова Платия и лавируя под малыми парусами, бриг показался у Навплиона.

Навплион — башни, дома, обрывы, рощи — виделся дваж-

ды: подлинный и отраженный зеркалом вод. Над замком развевалось бело-голубое знамя с птицей Феникс — символом возрождающейся Греции...

У человека, который поджидал русского офицера на пристани, была одна рука и два пистолета за поясом. Он снял вязаную шапочку:

— Кивернитес ждет вас.

Кивернитес — означало кормчий. Кормчим греки называли Каподистрия. Однорукий Кокони служил у него ординарцем.

Мелкие камешки сухо постукивали под ногами. Переходя из улочки в улочку, они поднимались по выщербленным ступеням. Каменные дома, каменные ограды. Из дерева разве что решетки на окнах. Усатые греки в широченных шароварах здоровались с Кокони и кланялись Федору, признавая в нем русского. Кошки грелись у порогов. Пахло оливковым маслом, рыбой. Старухи в монашеских платках выглядывали из дворов

Дом президента отличался от других домов Навплиона, пожалуй, лишь тем, что во дворе, усыпанном галькой, расхаживала стража — дюжина рослых солдат в полинявших мундирах.

Каподистрия принял командира брига в большой светлой комнате; в комнате были столы, заваленные рукописями, кресла, книжные шкафы. Федор отдал президенту пакет от адмирала Рикорда и внимательно посмотрел на Каподистрия. У графа были седые волосы и совсем еще черные брови, узкое свежее лицо и высокий, в морщинах лоб.

— Ах вот оно что! — Каподистрия, читая письмо Рикорда, улыбнулся. — Так вы из лицейских?

— Да, господин президент.

— Прошу покорно, зовите меня Иван Антонович. — Он отложил письмо. — Это напомнит мне Петербург, моих тамошних друзей.

— Слушаюсь, Иван Антонович.

— Ну, вот, так-то лучше. Стало быть, лицейский? Очень рад! Я некогда был короток с Энгельгардтом, директором вашим. Почтеннейший человек. Как он? А что Пушкин? Сверчок... Так, кажется, звали его в дружеском кругу? Я ведь, грешный, причастен был несколько к литературной братии...

Федор заранее был расположен к Каподистрия, но когда он так живо и сердечно заговорил о Лицее, о Пушкине, Федор почувствовал к нему нечто большее, чем простое расположение, и, улыбаясь, начал рассказывать, что Егор Антонович все тот же, одевается по старинной, осмнадцатого столетия, моде, бодр и деятелен, живет на Васильевском острове; что Пушкина видывал не раз и что Пушкин просился на театр

военных действий против турок (Каподистрия покачал головой), но государь наотрез отказал, и Пушкин от огорчения заболел, и что ему, Матюшкину, посчастливилось прочесть «Бориса Годунова»...

— Да, Россия обрела в нем своего Байрона... Ну-с, а что подельывает мой прежний сослуживец, милейший Горчаков? Он ведь тоже вашего выпуска?

Князь Горчаков, дипломат, «баловень фортуны», был однокашником Федора, но Федор недолюбливал князя и встреч с ним не искал; видались они лишь раз, после сибирского путешествия, в Петербурге, да и то мимолетно, и встреча вышла холодная.

— Блестящий молодой человек, — заметил президент. — Далеко пойдет, далеко.

— У нас, Иван Антонович, блестящими молодыми людьми пруд пруди. А вот честных и дельных мало. Были, но... — Федор осекся.

— Происшествие четырнадцатого декабря? — Темные брови Каподистрия вопросительно приподнялись. — Ужасное происшествие. Молодые люди жестоко заблуждались. Я изучал историю революций голландской, американской, французской. И даже трактат написал. Есть страны, мой друг, еще не созревшие для конституционных установлений...

— Греция в их числе? — спросил Федор резко, спохватился и добавил мягче: — Простите, но мы так разговорились, что я счел возможным...

— Нет-нет, отчего же...

— Видите ли, господин президент... Вы позволите мне быть откровенным?

— Я никогда и ничего так не желаю, как откровенности. Однако... — он улыбнулся, — почему же опять «господин президент»?

«И чего это я так распахнулся?» — оторопел Федор. Ему стало досадно на свою столь быструю откровенность.

— Видите ли, — сказал он, — я, натурально, еще не знаком с положением страны, вверенной вашему правлению... И потому, разумеется, не смею досаждать вам... Но... но если вы позволите, мы могли бы продолжить наш разговор, когда я несколько осмотрюсь. Если, конечно, вы сочтете это возможным...

— Непременно продолжим, Федор Федорович, — любезно согласился президент. Он секунду помолчал и сказал по-прежнему доброжелательно и спокойно: — Вам и команде следует отдохнуть. Рассчитывайте на неделю *dolce far niente*¹. Где вы полагаете остановиться?

¹ Приятное безделье (*ит.*).

— На корабле.

— Воля ваша, но — вот мой дом.

Федор поблагодарил.

Возвращаясь на бриг, он хмуρο покусывал ус. «Доколе, господи? Молчи, таись! Вечная оглядка. Экое подлое рабство! Там, дома, в России, молчи, таись, цепеней. Здесь тоже. Граф может... конечно, может!.. Отпишет в Петербург: прислали, дескать, потаенного бунтовщика...»

10

Миновал недельный отдых, а Каподистрия все еще не отправлял Матюшкина в плавание. Президент дожидался курьера из итальянского города Анконы, но курьера не было, и Федор переехал с брига в маленькую гостиницу на площади Трех Адмиралов.

Возвращаясь от Каподистрия, он садился у окна, зажигал свечу, писал длинные письма Оксиньке.

Окно выходило в садик, обнесенный низкой каменной стеной. Посреди высился кипарис, такой рослый и широкий, что, казалось, темной громадой своей рассекал надвое небосклон, усеянный звездами. Были в саду и оливковые деревья, сухие, искривленные, словно тощие грешники, корчащиеся в невидимом адском пламени. Струилась вода и, всплескивая, наполняла бассейн, на краю которого с кувшином в руке возлежал пузатый сатир.

Хорошо было в эти ночные часы, когда камни, остывая, источали древнее тепло, когда звенела в бассейне вода, а богатырь-кипарис стоял неподвижно, развалив надвое ясное звездное небо. Хорошо было писать в эти ночные часы длинные письма, полные тех милых глупостей, которые имеют цену лишь для влюбленных. Наверху просыпался внук хозяина гостиницы; мать, баюкая его, напевала колыбельную:

Жил-был старый дедка,
С ним горластый Петька,
Что девал на зорьке,
Подымая дедку.
Но пришла лисица
И загрызла Петьку,
Что певал на зорьке,
Подымая дедку.
Но явился псина

И загрыз лисицу...

Федор курил и слушал сонный голос гречанки.

В одну из таких ночей его вызвал президент.

Каподистрия был бледен: на юге Пелопоннеса начался мятеж; мятеж поднял правитель области Мавромихали.

— Он не меня предал, — взволнованно говорил Каподи-

стрия. — Не меня, но Грецию! Он хочет поднять на Грецию... Кого же?! Спартанцев! Изменник... Вероломный старик... Нет, он не позабыл, оказывается, почестей и денег Константинополя. Что? Да-да, был правителем Майны еще при турках... Я поверил, что будет служить новой Греции. Двое сыновей погибли за нее. И я оставил его правителем. Я посылал ему ежегодно двести тысяч пиастров. И вот он поднимает бунт, творит разбой, грабит казначейства. Смотрите, мне пишут члены народной думы: большинство спартанцев за правительство...

Каподистрия разложил карту юго-восточной части Пелопоннеса.

— Послушайте, Федор Федорович... Только что прибыл курьер из Анконы. Тамошний российский консул извещает, что готов отпустить семьсот бочонков пороха. Вы понимаете, как это важно для нас? Пора в путь. — Он протянул Федору узкую руку. — И возвращайтесь скорее. С богом. Дайте обниму...

«Ахиллес» ушел из Навплиона вслед за облаками; облака валили через горы к морю. В то самое утро к Навплиону приближался английский бриг «Феллоу». Лейтенанты Матюшкин и Стодарт обменялись приветственными сигналами и вскоре потеряли друг друга из виду...

Обежав Пелопоннес, Федор взял курс на северо-запад. Море было синее синего. «Цвет морской пустыни», — говорили натуралисты в своих книгах. Быть может, так, если зачерпывать воду сачком. Но когда оглядываешь этот горизонт... О нет! Ионическое море не было пустыней. Корабли военные и купеческие встречались часто. То английские, то французские, то свои, русские. Шли купцы Сардинии, торговцы Марселя, негоцианты Триеста. Британский корвет спешил с депешами из Ла-Валетты в Навплион. Французский фрегат вез посланника в Неаполь. Русский курьер держал путь в Петербург. Маячили на горизонте и скрывались, как призраки, неведомой нации суда — должно быть, пираты...

И вот уже в полуденном небе начертаны, словно свинцовым карандашом, свободные, смелые линии. Италия!.. Еще ближе — и открывается Анкона, на скл¹онах, в долине... «Ахиллес» ложится в дрейф у брандвахты с флагом папы римского — белое полотнище и лик мадонны. Мичман Скрыдлов везет на брандвахту корабельные документы. Все в порядке, можно следовать в порт.

Еще только отдают якорь, а шлюпки уже окружают бриг. Восклицания и быстрые жесты, печальные глаза и протянутые

¹ Судно, поставленное на рейде или в устье реки для наблюдения за входящими и выходящими кораблями.

руки, музыка, улыбки, пение: это налетают на моряков анконские портные и музыканты, нищие и барышники, актеры и фокусники.

Федор съезжает на берег. К. нему подкатывает коляска, чернявый кучер ловко щелкает кнутом.

Какой хорал звучит в древнем соборе?.. А вот и биржа. Не биржа — прямо-таки Меркурия храм. Анкона, Анкона... Как мелодичен перезвон твоих колоколов, как, должно быть, весело вон тем пригожим горожанкам, что стрекочут, жестикулируя, подле бассейна с фонтаном! А эти узкие улочки, эти старинные дома, и узорные решетки, и маленькие уютные площади...

Капитан Матюшкин представляется российскому консулу. Консул, неаполитанец родом, человек бойкий, верткий, мешая русские слова с итальянскими, усаживает капитана к столу. О, он угостит синьора Матюшкина превосходным обедом. И впрямь Федор еще не едал таких блюд: жареная рыба и жареная зелень в пяти видах. Консул подливает вина, говорит, что адмирал Рикорд уже блокирует Дарданеллы; Константинополь, султанская столица, испытывает голод. Федор ест и пьет и говорит о мятеже в Майне, о том, что Каподистрия посылает на мятежников батальоны регулярной армии. Консул наливает Матюшкину еще бокал и рассказывает, что союзники очень недовольны президентом и, как слышно («но все это, разумеется, между нами»), помышляют об устранении Каподистрия за его явное предпочтение русским...

В тот же день началась погрузка бочонков с порохом. Уверившись, что дело сладилось, Матюшкин едет в оперу. Нынче дают «Норму» Беллини. Он занимает кресло в партере, и его охватывает почти позабытое чувство приятного волнения и праздничности, какие он всегда испытывал на театре: и в Петербурге, во французской опере, и в лондонском Ковент-Гардене, где волонтером «Камчатки» слушал знаменитую певицу Квинтерлен, и в Рио-де-Жанейро, где смотрел итальянский балет...

11

Залп носового орудия, ядро просвистало. Однако неприятель шел прежним курсом. Второе ядро заставило его убавить парусов. Матюшкин подвел бриг на pistolетный выстрел.

— Какой нации? — по-французски закричал в рупор мичман Скрьдлов.

— Турецкой. Следую с депешами и ранеными в Александрию! — ответили тоже по-французски.

— Пусть держатся у нас под ветром до рассвета, — сказал Матюшкин мичману.

Тот опять закричал в рупор. Турок ответил, что должен исполнить долг, идти своим курсом. Матюшкин усмехнулся:

— Скажи: и мы должны исполнять долг, то есть в случае отказа открыть огонь.

Турки начали убирать паруса. «Ахиллес» дрейфовал неподалеку. Пушки его были наведены на турецкое судно. На обоих кораблях все затихло. Светила полная луна, шелестели волны.

На рассвете турецкий капитан поднялся на борт «Ахиллеса». Его сопровождал переводчик, испитой австриец.

— Передайте вашему капитану, — сказал Федор, — я должен осмотреть судно, заклепать пушки, разоружить команду и доставить вас в ближайший греческий порт.

Турок покорно вздохнул:

— Воля аллаха. Если греки меня не расстреляют, то уж Ибрагим-паша наверняка отрубит голову.

Шлюпки и баркас подошли к туркам. «Ак-Дениз» называлось это султанское судно. Еще несколько минут, и флаг с полумесяцем был спущен, его место занял андреевский.

Пока матросы отбирали оружие у турецкой команды, мичман Скрыдлов с двумя унтерами осматривал палубу. Австриец-переводчик и капитан следовали позади. Турок бормотал что-то.

— Господин мичман, — твердил австриец, — уж лучше бы начать с юта, там ждут вас кофе и настоящий турецкий табак. А Скрыдлов брезгливо прижимал к носу платок:

— Тьфу, пропасть, экая вонь!

Никогда он не думал, что на военном судне может быть такая грязь. Вдруг мичман склонился над люком: он увидел не раненых турецких солдат, а... греков.

— Кто это? — строго спросил он австрийца.

Переводчик не ответил.

— Кто это? — Скрыдлов схватил капитана за шиворот.

Капитан молчал.

— Пять минут, и чтоб все пленные были на верхней палубе. — Скрыдлов поднес к носу австрийца пистолет. — Вот сигара! Ну, живо!

Пленных было больше пятидесяти. Уже неделю задыхались они в трюме. Их везли в Александрию на невольничий рынок.

— Еще есть?

Турок отрицательно замотал головой. Испитой австриец с загадочной улыбкой взглянул на Скрыдлова:

— Есть и еще, господин мичман.

— Ведите.

Австриец что-то шепнул капитану. Тот умоляюще приложил руку к сердцу.

— По их обычаям нельзя смотреть гарем, — сказал переводчик.

— Здесь русский флаг, — вспыхнул мичман.
— Капитан не думал, что русские будут смотреть его сержант.

Скрыдлов побагровел:

— А мы не думали, что он торгует рабами.

— Извините, — сказал турок, опять прикладывая руку к сердцу. — Я равнодушно переносил свою участь, но теперь...

— Вперед! — гаркнул Скрыдлов.

Капитан сам отворил дверь большой каюты, бросил ключ и в сердцах плюнул.

Женщины были в греческом платье, но лица их закрывали покрывала. Они сидели неподвижно. В углу каюты торчал сморщенный коротышка.

— Евнух, — с усмешкой пояснил австриец.

Скрыдлов пробормотал: «Бахчисарайский фонтан», черт возьми!» — и энергичным жестом указал евноху на дверь. Коротышка заковылял вон. Пленницы тотчас сбросили покрывала.

— Я из Навплиона, — молвила одна, заливаясь слезами.

— Мои родные в Наварине. Спасите меня! — закричала другая.

Турецкий капитан лопотал:

— Неверность женщины неувидительна... Берите, берите...

Голова пропала, мне ль жалеть две тысячи пиастров, которые я уплатил за них?!

Два дня спустя Матюшкин повстречал в море отряд контр-адмирала Сахтури, сдал ему захваченный «Ак-Дениз», а сам устремился к Навплиону.

12

Вечером того дня, когда Стодарт положил якорь близ главной пристани, в Навплион вернулся негоциант Абадиос. Поздно ночью он заперся с лейтенантом в каюте.

Мятеж на юге Пелопоннеса был делом не только Петра Мавромихали и его приспешников, но и негоцианта Абадиоса. За Абадиосом стояли сэр Даниэль Байли, английские дипломаты. И вот теперь Абадиос наставлял лейтенанта. Стодарту надлежало тайно помочь мятежникам оружием. «Все это, господин лейтенант, должно совершить так, чтобы не навлечь подозрения русского союзника...»

В укромную бухту неподалеку от порта Алмирос фрегат пришел поздним вечером. Нигде не было ни былинки света. Лейтенант приказал спустить шлюпку, и вот уж она прихлопнула днищем.

Матросы гребли осторожно. Вода крутилась под веслами

черными воронками. «Феллоу» таял во тьме. А из тьмы надвигались скалы.

Стоддарт прыгнул на берег.

— Ждите меня здесь, — сказал он унтеру. — И смотрите, не курить!

Галька загремела под его ботфортами. «Где же они, дьяволы?» — недовольно подумал Стоддарт. Сказать по правде, он предпочитал честный бой, а не эдакие закулисные делишки. Но дисциплина есть дисциплина, черт ее побери, а приказ есть приказ, будь он неладен! Стоддарт опустил на обломок скалы.

Какие-то фигуры показались на мысу. Слышно было, как отфыркивались лошади.

— Здравствуйте, капитан, — сказал кто-то из темноты на ломаном английском языке.

Поехали сперва берегом, потом свернули на тропу. Тропа вывела к селению. Белели жилища спартанцев — двухэтажные башенки. Вокруг было безлюдно. Передний всадник осадил коня у ворот маленькой крепости, нагнулся к решетчатому оконцу, негромко сказал несколько слов. Ворота отворились. На дворе раздавались голоса, звон оружия.

Петро Мавромихали принял лейтенанта в просторной комнате. Ее убранство составляли ковры и дорогое оружие, развешанное на стенах. Стоддарт сел на груды подушек. Один из его провожатых был переводчиком.

— Господин капитан, — сказал он. — Петро-бей желал бы говорить в присутствии своего сына Георгия и брата Константина.

— Пусть войдут.

Младшие Мавромихали были в богатом одеянии. У обоих на руках перстни, оба стройны и черноусы. Они сняли фески и сели на ковры. Мальчик-слуга с испуганным красивым личиком подал кофе и трубки.

Петро-бей начал говорить. Речь его была быстра. Он потряхивал гривастой головой. Петро-бей говорил, что восстание задыхается. Почему? Большинство спартанцев не хочет идти против Каподистрия. Да-да, они не хотят, чтобы этот проклятый кивернитес был заменен более достойным человеком, который, видит бог, поладил бы и с англичанами и с французами.

Стоддарт был моряком, а не дипломатом.

— Мы привезли оружие и порох, — сказал он. — Какого еще дьявола?

— Что проку в оружии, — резко ответил Петро-бей, — когда из него некому стрелять?

Стоддарт выпятил подбородок.

— Уж не хочет ли Петро-бей, чтобы за него стреляли моряки королевского флота?

— Господин капитан, — вкрадчиво сказал сын Петро-бея Георгий, — не следует, однако, забывать, что наша фамилия в все наши друзья ненавидят Каподистрия. Что бы ни случилось в Майне, мы еще можем сослужить службу.

Стоддарт понял.

— Ладно, — сказал он лениво. — Мне приказано привезти оружие. Теперь... Что же? Оно вам не нужно? Что же нужно? Впрочем, я не уполномочен... Оружие не нужно? Так. Значит, я должен вернуться на корабль. Лошадей!

В комнату вбежал высокий бледный грек в изодранной куртке. При виде его Константин и Георгий вскочили на ноги. Но Петро-бей не шевельнулся. Высокий судорожно дергал ус.

— Говори, собака! — гневно крикнул старик Мавромихали.

Высокий сразу обрел дар речи. Все слушали его, замерев. Когда грек в изодранной куртке умолк, Петро-бей, не выпуская изо рта трубки, посмотрел на переводчика.

— Скажи этому капитану, пусть ждет до утра в бухте. Если утром от меня не будет вести, пусть идет на остров Идру со своим оружием. Скажи: так условлено. Скажи, это не мое слово. Это слово Абадиоса.

Стоддарт с одним провожатым погнал лошадей. До рассвета еще было несколько часов, но роса уже начала ложиться, тянул холодный предутренний ветер. На берегу они спешились.

— Что там у вас стряслось? — спросил Стоддарт, переводя дух.

— Этот человек, господин капитан, гонец из соседнего селения: подходят отряды Каподистрия.

— Что же вы будете делать?

— Драться, капитан.

Стоддарт пошел к шлюпке.

В ту ночь доносилась перестрелка, усиленная горным эхом. Дважды ухнула пушка, и английские моряки увидели отблески пламени. Лейтенант держал бриг наготове. Еще в Навплионе Абадиос сказал Стоддарту, что связан с Мавромихали через лазутчиков и что он, Стоддарт, узнает о дальнейших поручениях от Петро-бея... Лейтенанту показалось обидным плясать под дудку паршивого греческого торговца. «Чернявая устрица», — бранился Стоддарт, но послушно дождался известий от мятежников.

— Под кормой шлюпка, сэр, — доложили Стоддарту, когда уж взошло солнце.

В ялике сидел грек в красной феске. Стоддарт узнал своего переводчика.

— Сражение проиграно, — сказал грек, ловко взобравшись по штурм-трапу, — отряды Петро-бея рассеяны, сам Петро-бей, сын его и брат едва унесли ноги.

— Ну, — процедил Стоддарт, — чего вы хотите?

— Петро-бей должен укрыться на борту вашего судна, сэр. Ему грозит арест.

— Где он? — сердито спросил Стодарт.

— В нескольких милях к востоку, сэр. Я покажу.

Три часа спустя Мавромихали были на борту британского судна. Оно должно было доставить их на остров Идру, где уже готовились к новому восстанию против центрального правительства.

13

Матюшкин огибал мыс Матапан и думал о том, как бы поскорее добраться в Навплион. Но ветры дули слабые, а потом и вовсе заштило, и «Ахиллес» потерял ход.

Штиль, по счастью, был недолгим. На исходе вторых суток Матюшкин велел паруса окатить водой, чтобы они, высыхая, натянулись получше. Все это было исполнено; бриг полегоньку двинулся вперед и, должно быть, в тот же день оставил бы за кормой мыс Матапан, как вдруг послышались выстрелы.

Шлюпка-четверка гналась за бригом. На четверке палили в воздух. Восемь греческих матросов, низко сгибаясь, стремительно заносили весла и быстро выпрямлялись, резко и сильно вырывая весла из воды. «Ахиллес» лег в дрейф. Четверка подвалила к борту.

— В чем дело, ребята?

Один из греков помахал конвертом.

— Давай!

То была депеша от Сахтури. Контр-адмирал извещал командира «Ахиллеса», что прошедшей ночью батальон регулярной армии занял последнее селение, принадлежащее мятежнику Мавромихали. «Однако сам Петро-бей, — писал контр-адмирал, — укрылся на корабле неизвестной нации. Корабль сей не поспел, конечно, еще выйти из Мессинского залива, но, очевидно, идет в открытое море. Ввиду чрезвычайной важности задержания мятежника Петро-бея прошу Вас, господин капитан, занять пост близ мыса Матапан. Вверенные моему командованию бриги расположатся на выходе из Мессинского залива, начиная от мыса Акритас и далее к востоку. Ближайшим к Вам судном будет бриг «Тималион», командиру коего капитану Чиприоти дано мною приказание снестись с Вами. Надеюсь, корабль дружественной России примет участие в арестовании государственного преступника и тем окажет еще одну услугу свободной Греции. Вы, господин капитан и кавалер, возможно, будете испытывать нужду в опытном лоцмане, а по сему позвольте предложить Вам услуги подателя сей депеши. Примите уверения...»

Федор задумчиво повертел в руках конверт. Однако зада-

ча... Каподистрия ждет боеприпасов. Но Сахтури извещает, что мятеж подавлен. Значит, нужда в порохе покамест не так велика... А Мавромихали, эта продажная сволочь, должен быть схвачен.

— Лоцмана на борт! — приказал Матюшкин. — Гребцам обождать.

Он ушел в каюту и сел за письмо к командиру греческого брига «Тималион». Надо сговориться с капитаном Чиприоти: выстрел под ветер — значит, вижу судно; два выстрела — прошу рандеву.

Вечер застал «Ахиллеса» уже не на востоке от мыса Матапан, а к западу от него. Матюшкин занял дозорный пост. С берегов Пелопоннеса натекали сумерки, делая море лиловым. В кают-компани на диване отдыхал грек-лоцман. Матросы на баке курили, рассказывали разные разности, что называлось по-корабельному «звонить в лапти».

— На Великом, значит, окияне, на сальном, братцы, на буяне, в Балтийском море был рекрут-горе... — напевно и негромко плел кто-то из марсовых. — Службу служил да по деревне тужил... Много спал да мало знал, а по ночам на вахту боцман шибко гонял... За что? А так! За то, что рекрут был дурак... Дураков не жнут, не сеют, в службе, как жерновом, мелют, дураки сами родятся да на наши руки валяются...

В полдень сблизились «Тималион» с «Ахиллесом», обменялись сигналами, опять разошлись. А перед вечером пальнула сигнальная пушка с греческого брига, и на «Ахиллесе» тотчас пробили тревогу.

Матюшкин увидел корабль, вопросительно взглянул на Скрыдлова.

— Точно так, «Феллоу», — сказал мичман.

Федор потер щеку. Союзник, черт побери... Вот штука!

— Греки идут наперерез «Феллоу», — доложил Скрыдлов. — Сигнал с «Тималиона», Федор Федорыч.

— Что такое?

— Уверяют, то самое судно, на борту которого Мавромихали.

— Ответьте: начинаем сближение.

— Слушаюсь.

«Тималион» и «Ахиллес» подходили к «Феллоу». Англичане не могли не видеть их.

— Молчит, Федор Федорыч.

— Что это, наконец, значит? — вслух подумал Матюшкин.

Лейтенант Стодарт отнюдь не радовался союзникам. О, конечно, он бы всыпал таким стригам! Однако какой скандал грянет в высших сферах! И разумеется, на закланье отдадут его, лейтенанта Стодарта. Ну а если греки знают, где этот чертов Мавромихали?

«Тималион» и «Ахиллес» подошли к «Феллоу». На английский бриг явился капитан Чиприоти, старый хитрец, с лицом загорелым, веселым, морщинистым.

— Позвольте поздравить вас, — ласково сказал Чиприоти.

— С чем же? — нахмурился Стоддарт.

— Адмирал шлет вам поздравления от имени президента.

— Не понимаю, сэр.

— О, скромность похвальная, — сиял Чиприоти, — похвальная скромность, капитан Стоддарт. Вам удалось схватить важного преступника, посягнувшего на законное правительство свободной Греции. Позвольте от души...

Стоддарт, краснея, протянул руку. У него был вид школьника, попавшего впросак.

— Контр-адмирал Сахтури, — продолжал грек, так и лучась всеми морщинами, — надеется исхлопотать у союзных адмиралов награду, достойную вас.

Стоддарт наконец понял. «Ну и bestия!» — подумал он, с уважением глядя на маленького человечка.

А Чиприоти продолжал:

— Вы, конечно, теперь в Навплион. Сдать преступника законному правительству? Мне поручено сопровождать вас. И вот, — Чиприоти указал на русский бриг, — господину Матюшкину тоже. Не терпите ли вы в чем-нибудь нужды, сэр?

— Не-ет, — промямлил Стоддарт. — Благодарю вас.

14

Выслушав лейтенанта, Абадиос утратил свое любезное спокойствие. Ему страсть хотелось обругать красавчика, из-за нерасторопности которого старик Мавромихали угодил в темницу.

Однако какими бы полномочиями и доверием английских дипломатов ни был обличен грек-негоциант, он все же предпочел не выражать своих чувств вслух, ибо кулаки мистера Стоддарта заслуживали почтения, а склонность флотских офицеров к кулачной расправе была ему известна.

С кислой улыбкой Абадиос предложил лейтенанту кофе и ликер. Стоддарт весьма нелюбезно отказался. Его, видите ли, призывали на бриг какие-то неотложные заботы.

— Итак, мистер Стоддарт, — повторил Абадиос, провожая моряка в прихожую, — ваш «Феллоу» пусть дожидается распоряжений.

— Чьих? — буркнул Стоддарт.

— Моих, — наставительно и строго ответил Абадиос.

Стоддарт ушел, громко отстукивая каблуками.

Абадиос задумался.

Видит бог, он не щадил ни себя, ни капитала и в дело ос-

вобождения Греции внес свою лепту. Он и теперь бы поддерживал правительство, когда бы во главе не стоял Каподистрия. Граф, увы, ориентируется на российскую державу, а лучше британского льва нет и быть не может. О, конечно, граф человек умный, сердцем любящий родину, но его ориентация... Правда, он маневрирует искусно. Однако маневры прекратятся, едва турки будут окончательно сломлены... И сэр Байли намекнул недвусмысленно: пришло время решительных действий. Люди найдутся. Бедняга Каподистрия, у него мягкое сердце: он заточил в крепость лишь старого Петро-бея, а родственников не тронул, оставил в Навплионе под домашним арестом...

Недели две спустя Абадиосу удалось подкупить полицейского урядника, присматривавшего за Георгием и Константином Мавромихали. Подкуп удался без особого труда: урядник был столь же алчен, сколь и безобразен. А безобразен он был редкостно, хоть сейчас в кунсткамеру.

Почти каждую полночь бунтовщики являлись в дом Абадиоса. Он вел с ними осторожные разговоры. Оба готовы были вызволить Петро-бея из темницы и жестоко отомстить Каподистрию.

15

Президент надел темно-синий сюртук, надел шляпу, взял стек и вышел из дому вместе с ординарцем.

Было еще рано, но в улицах слышались голоса людей, торопившихся в церковь: в Греции, по старому обыкновению, заведенному в годы турецкого владычества, воскресные обедни служили чуть ли не на рассвете.

В переулке, у церкви святого Спиридония, небольшой и мрачной, но с веселой белой звонницей, уже собралась толпа, одетая в праздничные платья, и толпа эта, настраиваясь на серьезный и благочестивый лад, медленно втягивалась в храм.

Увидев президента, прихожане теснились к нему, кланялись. Каподистрия отвечал на приветствия. Вдруг он заметил Георгия и Константина Мавромихали. Ничего удивительного в том, что и они пришли в церковь, но какое-то неясное предчувствие заставило Каподистрию замедлить шаг. И не успел он поздороваться с Мавромихали, как грянули пистолетные выстрелы. Мавромихали стреляли почти в упор. Каподистрия был убит наповал.

Толпа закричала, послышались беспорядочные выстрелы. Все смешалось... Ординарец Кокони увидел, как один Мавромихали опрометью кинулся в переулок. Кокони выхватил пистолет, нажал курок. Осечка! Кокони выхватил второй пистолет. Выстрел. Беглец странно подпрыгнул, взмахнул руками, метнулся в сторону и скрылся из виду. Кокони озирался.

Где же другой? Вокруг слышались крики, топот, плач. Сполошно звонил колокол, металась над церковью, роняя перья, голубиная стая.

Матюшкин проходил в тот час неподалеку. Он поравнялся с кофейной, увидел в окнах нескольких офицеров, а на площади солдат, которые, составив ружья, курили, дожидаясь развода караулов. Федор уже собирался свернуть за угол, когда услышал крики и выстрелы.

Солдаты побежали. Федор — за ними. Несколько минут спустя они были уже у церкви. Труп президента укладывали на носилки.

— Убийца там... Туда, вон туда, где крепость Ич-Кале, — сказал какой-то офицер.

— Давай! — чужим голосом скомандовал Федор.

Офицер кликнул солдат.

Они догнали беглеца на окраине города. Константин Мавромихали ковылял, прижимая руку к спине: пуля Кокони раздробила крестец. Солдаты ринулись вперед, едва не сбив с ног Федора, и настигли убийцу. Тот упал с криком: «Пощады, пощады!»

Когда Матюшкин подоспел, Константин корчился, изуверченый прикладами. Федор приставил к виску его пистолет, выстрелил. Мавромихали дернулся всем телом, точно на него плеснули кипятком, и затих.

Весь день Федор провел в Навплионе. Комендант Альмейда просил его помощи на тот случай, если заговорщики, воспользовавшись смертью президента, начнут мятеж. Федор послал своих гребцов на «Ахиллес», приказав мичману Скрыдлову изготовить орудия к бою, а людям раздать оружие.

Лишь поздним вечером, убедившись, что власть прочно удерживают сторонники Каподистрия, Матюшкин оставил берег.

Очутившись на борту корабля, в каюте, Федор почувствовал себя совершенно разбитым. Он опустил в кресло и долго сидел, неподвижно глядя перед собою, думая, что хорошо было бы вымыться и переменить платье, и не находя сил окликнуть денщика. Наконец он позвал его и велел нагреть воды, однако, когда денщик явился и сказал, что можно баниться, Матюшкин рассеянно кивнул, но с места не двинулся.

Федор, не зажигая огня, просидел в кресле чуть ли не всю ночь. Мысли его текли несвязно. То виделся ему труп Каподистрия с простреленной головою, с седыми волосами, выпачканными кровью, то Константин Мавромихали, которого он прикончил, как собаку...

А утром пришла депеша. Контр-адмирал Рикорд приказывал командиру брига «Ахиллес» направиться к мысу Вати, что

на восточном берегу Пелопоннеса. Там, в пятнадцати милях к востоку от северной оконечности этого мыса, «Ахиллес» должен был соединиться с бригам капитан-лейтенанта Замыцкого и люгером¹ лейтенанта Мятлева. Далее депеша сообщала, что на мысе Вати греки прижимают к морю превосходящие силы противника и русские ударом с кораблей должны принудить неприятеля к сдаче.

Депеша Рикорда призывала его действовать, и он вышел из каюты хмурый, с воспаленными глазами, но вышел так, как выходил много лет назад капитан Головнин навстречу океанским штормам: нетерпеливый, с быстрым, зорким взглядом.

Как и было приказано, три русских корабля встретились близ мыса Вати. Красивое то было зрелище, когда они сближались, облитые светом эгейской зари, и ветер, упругий, звенящий, пахнувший эгейской солью, надувал тяжелые, грубые паруса.

На «Телемаке» собрался военный совет. Капитан-лейтенант Замыцкой держался радушным хозяином. Лейтенант Мятлев, плечистый коротышка, дружески жал руку Матюшкина. Греческий полковник, приехавший с берега, богатырь в поношенном мундире и с рукою на перевязи, сказал русским офицерам несколько приветственных слов.

Боевые действия решено было открыть нынче. Десантную партию поручили Матюшкину. В заключение Замыцкой поздравил Федора с производством в капитан-лейтенанты; приятную новость велел передать Федору адмирал Рикорд. Все стали поздравлять командира «Ахиллеса». Федор благодарил, улыбаясь смущенно. Черт побери, он на поверку вовсе не чужд чинам и наградам.

Около полудня «Телемак», «Ахиллес» и «Широкий» приблизились к мысу Вати на картечный выстрел.

Федору десант был внове. Он волновался, играл желваками, чувствуя во всем теле нервную дрожь. И, как всякий человек, идущий с десантной партией, стремился поскорее выбраться на берег и... страшился берега.

Корабли прикрывали высадку. Над головой Матюшкина взвизгнула картечь, с тугим свистом пролетели ядра. Потом он увидел на воде злые всплески турецких пуль. А на горах, окружавших долину, возникали, как хлопущие, клубочки порохового дыма. Они были все ниже и ниже: греки валили с гор на турецкий лагерь.

Берег был близок. Федор отчетливо видел турецкие завалы, скалы, рошу, видел пену прибоя. Вокруг баркаса вскипало все больше маленьких всплесков. Точно дождь шел. Артиллерия

¹ Люгер — трехмачтовый военный корабль малого тоннажа.

перенесла огонь дальше. «Пора! — подумал Федор. — Господи, помоги мне!» Он поднял руки с двумя пистолетами, прыгнул за борт шлюпки.

Вода была выше пояса. Он пошел, тяжело и сильно разгребая воду, чуть подпрыгивая при накате волны. «Только бы выскочить, только бы на берег...» — несло в голове его, хотя он и знал, что на берегу ждет рукопашная, но почему-то казалось, что надо только добраться до берега, и все будет хорошо.

Матросы закричали «ура», крик этот слился с прибоем, и Федор уже ни о чем не думал, а только сильно разгребал воду ногами и корпусом, высоко поднимая над головой заряженные пистолеты.

Сильный толчок отбросил правую руку; она стала легкой и как бы чужой. Он мельком взглянул на руку, все еще не опуская, а так и держа над головой, и увидел, что одного пистолета нет — вышиблен турецкой пулей.

Матюшкин, согнувшись, выскочил на берег. Следом за ним шли матросы. Наступили самые страшные мгновения: корабельные пушки уже не могли поддерживать десант, турки стреляли прицельно и дружно.

Но вот Федор скомандовал: «В штыки!» Он выхватил саблю; в левой руке его был пистолет. Он ринулся вперед, полный безотчетной ярости.

Матросы катились лавиной. Перед Федором вдруг возник рослый турок. Федор на миг зажмурился, ему обожгло, опалило щеку, но он будто и не почувствовал боли — ударил турка сапогом в пах, перепрыгнул завал.

Он рубил саблей, колотил пистолетом по чьим-то скулам, плечам, шеям...

Схватка была бешеная. Турки отступали в глубь долины. Матросы усилили натиск. Рукопашная продолжалась. С гор спускались греки. Где-то бил барабан... И этот дробный грохот звучал в ушах Федора, хотя он уже не бежал, не стрелял и не рубил саблей — он лежал, ткнувшись лицом в горячую каменистую землю.

Окно выходило в Финский залив. Чайки качаются на волне? Быть шторму. Там, за Толбухиным маяком, солнце багровое, грозное? Жди крепкого порывистого ветра, от которого взвоят домовые на чердаках Кронштадта.

Ксения научилась распознавать суда. Этот увалень с грязными, словно по ним веником возили, парусами? Казенный транспорт, идет с мукой в Свеаборг... Она отличала финские лайбы, груженные салакой, от ревельских посудин, набитых

картофелем... Она не путала яхту, принадлежавшую князю Лобанову-Ростовскому, с яхтой, принадлежавшей князю Голицыну... Без ошибки угадывала Ксения, куда направляются портовые баркасы: по служебной ли надобности или в шхеры — по грибы, по ягоды для офицерских жен... И теперь уже не оставлял ее равнодушной вид эскадры, когда кильватерным строем, в трепете вымпелов, вздымая бурун, стремительно, щегольски-горделиво шли корабли в балтийский простор, а за ними вскипал и пузырился пенистый след.

Но легла зима, залив покрылся льдом. Ветер гнал снежные столбики, и они бежали, змеясь и приплясывая.

Кронштадт зимовал.

Вечера в Морском собрании, любительские спектакли, хотя и не такие, как прежде, когда, говорят, лейтенант Николай Бестужев, ныне государственный преступник, сибирский каторжник, затмевал столичных актеров, — нет, не такие, как прежде, но все-таки... И хождение в гости. Именины, крестины, помолвки, свадьбы. А на масленицу — балаганы на Нарвской площади, заезжие лицедеи, шумное, пьяное, развеселое катанье на тройках с бубенцами.

Под барабанный раскат выходят на манеж флотские экипажи. Матросы маршируют, выпятив грудь, вздернув подбородок. А господа офицеры нет-нет да и засакивают в тракторчик — «для сугреву».

Дрогнут в гаванях фрегаты, бриги, люгеры. Без парусов кажутся они оголенными.

В штурманском училище корпят над картами боцманские и унтер-офицерские сыновья. Пальцы у них коченеют в плохо натопленных классах. В бочках с водой мокнут розги.

От портовых мастерских за версту несет лаком, дегтем, стружкой. Мастерские, большей частью из бывших флотских, чинят баркасы, строят шлюпки, знаменитые своей легкостью и прочностью кронштадтские шлюпки, выделывают все эти блоки, рымы, гаки, верпы — все то, без чего по весне не отправиться в путь балтийским судам.

А в доме Рикорда отбивают сумеречное зимнее время большие часы. Вправо — влево, влево — вправо качается маятник.

Петр Иванович присылал письма — свои и Федора — вместе с официальными рапортами в Морской штаб. Из Петербурга письма привозил Людмиле Ивановне нарочный унтер-офицер Нехорошков.

Штабного посыльного ждало обильное угощение. Это уж непременно. И младшая барыня садилась рядом. Оно, конечно, немного стеснительно для курьера, но и приятно.

Ксенин нравился, как чаевничал Нехорошков. Он поднимал блюдце в растопыренных пальцах, упирая локоть о стол, и дул сквозь усы, и мелко покусывал сахар. Ей любо слушать

неторопливый Михайлин говорок. Любо потому, что унтер был долголетним спутником Федора. И она выспрашивала и про то, как Федор тонул среди льдов полуночного океана, и как голодовал в колымской тундре. Нехорошков отвечал обстоятельно, с философским спокойствием. Напившись чаю, опрокидывал чашку вверх дном, отирал усы, поднимался, произнося: «Благодарствуйте. — И добавлял: — Так что, барыня, нет еще такой напасти, чтоб нашего Федора Федорыча скрутила». И Ксения была благодарна ему за эту его уверенность.

Однако с недавнего времени она заподозрила Людмилу Ивановну в сокрытии какого-то важного известия. Да и Нехорошков почему-то стал избегать чаепитий с вишневым вареньем, отговариваясь тем, что начальство-де приказывало «вертаться единым духом».

Недобрые Ксенины предчувствия подкреплялись молчанием Федора. Она попыталась добиться откровенности Людмилы Ивановны, но ничего, кроме «успокойся, милая, все хорошо», сказанного преувеличенно веселым тоном, не услышала.

17

Раненных в бою на мысе Вати привезли в Навплион и поместили в госпитале.

Капитан-лейтенант Матюшкин лежал в отдельной палате; на стенах палаты дрожали солнечные блики.

Французский хирург, приехавший в Грецию с первыми добровольцами и получивший здесь такую практику, какая и не снилась его марсельским коллегам, искусно извлек у Федора турецкую пулю.

Угрюмый, с крепко сомкнутым ртом медик, закончив операцию, долго держал в своей жилистой руке запястье Федора. Несколько раз сосчитал он пульс и вышел из палаты, ничего не сказав госпитальным служителям. Впрочем, и без слов было понятно: дело плохо, русский потерял много крови.

Однако неделю спустя хирург обронил: «Выживет». И ущипнул седеющую бородку, как делал всегда, находясь в хорошем расположении духа. А еще через неделю сказал: «Бьюсь об заклад, этот малый проживет мафусаилов век». И улыбнулся, что случалось с ним очень редко.

Бог мой, как он ослабел! Сядь на нос муха, и ту, кажется, не прогнать. А потолок покачивается, словно в каюте, когда судно на якоре. Федор опирался на локоть. Ну-ка... ну, еще... так... вот так... Ух, поворотился. Сам, без помощи служителя.

Он глядел в окно, на ясный день, прислушивался к сухому стуку копыт по каменным плитам площади Трех Адмиралов. «Борись за свободу, где можешь...» Братцы, сибирские из-

гнанники, ваш старый однокашник сделал свое дело. И он выживет, черт побери! Медик месье Лагранж сулит мафусаилов век. Благодарю, месье Лагранж, благодарю. У вас отличные руки, хотя они и были вооружены самым что ни на есть инквизиторским инструментом. Да, у вас отличные руки, а у меня, как вы говорите, великолепный организм. «Извольте мне простить ненужный прозаизм». Так, кажись, рифмует Пушкин?.. Пушкин, наш круг редеет. Далече Жанно, далече Виля. Но я всегда помню: «Верю, правда победит. Без этой веры темно жить». Так говорил Жанно. Ты, Пушкин, счастливого пути мне желал. Ты говорил: «И я б заслушивался волн». Знаешь ли, у каждого моря свой голос... Я видел океаны, внимал их грохоту. Я видел полунощный океан, над которым летели картечью ледяные осколки. Видел тот, что голубее голубого. И тот, который отливает сталью. Они все разные. Но у них один закон: воля и ни минуты покоя, всегда движенье, и мощь, и вихрь... Трудные были мили. Сколько их было? Бог весть. И еще будут. Гремящие, пенистые, то в солнечном блеске, то в лунной чешуе. Дух занимается, когда курс твоего корабля совпадает с направлением ветра. Я всегда твердил себе: «Иди полным ветром». И пусть будет так до конца дней моих. Ведь моря вторят ветру, а голос морей — голос воли. Чего же слаще?..»

Горячий полдень стоял на дворе; реже стучали копыта по сухим каменным плитам; запах жарева доносился из ближайшего трактира.

Федор устал лежать на правом боку. Он улыбнулся, чувствуя, что нынче у него достанет сил еще раз поворотиться. Самому, без помощи служителя.

«Ну-ка... еще, еще... Вот так-то, фу-у-у, точно пушку с места сдвинул. Ну, не беда. Ничего. Теперь уж выжил. Выжил, и баста... И приду в Кронштадт. Ты будешь встречать меня, Ксения... А потом и провожать. Да, да, и провожать, милая...»

Протекли месяцы. И наконец настал день, когда Федор, худой, желтый, со складками у рта, поднялся с госпитальной койки. Все в нем дрожало — от слабости, от напряжения, от радости.

Черные стрижи резали небо. Каменистая дорожка шуршала под ногами. И вдруг как бы опрокинулось, встало перед ним — спокойное море. И Федор рассмеялся счастливо.

В Навплионе не было русских кораблей. Не было и брига «Ахиллес», которым командовал теперь Петруша Скрыдлов, произведенный в лейтенанты. Пришлось Федору дожидаться своих полмесяца.

Скрыдлов приехал за ним в баркасе. Поддерживая Матюшкина, усадил, крикнул гребцам:

— А ну, ребята, не оплошай!

Баркас ринулся.

Как настал нонешний год,
Мы пошли, братцы, в поход...

И от этой старой матросской песни у Федора перехватило горло. А Петруша, улыбаясь, рубил воздух ребром ладони.

— Навались! — И шепнул таинственно: — Придем на бриг — обрадую...

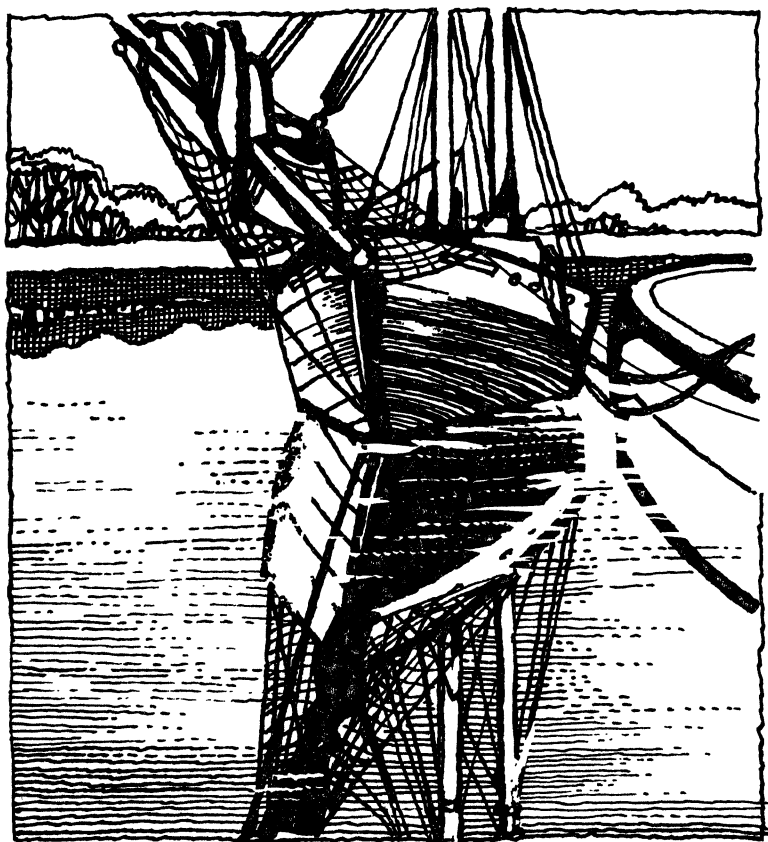
Но Федор, должно быть, не расслышал. Он пристально смотрел на корабль: «Ахиллес» был уже недалеко, видно было, как спускали парадный трап.

— Нет, — зашептал Петруша, — ей-богу, не могу. Война-то с туркой кончилась! Слышь, Федор Федорыч? Кончилась! — Он гаркнул что было духу: — Навались, ребята, в Россию идем!

Федор обнял его и поцеловал в губы...

Кронштадт, 1960

РАССКАЗЫ



Пушкин свернул с Фонтанки на Дворцовую набережную. Нева широко текла и спокойно, вся матовая, без единой морщинки. И ночь тоже была матовая, белая, летняя петербургская ночь.

В тишине безлюдья послышался стук, тупой и размеренный. Пушкин обернулся и увидел Норова. Отставной подполковник шел, опираясь на трость, пристукивая деревянной ногой.

Они были знакомы и даже на «ты», но близко никогда не сходились. Однако, встречаясь в книжных лавках, беседовали с удовольствием. Пушкин признавал превосходство норовского книжного собрания перед своим собственным. У Норова хранились не только печатные редкости, но и рукописные; Пушкин, случалось, адресовался к нему за каким-нибудь фолиантом.

— Прелесть окрест, — проговорил Норов с легким заиканием, следствием давней контузии, и мягко пожал руку Пушкину. — Чудо!

— Да... После нынешней жары приятно, — вяло отвечал Пушкин.

— «Не спится, няня»? — улыбнулся Норов, глядя на скучного Пушкина.

— Устал. Хандрю.

— А я говорю «прости» Северной Пальмире.

— Едешь? — спросил Пушкин; в голосе его слышалась неприязнь.

Они медленно двинулись по набережной. Пушкин угрюмо молчал. Он завидовал Норову. Черт возьми, как просто дается иным поездка за границу! А он? Он не раз просился, но получал отказ... Поездку ж в чужие края Пушкин полагал необходимой человеку мыслящему, особенно литератору. Однако — и Пушкин это отлично знал — из пределов империи выпускают лишь тех, кто на добром счету у высокого начальства. Пушкин на счету таком никогда не состоял.

— Стало быть, один Норов в опале, другой — счастлив? — недружелюбно спросил Пушкин.

У Норова дрогнули губы. Слишком уж нецеремонно напомнил ему Александр Сергеевич про брата Василия, участника восстания двадцать пятого года. А Норов не только не забывал Василия, но и помогал щедро и часто.

— Напрасно... Напрасно считаешь меня счастливецом, — тихо и укоризненно отвечал Норов, и Пушкин услышал, как еще четче застучала деревяшка бородинского ветерана. — Брата своего я вот здесь ношу. — Норов приложил руку к груди. — Вот здесь! Что ж до моего вояжа, то льщусь надеждой принести пользу науке.

— Знаю, знаю, — поспешно и виновато заговорил Пушкин, беря Норова под руку тем особенным доверительным манером, который был ему свойствен и который всегда подкупал ненароком обиженных. — Это так... сорвалось... Сплин у меня, обстоятельства мои... Итак, едешь? Кажется, в лавке Диксона был у нас разговор? А?

— У Диксона, — подтвердил Норов, с удивлением сознавая, что уже вовсе не сердится на Пушкина. — Ты тогда, помню, Шекспира спрашивал.

Они остановились против дома Баташева; в нижнем этаже Пушкин нанимал квартиру.

— А знаешь, Норов... — Пушкин вскинул голову, — позовь предложить мои услуги?

Норов с улыбкой развел руками: какие же, мол, услуги?

— Люблю, брат, дорожные заметки, — быстро продолжал Пушкин. — Есть у меня лицейский друг, моряк, так тот свои дневники мне давал... Вот я и подумал: отчего б и тебе? А? Чтобы и ты радовал меня пространными посланиями? Говорю «пространными» — для кратких надобно время, у тебя ж в дороге лишку не будет. А пометы мои на листах, надеюсь...

Норов просиял:

— Спасибо, Пушкин. Спасибо! Долгом почту.

— Вот и отлично, — почти весело сказал Пушкин. — Приходи проститься. — Он кивнул в сторону дома. — Придешь? А писать станешь?

— Замучаю, — рассмеялся Норов.

2

Поздней осенью 1834 года Норов со слугой своим Дроном появился в Триесте.

Небо вспухало тяжелыми, неподвижными тучами. В гавани смиренно лежали парусные суда, два-три пироскафа дымили, прибавляя тучам мрачности.

Шкипер-итальянец втихомолку молил мадонну о благополучном плавании. Решив, что молитвы его дошли по назна-

чению, он ноябрьским утром, когда часы на башнях Триеста пробили восемь, взял курс на зюйд.

Адриатическое хмурилось. Норов расхаживал по палубе. Задерживаясь подле рулевого, взглядывал на компас. Черный конец стрелки, указывая на север, был обращен в минувшее, красный, указывая на юг, — в будущее.

На островах кипарисы высились, как сторожи, темные мысы казались спящими медведями. Норов вспоминал стихи древних, воспевших адриатические волны.

Слуге его, крепостному мужику из заволжской деревни Ключи, вспоминалось иное. «Вот ведь, — думал, — как жизнь-то перевертывается!.. Недавно пришел с артелью из Самары в Нижний, гульнуть хотел малость, а в Нижнем и объявили: ехать, говорят, тебе, Дрон, в самый что ни на есть Питенбурх, на то, говорят, барская воля. Ну, и поехал. А теперь, вишь, и совсем уж дальняя путина...»

Дрон, известный среди волжских бурлаков по кличке Большой, ходил в лямке несколько лет. Слыл он не только опытным «шишкой», то есть передовщиком в бечеве, но и отменным рассказчиком. Сказочников да песельников в какой артели не приветят? А Дрон Большой такую бывальщину сказывал, что любой сказки занятнее. Заслушаешься... А все потому, что ездил некогда с баринном в «тальянский край», на славный остров Сицилию, на вершину вулкана Этна забирался... А ныне, год спустя, несет его совсем уж за тридевять земель. Бедовый у него барин, бедовый. Недаром и прозывается Норовым. Чтобы это ему дома сидеть в покое и довольстве, а нет, все норовит по белу свету шастать. Одно слово: бедовый...

На четвертые сутки плавания парусник пришел в Ионическое море. Багровое, в закатном полыме, оно вылизывало, как котят, округлые камни острова Корфу. Норов, сидя на палубе в старом кресле, выволоченном из капитанской каюты, листал Шатобрианову эпопею в прозе «Мученики», те страницы, где столь роскошно, с таким благозвучным изяществом описаны греческие моря. А Дрон, прислонившись к мачте, смотрел неотрывно, как меркнет день, как бурекот камни Корфу и, касаясь волны, садится, будто легонько приплясывая, красное солнце. Смотрел и думал: «Господи, красота-то какая...»

Первый день декабря грохнул бурей, ночной бурей с грозой и дождем. Старый парусник кряхтел и стонал так, что дрожь брала. И никому на этом паруснике, случись беда, не было никакого дела до одноногого пассажира-иностранца.

Норов валялся на койке, его рвало. Дрона швыряло об стену каюты, он ругался скверными словами... И вдруг оба замерли: наверху, на палубе, что-то громко и страшно затрещало.

Консул Дюгамель, в прошлом военный топограф, хорошо умел снимать планы. Ландшафт, изображенный на бумаге условными значками, ценил он больше ландшафта наяву. Так было до тех пор, пока он не увидел Каир с высокой скалы, на которой была цитадель правителя Египта. И всякий раз, приходя на аудиенцию к его высочеству Али, консул Дюгамель любовался Каиром.

Каир разметался под африканским солнцепадом — огромный, хаотичный, до жути прекрасный. Широкой ртутной полосой блестел Нил. За ним лежали пески, и далеко в песках четкой синевой означались пирамиды... Хаотичный и прекрасный Каир открывался Дюгамелю с высокой горы. Но консул не мог подолгу им любоваться: спешил к его высочеству.

Русский дипломатический чиновник Дюгамель приехал в Египет год назад, в тридцать третьем. Дюгамель был исправным консулом и ревностно вникал в политические дела.

Египет в ту пору принадлежал турецкому султану; правитель Египта был вассалом султана. Однако наместник со временем возымел такое могущество, что султан боялся его до смерти.

Наместник завел регулярную армию и флот, покровительствовал торговцам и фабрикантам, владел всей египетской землей, всеми крестьянами — феллахами. Тиран и храбрец, политик изворотливый и умный, он вовсе не считал себя подданным Турции.

В 1831 году его армия вторглась в Сирию. Паша оказался в открытой распре со своим «законным» государем, ибо Сирия, как и Египет, входила в состав империи. Армия египтян побеждала быстро и повсеместно. Со дня на день она могла свалиться, как лавина, на Стамбул. Тогда султан взмолился о помощи. Он взывал к русскому царю, своему вековечному недругу. Он знал, что царь Николай прежде всего защитник «законных» государей. Султан не оставил своими мольбами и другие европейские державы.

Восточные дела давно тревожили европейских политиков. Оно вроде было и не так уж плохо, что султана трясло, словно в лихорадке. Так-то так, но дело оборачивалось не совсем ловко: место дряхлеющей турецкой деспотии могла занять поднимающаяся держава другого деспота — удачливого Али. И Европа вмешалась в кровавую брань на Востоке. Египетского пашу принудили отвести свои победоносные войска. Султана убедили уступить паше Сирию. Огонь был сбит, но не погашен — он затаился.

В это время в Египет и приехал русский консул Дюгамель. Само собой, паша не питал особенных симпатий к посланцу

российского императора, помешавшего довершить войну с султаном. Однако паша вскорости сообразил, что с Николаем, быть может, он сумеет поладить...

Нынешняя аудиенция в цитадели порадовала консула. Паша оставил ледяной тон. С интересом, пожалуй, неподдельным, выспрашивал про Россию, про государя Николая Павловича, про Санкт-Петербург. И консул Дюгамель, почтительно отвечая на вопросы его высочества, ввернул, что Египет, мол, тоже весьма интересуется русскую публику...

Дюгамель жил в доме, не отличавшемся от домов богатых арабов. Глухая стена — на улицу, все окна — во двор, в комнатах — ковры и диваны, запах медвяного латакийского табака и кофе мокко.

Вернувшись от Али, Дюгамель сел к столу. Консул уже выбрал перо, уже перечитал депешу, вчера недописанную, когда в кабинет вошел секретарь-переводчик, немолодой армянин, поклонился и сообщил новость, которая заставила Дюгамеля отбросить перо.

— О, — воскликнул консул, — это очень кстати! Где он?

Дюгамель вышел из дому. Был сонный послеполуночный час. На дорожке показался Норов. Его деревяшка стучала бойко.

— Селям! — сказал он Дюгамелю и помахал шляпой.

И почему-то оба почувствовали себя старыми друзьями. А ведь прежде-то виделись раза два, не больше. Впервые, кажется, осенью двадцать седьмого года у кого-то из петербуржцев, потом тоже в Петербурге накануне отъезда Дюгамеля на Восток.

Они сели в диванной, слуга-араб подал кофе и трубки. Некурящий Норов решил приобщиться к каирскому табакурству. Он неловко вытянул губы, осторожно пососал янтарный мундштук, поперхнулся дымом. И когда откашлялся, стал отвечать на расспросы Дюгамеля.

— Из Петербурга, — говорил Норов, — выехал в знаменательный день: открывали Александровскую колонну. Моя коляска едва пробралась в народной толпе... Европой ехал покойно. А вот на море... — Он потянулся за чашечкой кофе. — Проклятая буря переломила фок-мачту, я, признаться, готовился к переходу в лучший мир.

Дюгамель рассмеялся:

— А какое, позвольте узнать, впечатление сделала на вас Александрия?

Норов, отложив чубук, поднес ко рту чашечку с кофе и потянул носом.

— Хорош! Очень хорош, — сказал он с видом знатока. — Александрия? Видите ли... — Он отхлебнул кофе, и речь его полилась плавно: — Первый шаг европейца в Африке поражает душу. Тотчас сознаешь: другой мир! Это раскаленное

солнце и знойный песок, эти восточные одежды и толпа, в которой столь много чернокожих. И потом эти женщины. В своих белых саванах они похожи... Ну... даже и не подберешь сразу слово, достаточно живописное. Мне посчастливилось перехватить несколько взглядов. Как они проницают душу, как манящи. Да и вся их стать исполнена изящества необыкновенного. — И, заметив улыбку Дюгамеля, которая, очевидно, обозначала, что консул предполагает в госте лукавого сердцееда, Норов немного смутился, однако продолжал с прежним воодушевлением: — Древним очарованием веет от этих фигур, когда они шествуют с кувшинами на плечах. Честное слово, будто ожившие барельефы времен фараоновых... — Он допил кофе. — Ну-с, а сама Александрия... Что тут сказать? Площадь Франков, несколько новых казенных строений на берегу гавани — вот, пожалуй, и все. Неприятно поражает скопище больных и нищих. Приходят на ум солдаты Наполеона. Они, говорят, были сильно поражены этим... Впрочем, Александр Осипович, вы лучше меня знаете Александрию.

4

— Левей! Левей! — покрикивали скороходы.

— Береги ноги!

— Правей!

Проводники-арабы бежали легким, скольльзящим шагом. Они воздевали смолистые факелы, и Норову вдруг вспомнился сосновый бор в Надеждине, в его имении близ Дмитрова. Дюгамель и Норов ехали верхами. Вот и площадь у подошвы высокой горы. Как мрачно тут и пустынно. А вот и железные ворота. Отворившись, они пропускают всадников в узкий крутой проход, высеченный в скалах. Арабские жеребцы, вздернув морды и кося огненным глазом, возносят Норова и консула все выше, все выше. Они въезжают на просторный двор, со всех сторон обнесенный каменными стенами. Ровно, не колеблясь, горят на дворе факелы, оседланные верблюды дожидаются гонцов, расхаживают стражники.

Консула и путешественника проводят во дворец. Залу озаряют свечи, большие, толщиной в руку свечи, похожие на те, что в России зовут ослонными.

С диванных подушек поднялся паша Египта, старик в белой чалме, с окладистой, как у «справных» русских деревенских старост, бородой, с лицом задумчивым, тихим. И, наклонив голову, тихо сказал:

— Да будет вам вечер благополучен.

Сели. Слуги подали кофе. Подали всем сразу. Это был знак почета: паша считает гостей равней ему. Некоторое

время все молча пили кофе. Начинать разговор тотчас — невежливо.

Хозяин осведомился о причинах, приведших его гостя в столь отдаленную державу. Он так и сказал — «державу», и Норов понял старого правителя: Египет — держава, но отнюдь не земля, подвластная стамбульскому монарху. Так вот, какие ж причины подвигли гостя приехать в далекий Каир?

Норов, памятуя о просьбах Дюгамеля, отвечал, что в России весьма велик интерес к древней стране на берегах благословенного Нила.

Мухаммед-Али заметил, что древности египетские давно привлекают просвещенных европейцев. Норов, к удовольствию Дюгамеля, а впрочем, ничуть не кривя душой, отвечал, что Египет современный заслуживает не меньшего внимания. Он сказал, что намеревается написать трактат о Египте, и это сочинение — в том и трудность для пишущего — явится одним из первых русских географических и статистических отчетов о великой африканской стране.

Паша сказал:

— Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь воина. Я хотел бы спросить моего гостя, какие новшества интересуют его прежде всего.

Норов перечислил: торговля, фабрики, образование, армия. И повторил: армия в особенности.

— Вы служили в войсках?

Дюгамель ответил прежде Норова:

— Ваше высочество, господин Норов — участник славной кампании двенадцатого года.

Глаза у паши блеснули. Он любил вспоминать наполеоновские войны. В громах бонапартовых пушек, раскатившихся в конце XVIII века над Египтом и Сирией, началась его карьера. И еще потому любил он вспоминать корсиканца, что в глубине души считал себя и удачливее и, пожалуй, даже выше Наполеона.

Хорошо, сказал паша, он очень рад, пусть русский расскажет о двенадцатом годе. Паша знает — поход на Москву был началом конца непобедимого императора французов. И пусть русский гость расскажет об этом подробно.

— Ну что ж, — улыбнулся Норов, — еще Фридрих Великий советовал входить в подробности, когда ведешь речь о событиях достопамятных. Итак, — Норов поудобнее расположился на подушках, вытянул деревянную ногу, — итак, пятнадцати лет от роду я был определен в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Войну я встретил прапорщиком, прослужившим в строю два года. Не буду описывать наше выступление из Петербурга, наши надежды, а потом наши разочарования при ретираде, наше — теперь, каюсь, несправедное — озлобление на несчастного Барклая, нашу горечь

при оставлении Смоленска — все это заняло бы слишком много времени, драгоценного для вашего высочества. Перейду к славнейшей баталии на Бородинском поле. Августа двадцать второго мы встали. Тот, кто долго отступал, знает это ошеломляющее и восхитительное чувство: войска встали, ретирада окончена. Я был тогда во второй легкой роте, командовал двумя орудиями. Диспозиция наших войск была следующая... Впрочем, если разрешите, ваше высочество, я изображу диспозицию в чертеже. Так оно будет очевиднее.

Паша хлопнул в ладоши, велел подать бумагу, письменные принадлежности. Неподвижное лицо его оживилось, он придвинулся к Норову. Авраамий Сергеевич обмакнул в чернильницу перо, проговорил «так вот» и стал чертить на бумаге расположение кутузовских войск. Дюгамель не очень-то любопытствовал, он радовался: господин Норов содействовал его сближению с пашой...

Когда гости покинули крепость, над Каиром висела молодая луна, похожая не то на венецианскую гондолу, не то на турецкую туфлю.

5

На рождество Норов решил отдохнуть от прогулок по Каиру и окрестностям. Он позвал Дрона, дал ему денег и сказал тоном отца-командира:

— На вот. Ступай-ка, но смотри мне... не того.

Дрон ответил «знамо дело, сунул деньги в карман штанов — и ходу в каморку, к Алеше Филимонову, Дюгамелеву денщику.

— Айда, Алеха!

Чернявый курносый Алешка насупился:

— «Айда, айда»... А куда тут подашься? — И сам же ответил: — А никуда тут не подашься...

Алешка в Каире маялся. Поначалу, как приехал с Дюгамелем, бывшим своим ротным, жилось ему не худо, но минуло месяца три-четыре каирского беспечального бытья, и напала на Филимонова злая тоска. Все вспоминалось ему сельпо Никольское, что на холмах раскинулось близ Москвы-реки, и веселая бойкая Федосья вспоминалась, хоть и знал он, что давно уж окрутили Федосьюшку с Мишкой соседским. Да и солдатская служба вспоминалась здесь, в египетской земле, по-хорошему, будто и не бывало в той службе трижды проклятого плацпарадного ученья, давящей на плечи скуки караульной, а была разлюли-малина, дружеское балагурство в казарме да песня походная «Что победные головушки солдатские»...

Алешка скреб затылок, поводил красивой черной бровью:

— Куда-а-а тут пойдешь?

Дрон, весело сердясь, хлопнул его по спине:

— Пошли, пентюх. Пошли, право, не то прибью.

Филимонов, нехотя уступая, нашарил картуз и, бормоча «экий шатун», отправился за Дроном.

Каир рождество не праздновал, Каир жил буднично. Его толпа была пестрой, его воздух был сух и горяч. Шел по Каиру Дрон, любопытствуя, а рядом шагал вперевалочку Алешка Филимонов.

В мастерских оружейники стучали да пристукивали молотками, и звонко славили те молотки и самих оружейников, и булатную сталь, и огненную ярость горнов. На монетном дворе чеканили пиастры, и серебряные кружочки приманчиво звякали. На дворе литейном лили пушки, и суровый дым, как дым войны, поднимался к мирному небу. Проплывали поверх толпы презрительные морды верблюдов, а в прекрасных глазах мулов была печаль. Испепеленные солнцем жилистые фокусники являли каждому, кто хотел, что всякая вещь, самая на вид обыкновенная, таит тайну, им одним подвластную. Слепцы, подняв незрячие лица, сказки сказывали, цветистые, как миражи на караванных тропах. На пыльных площадях перед мечетями фонтаны наигрывали бесконечную свою мелодию, жемчужную, нежную. И лавки, бессчетные лавки и лавчонки, обдавали такими запахами, что скулы сводило. На кровных лошадах ехали важные всадники-турки. А к присталям все подваливали и подваливали барки-дахаби, и грузчики, облитые потом, как глазурью, бегали, подгибая колени, по шатким сходням.

Потолкавшись на базаре, где торговали кашемировыми шаями, манчестерскими сукнами, лионскими кружевами, Дрон с Алешкой завернули в харчевню.

В низкой полутемной харчевне было чадно и людно. Бродячие музыканты, положив на пол барабаны и бубны, жевали баранину. Грузчики торопливо поедали круглые пироги. Дервиш с тяжелой ржавой цепью на голой костлявой груди качал головой, как маятник, и все повторял, повторял: «Аллах, Аллах, Аллах...» Рядом с ним лежал навзничь изжелта-бледный человек, лежал и ухмылялся бессмысленно: он был опьянен гашишем — клейким дурманящим веществом, добытым из индийской конопли.

Дрон и Алешка сели на каменную низенькую скамеечку. Мальчишка в грязном переднике подал им медное блюдо с мясом. Дрон подтолкнул Алешку локтем:

— Спроси-ка водки.

— Эт-та, Дронушка, можно. Только вот какой, брат, пожелаешь? — Он вдруг стал разговорчивым. — Есть у них финиковая. Сла-абая. А есть изюмная. Еще куда ни шло. Конечно, перед нашей, христианской, из хлебушка, нипочем ей не устоять. Ни-ни, и не жди, нипочем!

— Ну, — слукавил Дрон, — может, в таком разе никакой не надо?

— То есть как же не надо? — испугался Филимонов. — Эй! — окликнул он мальчишку и, когда тот вынырнул, стал ему толковать, в чем у них с приятелем надобность, и все эдак на Дрона косился: видал, мол, как мы с ним говорить можем...

Из харчевни выбрались не то чтобы в подпитии, но в хорошем, так сказать, расположении «понятий». Филимонов оказался куда как речист.

— Каир-то, — говорил, любовно на Дрона поглядывая, — он ведь ничего себе, Каир, а уж коли с земляком, совсем ничего себе...

Шли неспешно. Чем день плох? В полное удовольствие денек выдался, лучше не придумаешь. У большого здания с обширными дворами и множеством ворот, из-за которых доносился гул голосов, Алешка сказал:

— А тут, Дронушка, торг людьми ведут.

То был невольничий рынок Окальт аль-Гелаб. Караваны с рабами стекались сюда из глубин Африки. Текли под однозвучный верблюжий колокольчик, под окаянное хлопанье ременных бичей. Караваны шли с нагорья, ржавого, как выцветшая кровь, с топких берегов суданских рек, из-за экватора, окутанного изумрудной полутьмой влажных дремучих лесов. Караваны шли в Каир мимо мраморных фонтанов и резных балкончиков, украшенных изречениями о людской доброте и божьей справедливости. Шли нубийцы, суданцы, эфиопы, шли мужчины, женщины, дети. И продавали их здесь, на невольничьем рынке благословенного Каира.

В покупателях — арабах и турках — недостатка не было. Покупатели шупали у рабов мускулы, наклоня при этом голову набок, словно задумываясь или прислушиваясь к чему-то, покупатели торговались с владельцами рабов и перебранивались друг с другом. А рабы дожидались своей участи молча, с какой-то каменной безучастностью, и только в глазах у них, в этих неподвижных глазах с резкими белками, была такая печаль и такой ужас, что Алексей Филимонов замолк, а у Дрона как-то странно и тяжело расширилось сердце, будто вся кровь вдруг в него прихлынула и там, в сердце, остановилась.

Не говоря ни слова, прошли они рынок из конца в конец, и, проходя мимо загонов с рабами, Дрон с Алексеем все убыстряли и убыстряли шаг, точно подгонял их какой-то злой жесткий ветер. И когда вышли они, почти выбежали за ворота, Дрон на минуту встал, покачал головой, словно бы очнувшись, и задумчиво проговорил:

— А уж ежи так-то поглядеть, так ведь что у них, то и у нас.

У Алешки Филимонова желваки вздулись; он шмыгнул носом, ответил:

— А то как же? Что у них, то у нас, ежели в корень глядеть. Чай, на одном солнышке онучи сушим...

...Норов после обеда отлично выспался, а теперь, когда протяжно заголосили муэдзины, сзывая правоверных на молитву, и за окном, по верхушкам пальм, крадучись побежал ветерок, и пальмы легонько зашуршали, словно бы копна сена, в которой возятся полевые мыши, — теперь Авраамий Сергеевич сидел за столом и писал. Писал он быстро, почти без помарок, с тем удовольствием, с каким несколько лет назад писал о своих сицилийских дорожных впечатлениях. Он еще не решил, пошлет ли написанное нынче Пушкину или упрячет в бювар, но мысль о том, что его писания, может, и будут отправлены в Петербург, на Дворцовую набережную, в дом Баташева, мысль эта его не оставляла.

«Всякий раз, — писал он, — когда я выходил из Каира дышать бальзамическим воздухом в тени пальмовых рощ или бродить в гробовом городе калифов и по нагим скалам Моккатама, — отовсюду взоры мои были привлечены, как магнитом, пирамидами. Сколько веков легло на их рамена!¹ Сколько поколений угасло перед ними!.. Приближаясь к ним, я чувствовал то волнение, которое всегда овладевало мною при зрелище необыкновенной природы, — так приближался я к грозной вершине Этны; но если б кто мне возразил, что дело рук человеческих не есть природа, — я скажу, что эти громады выходят уже из области людей: века слили их уже с самою природой.

Солнце только что вставало, когда мы выехали из пальмовой рощи Джизе. По странному случаю, в первый день нового года я в первый раз предпринял путь к пирамидам. Синие груды их только что позлатились на макушках розовым светом дня. Вот почти миллион пятисоттысячный раз, как они видят восходящее солнце, подумал я! Такое же безоблачное небо, те же пустыни, тот же Нил, с того времени как поставлены они на вечную стражу Египта: но сколько царств и народов сменилось перед ними.

По странной игре оптики, замеченной уже многими путешественниками, пирамиды, по мере приближения к ним, кажутся как бы менее огромными, чем издали; это происходит, по моему мнению, оттого, что издали они имеют лазоревый цвет дальности, резко обозначающий их на пустынном пространстве и на ясном горизонте; но с приближением к ним они принимают желтоватый цвет тех камней, из которых они построены, и таким образом сливаются с тем же желтым цветом песчаной пустыни, которая их окружает.

Очерк Сфинкса обозначается, как скоро проедешь уеди-

¹ Рамена (*поэтич., устар.*) — плечи.

ненную деревеньку бедуинов Кафр-ель-Харан, расположенную у подножия каменной гряды, на которой основаны пирамиды и откуда начинается Ливийская пустыня, он виден и прежде, но по его огромности думаешь видеть груды развалин — как вдруг он предстает лицом к лицу, вперив огромные очи на изумленного пришельца...

Ни один из наших европейских рисунков не может дать настоящего понятия ни о пирамидах, ни о Сфинксе, например, на всех картинах черты Сфинкса уродливы, между тем как в натуре они исполнены высокой задумчивости, эта задумчивость, тем более вы на него глядите, переходит к вам в душу, готовится вас к чему-то сверхъестественному и делает приближение к пирамидам истинно торжественным.

По грудам разрушений и глыбам песку достиг я большой пирамиды. Чтобы судить о непомерной огромности пирамид, надобно подойти к самой их подошве: даже глядя от Сфинкса, я не мог иметь настоящего понятия об их колоссальности. Та же самая игра оптики, о которой я говорил, происходящая от слияния их желтоватого цвета с цветом пустыни, продолжается и тут. Надобно стать не на углах пирамиды, а посредине одной из ее сторон, против перпендикуляра, спущенного от макушки на основание. Тут огромность ее подавляет самое воображение; хотя эти неотесанные камни показывают труд чьих-то рук, но вы едва верите, чтобы это было сделано руками человеческими; все это кажется вам сверхъестественным для человека! Для сооружения такой массы воображение ваше подымает из праха уже целые поколения и невольно переносит вас в мир идеальный. Один древний писатель, говоря о пирамидах, воскликнул: «Конечно, посредством их люди восходили к богам или боги нисходили к людям».

Наконец я вступил в мрачную внутренность. Два бедуина шли передо мною с факелами и два позади. Этот канал, через который проникают в пирамиду, имеет квадратное образование, высотой меньше обыкновенного роста человеческого, так что я должен был идти с наклоненною головою; он спускается довольно покато под наклоном с лишком 26 градусов. Все бока канала обложены большими плитами гранита, удивительно плотно и чисто связанными.

Пройдя около сорока больших шагов, я увидел, что канал прегражден большим гранитным камнем. Эта преграда была нарочно устроена зодчим пирамиды, чтобы остановить свято-татственное любопытство потомства. Но напрасно! Камень этот представил непреодолимую преграду; но зато смежные с ним камни, не гранитные, были пробиты, и гранит был обойден кругом, с правой руки. Можно вообразить себе, что этот проход уж не так легок; должно было ложиться ниц и ползти

по грудам обломков в чаду горизонтально наклоненных факелов и в знойной духоте; мы, однако ж, проползли небольшое пространство и вступили в другой канал, такого же размера, но который идет уже кверху, также под углом 26 градусов. Тут уже не видно было того слабого луча дневного, который до толе мерцал позади. Глубокий мрак окружал нас, и духота доходила до 30 градусов.

Проведя довольно продолжительное время посередь векового мрака пирамиды, осмотрев ее галереи и покои, я опять выбрался на свет божий.

Восхождение на вершину большой пирамиды не представляет особенных затруднений, но оно не без опасности по величине камней, образующих уступы; я уже сказал, что эти камни не менее аршина в вышину, но почти всегда более; с 42-й ступени, идя от низу, уступы приметно увеличиваются и доходят до полутора аршин. Надобно меньше оглядываться назад и продолжать путь, хотя с отдыхом, но не смотреть вниз, потому что высота кружит голову. Провожатые бедуины очень искусно помогают в этом трудном пути. Но все же вершины я достиг с чрезвычайным утомлением.

Вид с высоты пирамиды торжествен. Вся, священная в древности, дельта, образованная расходящимися рукавами Нила, лежит перед вами на севере; она испещрена селениями, пальмовыми рощами и яркою зеленью полей, резко обрисованных на тучном черноземе Нила. Этот Нил теряется как бы в вечности, протягиваясь блестящею полоскою на север и на юг. С востока весь Каир с купами мечетей прислонен к скалам Моккатама; далее цепь гор Аравийских заслоняет библейское море Черное, которого без того не могло бы быть видно, находясь менее ста верст от пирамид. Юг и запад обречены смерти; бесконечные пески ливийские уходят за горизонт, на запад от пирамид; макушка второй пирамиды, еще увенчанная мрамором, кажется в нескольких шагах от вас. На юге целые группы других пирамид идут по направлению к исчезнувшему в песке и под лесом пальм Мемфису. Гробы пережили столицу фараонов!

Усталость физическая и умственная от воспоминаний, подавляющих воображение, заставила меня провести около двух часов на вершине пирамиды. Тут я прочел множество имен путешественников всех веков, начертанных на камнях. Имя Наполеона, как по своей громкости, так и по крепкой резьбе, бросается в глаза, оно невольно напомнило мне гениальное его восклицание: «Солдаты! Сорок столетий глядят на вас с высоты этих пирамид!»

Я имел слабость присоединить свое имя к несчетному числу других, не с тем, чтобы кто-нибудь его прочел, а как бы для того, чтобы оставить свой бранный след на таком памятнике, который в соперничестве с существованием земли.

Норов сознавал связь нынешнего с минувшим. В Египте этого нельзя было не сознавать с особенной отчетливостью. И Норов понимал, что в его трактате, в первой русской подробной книге о Египте, должны отразиться оба лика древней африканской страны.

А современный ему Египет, Египет тридцатых годов XIX века, был отмечен резкими чертами новшеств. «Я буду говорить подробно о Египте, потому что он заключает в себе более чудесного, чем какая-либо другая страна». Норов затвердил слова Геродота, прозванного «отцом истории», и решил следовать его примеру. Пространно записывал Авраамий Сергеевич все, что видел, все, что узнавал. Ходил на ткацкие фабрики, осматривал плантации, заглядывал в оружейные мастерские и на литейный двор, составлял таблицы ввоза и вывоза товаров, перечни армейских частей и военных кораблей.

Время бежало ровно и быстро, как здешние, каирские скороходы. Пора бы уж было и в плавание пуститься, «в большую путину», как говаривал Дрон. Пора бы уж, но Авраамию Сергеевичу все казалось, что он упустил что-то важное, что-то значительное, о чем сожалеючи припомнит дома, в России.

Он уже собирался в дорогу, когда главный медик доктор Клот-бей пригласил его посетить новый госпиталь.

Клот давно жил в Египте и пользовался доверием паши. Француз этот напоминал Норову другого француза и тоже медика, однако Авраамий Сергеевич не сразу догадался, кого же именно. Но однажды, расспрашивая Клота о местных нравах и услышав добродушный смешок доктора, вдруг понял: «Господи, да ведь Бофис, месье Бофис» — и проникся к медику еще большей симпатией...

Они выехали из Каира в рассветный, полный голубиной воркотни час. Выехали в удобном, поместительном кабриолете, единственном на весь Каир, выписанном доктором из Марсея.

Город кончился, открылась пустыня — озябшая за ночь, еще не отогревшаяся. И пустое, розоватое, в пастельных тонах небо.

Проехали несколько верст. Норов попросил остановить лошадей. Доктор исполнил его желание, улыбаясь уголками сухих, насмешливых губ.

Лошади встали; Норов вылез из коляски, отошел в сторону, опираясь на палку, прислушался.

И вот уж ему чудилось, что он слышит заунывную, но колдовскую мелодию, песнь великого безмолвия. У него стеснилось сердце, он подумал — одновременно с горечью и с восхищением, — что никогда не сыщет достаточно выразительных

слов, чтобы передать и те мысли, и те чувства, которые завладели им теперь, в сию минуту.

— Любезный Норов, — крикнул Клот, — я готов слушать вас! — Он рассмеялся. — Идите, поговорим о вечности, о безмолвии и прочем.

Норов медленно вернулся, влез в коляску.

— Ох уж эти мне поэтические грезы, — продолжал Клот, — вот погодите, сейчас солнце саданет по затылку, о-ля-ля...

А солнце было тут как тут, выкатило на небо, воззрилось на пустыню, метнуло на пески, на дорогу, на кабриолет свои лучи-дротики. Все засияло, даже как будто бы закурилось, и Норову почудилось, что еще минута — и на него опрокинется ковш с кипящей смолой. Норов взмок, задышал учащенно, прерывисто и тотчас позабыл «песнь великого безмолвия».

— Ну, ну, — пробурчал Клот, — теперь уж скоро. А вот вам и маленькое отдохновение.

Въехали в пальмовую рощу. Она доверху была налита прохладой, как бутылка водою. Норов перевел дух, попросил придержать лошадей. За рощей была плантация сахарного тростника. Тростник поднимался пиками, густо, стеной, выше кабриолета.

Миновали плантацию. Опять лежали пески. Клот указал на дальние белые строения, отороченные зеленью садов:

— Канка.

В Канке квартировали главные силы египетской армии и размещался военный госпиталь. Госпиталь был детищем Клот-бея. Там он княжил безраздельно.

Больница удивила Норова опрятностью покоев, чинным порядком. Но еще больше поразился Норов, когда узнал, что здесь не только больных пользуют, но и преподают медицину. Четыреста молодых арабов познавали в госпитале науку врачевания.

Норов был скор в своих душевных движениях, он воскликнул:

— Дорогой доктор, ваше имя сохранит история Египта!

— Пусть лучше Египет сохранит этот госпиталь, — серьезно ответил Клот-бей.

Норов заглянул в его усталое лицо и сказал, что месье Клот весьма напоминает ему месье Бофиса.

— Бофис? Кто такой Бофис?

Они шли к аллее. Сад, пышный и свежий, занимал середину обширного госпитального двора.

— Бофис... Ему я обязан многим! Ему и господину Ларрею.

— Ларрей? — удивился Клот. — Тот самый Ларрей?

— Тот самый, — улыбнулся Норов. — Генерал-штаб-доктор Ларрей.

Они сели на скамью. Клот снял шляпу, обмахиваясь ею, сказал с дружеской фамильярностью:

— Объяснитесь, любезный Норов.

— Давнишняя история, доктор. — Норов стал чертить концом трости по песку. — И вы сами, и госпиталь ваш воскресили во мне давнее. Хотите услышать? Да? Извольте.

Давнишняя эта история заключалась вот в чем.

Почти четверть века минуло с тех дней, когда по Можайской дороге, среди движущейся массы штыков, киверов, повозок, артиллерийских орудий, среди густой массы отступающих от Бородина войск медленно двигались крестьянские телеги, на которых везли в Москву раненых. В одной из таких телег, запряженных взмокшими лошаденками и устланных соломой, лежал прапорщик Норов. Прапорщик был бел, как плат, часто просил пить и терял сознание. Левая нога у него была отнята по колено, обернута бинтами и каким-то мужицким тряпьем.

В Москву добрались ночью. Улицы наводняли телеги с барским добром, узлами, скарбом. Тревожно перебегали огни, сплошно звонили колокола, слышались крики, ругань, плач.

Москва уходила из Москвы. В ту ночь обозники доставили Норова в Голицынскую больницу и внесли прапорщика в первую попавшуюся палату.

Сколько времени пролежал Норов в одиночестве, он не знал и сообразить не мог, но когда он открыл глаза, перед ним был французский кавалерист.

— Вы поймете меня, доктор, — Норов поднял голову и перестал чертить тростью по песку, — вы поймете мое состояние: я догадался — Москва сдана, и заплакал от стыда, от гнева, от собственной беспомощности. А ваш-то кавалерист, что вы думаете? Кавалерист тем временем спокойно шарил под моим тюфяком и под подушкой. А при мне вот только образок на груди (он и теперь на мне): матушка, провожая, дала... Ну-с, пошарил этот мародер да и убрался, ругаясь площадной бранью. А следом другой солдат заглянул. Гасконец, помнится. Он принес мне воды и бисквитов...

Норов помолчал. Рассеянно поглядел вокруг. Снова принялся водить концом трости по песку. И продолжал. Он не мог сказать, в тот ли самый день или на следующий в Голицынской больнице расположился французский госпиталь. В пустую палату, где лежал прапорщик, вошло вдруг много военных медиков. Они, должно быть, осматривали помещения. Впереди шел генерал, седой, обстриженный под гребенку, с властным голосом и жестами. Это и был сам Ларрей, генерал-штаб-доктор, участник всех походов Наполеона, европейская знаменитость, хирург. Он наклонился над Норовым, осмотрел его рану, коротко сказал: «Молодой человек, я займусь вами». Ларрей сделал прапорщику перевязку, поже-

дал скорейшего выздоровления и обернулся к помощнику: «Господин Бофис, вы будете отвечать за жизнь этого молодца».

— И Бофис прекрасно управился. — Норов постучал тростью по деревянной ноге. — Вот вам, дорогой Клот, и вся история.

— Н-да, — промычал Клот. — Видите, как бывает в жизни: знакомы вам французы убивающие, знакомы французы исцеляющие. Надеюсь, вторые предпочтительнее первых?

— Не только среди французов, — отвечал Норов.

Они поднялись и пошли по садовой дорожке. Клот-бей пригласил Норова отобедать и только хотел было свернуть на другую аллею, ведущую в его госпитальную квартиру, как из этой аллеи выбежал запыхавшийся араб. Он отвел доктора в сторону и что-то испуганно и тихо ему сообщил.

— Да-да, — торопливо, сразу осевшим голосом проговорил Клот-бей. — Велите заложить мою коляску, еду немедленно.

— Что случилось? — забеспокоился Норов.

— В Каир, в Каир, — ответил Клот. Он глянул на Норова, моргая черными глазками, словно бы позабыл о своем госте, потом нахлобучил шляпу и тоном, не терпящим возражений, сказал: — А вы, любезный друг, завтра же покинете город. Я уж похлопочу об этом перед пашой.

— Но...

— И никаких «но»! Я проклятую гостью знаю. С нею шутки плохи! Простите, все дорогой объясню, а теперь надо сделать распоряжения по госпиталю.

7

В кофейне близ пристаней собирались раисы — капитаны нильских барок. Они держались степенно и важно, полагая, что Египет — это Нил, а Нил — это раисы.

В тот знойно-тяжелый послеполуденный час, когда Норов и Клот-бей спешно возвратились в Каир, раисы сидели в одной из кофеен близ каирских пристаней.

У раисов были пиастры и было свободное время. И капитаны щедро тратили и пиастры и время, окутываясь дымом длинных трубок и потягивая шербет.

В числе капитанов, блаженствовавших в кофейне, был и Ибрагим. В отличие от многих своих товарищей, речных капитанов, Ибрагим мог похвастать знакомством с морем. От службы во флоте у него остался шрам на щеке и редкая способность не очень-то высоко ценить собственную шкуру. И сам Ибрагим, и его барка-дахабия были известны от Каира до Асуана. Барка была как барка, но Ибрагим умел придать ей некое щегольство. Что же до капитанских качеств самого Иб-

рагима, то они были ведомы всем: он обладал взором острым, как у благородного сокола, слухом чутким, как у египетской лисицы, он держался на воде, как крокодил. Словом, то был отличный нильский капитан, а сверх того добрый малый, которого любили матросы.

Раисы сидели в кофейне, дымили трубками, потягивали шербет и вели неторопливую беседу, как все плователи в мире, закончившие очередную и небезвыгодную перевозку товаров. И вдруг мирную беседу нарушил громкий возглас человека, вошедшего с улицы.

— Таун! — воскликнул этот человек.

Ибрагим положил трубку поспешнее, чем сделал бы, услышав на судне известие о пожаре, и посмотрел на друзей тревожнее, чем позволял себе во всех иных случаях жизни. И друзья Ибрагима ответили ему взглядом, полным откровенного испуга.

Таун — это, собственно, рана, нанесенная копьем. Но слово «таун» означало «чума»! Черная молниеносная смерть объявилась в Каире, проклятая гостья пришла в благословенный, густонаселенный Каир. Таун! Значит, огласят твои улицы, Каир, вопли плакальщиц в длинных голубых одеждах, значит, побредут по улицам похоронные процессии, значит, в стенах твоих, Каир, покойников станет больше, чем живых, и город мертвых за Каиром примет многих новоселов...

Верблюд остановился у кофейни. Солдат в красной феске, с кривой саблей на боку, вошел в кофейню и спросил у капитанов, кто из них раис Ибрагим.

— Я, — робко ответил Ибрагим и проглотил слюну.

— Ты? — переспросил солдат.

— Он, он, господин, это он, — подтвердили капитаны, хотя солдат к ним и не обращался.

Раисы были не из трусливых, но у кого ж не засосет под ложечкой при виде этого всадника, приехавшего на верблюде, при виде гонца в красной феске и с кривой саблей на боку? Кто ж не знает, что он, этот солдат, рассыльный из той самой крепости, от которой лучше уж держаться подальше, из той самой цитадели на высокой скале, где живет грозный Мухаммед-Али.

— Следуй за мной, — приказал солдат, поворачиваясь тылом к онемевшей компании.

Кофейня опустела. Ибрагим поплелся за солдатом, другие капитаны поспешно разошлись. Это было, пожалуй, уж слишком: и чума, и вызов в крепость на скале...

Ибрагим, однако, вскоре вернулся на свою барку-дахабия. С ним был незнакомец, одетый в европейскую одежду, плечистый, широкогрудый, с кудлатой бородою. По тому, как незнакомец быстро взбежал на борт, и по тому, как он, не глядя по сторонам, не озираясь, тотчас принялся осматривать

дахабия, на соседних барках не замедлили определить, что «франк», как называли египтяне всех европейцев, должно быть, знаток в речных судах и в речных плаваниях. И — смотрите! смотрите! — как наш Ибрагим показывает этому франку свою дахабия, как наш Ибрагим оживлен и весел, — вот уж, наверное, привалила нежданная и очень выгодная сделка.

А Ибрагим удивлялся: ну и дотошный наниматель. Однако придирчивость русского не досаждала Ибрагиму. Напротив, капитан был весел и доволен. Он пребывал в том нервно-веселом расположении духа, какое овладевает человеком, когда грозная опасность вдруг оказывается вовсе и не опасностью. Ох и натерпелся нынче Ибрагим, ох и натерпелся, и вот даже в теперешнем его оживлении были отзвуки и отсветы давешнего страха.

Дрон дотошным был вовсе не потому, что барка-дахабия предназначалась для плавания барина вверх по Нилу. Нет, не потому, а просто-напросто волжанину любопытно было лучше разглядеть это нильское судно. И Дрон, оглядывая барку, лазая повсюду, отмечал про себя: «А что? А ничего посуды, ничего, подходящая; только вот мачты, кажись, коротковаты при эдакой-то длине реев; а каюта на корме хоть и просторная, но, пожалуй, чересчур уж низка...»

Подоспел Седрак, переводчик и секретарь консула Дюгамеля, и объяснения волгаря с нильским раисом пошли бойчее.

— Вот там будет сидеть мустаамаль. — Седрак указал на плоскую крышу каюты.

— Какой пустомель? — засмеялся Дрон.

— Зачем так говоришь — пустомель? — Переводчик искривил мясистые красные губы. — Раис говорит «мустаамаль». Это... это... — Он жестами изобразил, как ворочают рулем.

— А-а-а, так и толкуй! Рулевой, стало быть.

Меж мачтами были скамейки для гребцов. Дрон пересчитал их. Выходило, что гребцов на дахабия не меньше двух десятков.

— Значит, противу ветра веслами лопатите.

Ибрагим, теперь уже обращаясь к Седраку, но глядя при этом все время на Дрона, толковал что-то быстро и оживленно. Седрак переводил своим печальным и тоже, как и глаза его, влажным голосом. Оказалось, что на веслах идут вниз по реке, пособляя течению, вверх же плывут либо под парусами, либо при безветрии... Тут Седрак осекся, защелкал пальцами, не находя нужного слова.

— Либбан... Либбан... — повторил он морщась.

Ибрагим подозвал матроса, вдвоем они взяли веревку, согнувшись, натужливо прошлись с нею по палубе.

— Либбан, — проговорил Ибрагим, глядя на Дрона.

— Ах, шут вас возьми совсем, — расхохотался Дрон, —

либбан, говоришь? Бечевой по-нашему, в ляжке! По-бурлацки, понимаешь?

И все вдруг показалось Дрону удивительно знакомым. И река, расцвеченная закатом, и барки у пристаней, и чужеземные мужики, которые тоже ходят бечевой и тоже, должно быть, как и волгари, не знают, с чем кончат путину — с рублем али с костылем... И от того, что все вдруг показалось знакомым и понятным, стало Дрону и приятно, и грустно. Грустно потому, что и река, и барки, и матросы мгновенно вызвали в его памяти иную реку, иные барки — вмерзшие в лед, снегом засыпанные, на недвижной Волге-реке. Господи, ведь январь же на дворе. Январь!

Ибрагим тянул нанимателей в каюту, хотел угостить их, но Седрак отговорился неимением времени: русский эфенди уедет завтра утром. Ибрагим сдался, посмотрел на Дрона, попросил переводчика:

— Скажи, чтоб съел плод смоковницы. Кто съест, вернется на родину.

8

Ветер затянул горизонт пылью. На реке толклись волны. Барка сильно раскачивалась и скрипела. Ибрагим вопросительно взглянул на Норова: дескать, при такой-то погоде?.. Норов махнул рукой:

— Аллах керим¹.

— Аллах керим, — согласился капитан и отдал команду.

Матросы навалились на весла, выгребли на середину реки, принялись ставить парус. Парус вырывался из рук, бешено хлопал, но вот выгнулся, наполнившись ветром, и дахабия побежала.

«Началось!» — радостно и растерянно подумал Норов.

Началось плавание, о котором он столько мечтал. И в Петербурге, «где дни облачны и кратки», и в Надеждине, где соняк напоен смолой, и в сестрином приволжском имении, где он переводил Вергилия: «Мне светлая река, поля, дубравы и ключ живой воды дороже всякой славы...»

Ветер Египта загудел в снастях, жизнь судовая пошла своим чередом — как сотни лет на сотнях нильских барок. Подобрал ноги, сидел на крыше каюты рулевой. Ибрагим, стоя на носу, оглядывал Нил. Кухарь ладил огонь в очаге, расположенном подле передней мачты. Матросы таскали в трюм двухведерные кувшины с водой. Кувшины были в мелких порах, вода, проступая сквозь них, тихонько испарялась, а потому всегда была прохладной и приятной...

¹ Аллах керим (араб.) — Аллах милостив.

К вечеру ветер утих, пыльная мгла рассеялась. Небо изукрашилось узкими длинными облаками; розовато-белые, они походили на перья пеликанов. Грифы чертили в воздухе огромные спирали. На берегу, у пальмовой рощи, виднелась деревенька. В деревеньке обиженно ревел осел. Когда осел умолк, стал слышен скрип водочерпальных колес-сакий.

Ибрагим решил наддать ходу, поставил все паруса: два больших, один малый. Три паруса, три треугольника, как говорят мореплаватели, — латинские паруса. Солнце, закатываясь, вызолотило барку, и барка сделалась и впрямь дахабия, что означает «золотая».

Свечерело быстро, на Нил будто тушью плеснули. Ибрагим причалил близ деревушки, и на барке утомонились.

Авраамия Сергеевича сильно ко сну клонило. Накануне допоздна сидел он с Дюгамелем у Мухаммеда-Али, благодарил пашу за гостеприимство, за то, что приискали ему, Норову, доброго кормчего и без промедления снабдили нужными в пути мандатами-фирманами. Сидели поздно, а поднялся Норов рано; день выдался душный, Авраамий Сергеевич притомился и теперь клевал носом.

Но ведь это была его первая ночь вдали от Каира, первая ночь один на один с несравненным Нилом, и он почел бы себя ужасным «прозаистом», когда бы, как все прочие на дахабия, развалился и захрапел. Звезды Африки сияют в небе. Полнощный зефир веет. И вдруг — спать?!

И Авраамий Сергеевич продолжал сидеть в кресле и клевать носом. Прошло, должно быть, полчаса, он наконец сдался, и его любование прелестью африканской ночи сменилось вполне приличным, негромким и сладостным всхрапыванием...

Разбудил Норова сильный всплеск за бортом. Он вскочил, озираясь. Все было тихо. Норов подумал, что шумел, наверное, крокодил, поглядел в темноту, постоял, потягиваясь, зевнул и отправился досыпать в каюту.

Было уже светло, когда он услышал какое-то мерное стенание. Норов почувствовал, что барка на ходу, однако ни ударов весел не было, ни голоса матросов не раздавались на палубе.

Выйдя из каюты, он огляделся. Капитан и рулевой, развалясь, лениво покуривали трубки. И тут опять послышалось мерное протяжное стенание. И тогда Норов увидел: впереди, близ берега, шлепала по воде череда людей. То были матросы с его барки; они шли бечевой — согбенные, облитые солнечным светом.

Из-под навеса появился заспанный Седрак. Норов спросил, не видел ли он Дрона. Переводчик неодобрительно пожал плечами и ответил, что слуга эфенди отправился на берег.

И точно. Дрон шел в бечеве. Он шел вторым, следом за темнокожим геркулесом.

— Какого черта? Кто его послал? — нахмурился Норов.

Ибрагим поспешно скатился с крыши каюты:

— Клянусь Аллахом, эфенди, никто не посылал.

Ибрагим не врал. Дрона действительно никто не посылал идти с матросами в лямке, даже отговаривали, объясняясь, разумеется, жестами. Дрон, однако, полез вместе со всеми в лодку, переправился на берег и теперь шел бечевой вверх по Нилу, как, бывало, хаживал с артелью по Волге.

Услышав слово «либбан», запавшее ему в голову, и увидев, как матросы, ежась и поводя лопатками, собираются на берег, Дрон решил, что негоже ему бездельничать, коли вся артель будет надрываться в лямке.

Нильские бурлаки удивились: франк, а туда же — в лямку. Откуда было им знать, что и франки бывают бурлаками? И матросы легонько отпихнули Дрона: не мешайся, мол... Но когда Дрон налег на лямку и пошел, твердо ставя ноги на прохладный и плотный песок, тогда все, кто тащил бечевой тяжелую дахабия — арабы, нубийцы, — почувствовали к Дрону нечто такое, чего никто из них никогда к франкам не испытывал: чувство побратимства...

А Дрон все шел да шел в лямке, ступая след в след за «шишкой», головным бурлаком, темнокожим геркулесом. Солнце жгло уже сильно, Дрону было тяжело. Сосед-араб повернул к нему темное, в крупных каплях пота лицо, мотнул подбородком в сторону дахабия. Дрон понял, длинно сплюнул и повел светлыми бровями. И араб тоже понял, улыбнулся Дрону.

«Ну, не-ет, — думал Дрон, налегая на лямку, — нет, ты, парень, погоди, у меня силенки хватит... Вот только б не ныли вы свое «алла, малла», а грянули б «Эх, ребята, бери дружно!», то-то бы оно и пошло веселее...»

9

Писать днем Норов не хотел: и жарко, и обидно что-нибудь не увидеть. Он писал вечерами, при свечах.

«Давно уж гляжу в синюю даль! Мысли мои летят быстрее попутного ветра, который мчит нас по огромному руслу Нила — к Фивам, к этому первенцу городов мира, великолепнейшему под солнцем! Вот уже мне указывают на разостланную шатром громаду горы Ливийского хребта; за нею, говорят мне, западная половина Фив. Нил, который тут расширяется почти на сто саженей, отражал некогда в струях своих целый лес колонн и обелисков!

Вдруг открылось обширное поле, простирающееся до отдаленного хребта Ливийских гор; на этом заглохшем поле,

взрытом развалинами, сидели в грозном одиночестве на мраморных престолах два гиганта, один подле другого. Выше всех пальм, выше всех развалин они господствовали, как цари, над необозримою картиною опустошения...

Я долго стоял в немом безмолвии, глядя на это поразительное зрелище, и потом, взявшись за карандаш, срисовал как мог эту картину.

Вечер застиг нас посреди руин. Усталые, мы расположились ужинать. Но тут вдруг мой проводник Али-Абу-Гарб, видя, что я не свожу глаз с великолепной картины этих портиков, колонн и статуй, освещенных луною, вскочил на ноги и, делая мне знаки, начал собирать разобранные выюки наши; мой драгоман¹ объяснил мне, что он хочет вести меня на террасу, откуда обещает показать картину превосходнейшую.

Несмотря на усталость и довольно сильную боль, разывравшуюся на месте старой моей раны, я тотчас последовал за ним по узкой темной лестнице. При свете луны я заметил, что каменные стены этой лестницы покрыты иероглифическим письмом. Нельзя не удивляться глубокомыслию этого первобытного народа, который из храмов, чертогов царей, публичных зданий делал книги для изучения их в продолжении всей жизни и которых гранитные листы, пережив тысячелетия, могут быть еще прочтены будущими поколениями...

Когда мы вышли на террасу, я не мог не обнять моего Али-Абу-Гарба! Фараонские чертоги были опять перед моими глазами, и сверх того все пройденные нами здания с пирамидальными пилонами, с перистилиями, с колоннами, с грудями развалин разверстывались передо мною в одном объеме: далее темные массы Ливийских гор, а кругом вся опустевшая долина стовратных Фив.

Никогда я не забуду этой поэтической ночи!

На другой день мне предстоял еще путь трудный — через огромную преграду Ливийских гор в последнее жилище владык Фивских: в ущелье, называемое арабами Бибан-эль-Мулук, то есть В р а т а ц а р е й.

Хотя мы отправились в путь утром, солнце уже начинало палить зноем, когда мы взобрались по крутым стезям, мимо пропастей, на самую вершину скал, откуда открывается вся горестная панорама Фив. Бедуины привели нас в одно ущелье, к ужасному отвесному спуску, спрашивая, не предпочту ли я путь кратчайший большому обходу? Опытность моего главного путеводителя Али-Абу-Гарба, а еще более несносный жар, заставили меня немедленно согласиться на это предложение.

С помощью других бедуинов, которые, как кошки, спуска-

¹ Драгоман — переводчик.

лись впереди меня в эту пропасть, цепляясь за камни, вскоре я очутился в глубине диких ущелий, где не только не видно было ни одного живого существа, но даже и следов жизни...

Из-за груды камней несколько отверстий черней ночи показывали нам вход в погребальные пещеры древнейших царей Фивских. Засветив факелы, мы отправились к ближайшей.

При самом вступлении в галерею, ведущую покато в дальний мрак, я уже поражен был удивлением, которое, возрастая на каждом шагу, превратилось в восторг.

Вообразите себе галерею, столь же роскошно расписанную, как Ватиканская или наша Эрмитажная, но менее высокую, потом целый ряд чертогов, украшенных пилястрами. Все это облечено живописью, столь свежую, что она как бы недавно вышла из-под кисти Рафаэлей фараоновых; конечно, эта живопись не такая искусная, как теперь, но она исполнена глубокомыслия и поразительно действует на воображение.

В конце этих палат представьте себе высокую поперечную залу, созданную как бы для пиршества, с округленным сводом, где по лазоревому полю, как по небу, рассеяны звезды, которые, при появлении факелов, блестят ярким золотом; залу, покрытую иероглифами и мистическими изображениями, и, наконец, сходящий, как бы в преисподнюю, путь мрачный и, по словам арабов, неисходимый. Посреди волшебного чертога стоит страшная своею огромностью гробница.

В 3 часа пополудни я предпринял обратный путь из этих гробовых ущелий. Стены скал были раскалены, как печи, и духота едва выносима; были примеры, что некоторые путешественники тут задохлись от зноя. В самом узком месте один из бедуинов предложил мне выстрелить из пистолета, чтобы показать силу отзыва. Выстрел был сначала подобен громовому удару, а последовавший гул был похож на покотившуюся с высоты гор лавину...

После часа верховой езды мы увидели прибрежные пальмы и Нил, на глади которого покойно стояла моя барка».

10

При северном ветре (Дрон по-волжски горычем его звал) ставили паруса; при ветре южном (Дрон по привычке морской его звал, хоть дул он вовсе не с моря) шли бечевою. И поднималась дахабия вверх по Нилу, и открывалась Норову панорама Египта.

Норов часто съезжал на берег. Он бродил по полям, заглядывая в жилища феллахов — неказистые хижины, слепленные из речного ила, глины и соломы.

Три урожая в год давала земля, напоенная и утучненная Нилом. Была она в белизне хлопчатника, в изумруде кукурузы.

То пламенели на ней маковые поля, то розовели поля клеверны. И много тут было пшеницы.

Как тысячи лет назад, шли феллахи, огружая, за плугом. Как тысячи лет назад, влекли плуг быки, медлительные и сильные. Как тысячи лет назад, скрипели колеса сакий, и хрустели травы, подрезанные серпом, и неустанные руки плели корзины из листьев финиковых пальм.

Люди знали, что эта земля — подарок Нила, ибо пища и жизнь существуют лишь после разливов Нила. И они слагали в его честь песни и гимны, и крестьянки, приходя с ребятишками к водам царя рек, молили: «Сделай, о Нил, чтоб мое дитя было так же сильно и так же прекрасно, как ты».

Все окрест казалось таким же, как в дни фараоновы. И так же, как в те стародавние времена, большая часть урожаев доставалась сборщикам податей и сами сборщики податей по-прежнему были свирепее диких кабанов. И казалось, пребудет так во веки веков...

Близилась тропики. На горячих белых отмелях нежились крокодилы. Завидев барку, они нехотя сползали в воду, и вода всплескивала под их телами с каким-то жирным неприятным отзвуком.

И отмели и крокодилы попадались все чаще. Ибрагимову команду крокодилы не страшили. Матросы шлепали близ берега, натягивая бечеву. Но теперь уж средь них не видно было Дрона.

Барин ему строго-настрога воспретил в лямке ходить. «В Россию вернемся, — поджимая губы, сказал он Дрону, — велю старосте отпускать тебя в артель, а здесь не смей». Не было у барина охоты возиться со своим крепостным, ежели того ухватит за бок или за щиколотку нильский разбойник. Да, по правде сказать, и сам волгарь не сетовал на запрет.

В феврале 1835 года дахабия подходила к Асуану.

Призрачным пламенем горел день. Посреди реки лежал остров. Недвижны на нем были пальмы и безмолвны руины древнего храма. На западном гористом берегу белел Асуан — последний египетский город. Дальше начинался край нубийцев.

Раис Ибрагим исполнил приказ паши: доставил эфенди Норова к первому нильскому порогу. Может быть, русский хочет продолжить плавание? Пусть тогда нанимает асуанского лоцмана да и верблюдов наймет, чтобы перевезти берегом, в обход порогов, все грузы с дахабия.

Русский хотел продолжить плавание на юг. Лоцман явился — гибкий, веселый, с красной повязкой на голове, с белым шейным платком, в синих, по колени закатанных шароварах. И погонщики одногорбых верблюдов явились.

Норов, Дрон и Седрак доехали верхами. Авраамий Сергеевич хоть и не в гусарах служил, однако наездником был от-

менным. А конь под ним оказался борзым. Едва Норов тронул его острым нубийским стремянем, как жеребец вздрогнул точно от внезапной и незаслуженной обиды, рванулся да и помчал во весь отпор.

Ветер опалил Норова. Гранитный щебень загремел под копытами. Проводник-асуанец не отставал от франка. Вскрикивая и вращая копьем, проводник то уносился вперед, то, резко осаживая скакуна, взвивался вверх и замирал в тонком звенящем воздухе.

Объехав стороной нильские пороги, всадники и верблюды вновь приблизились к реке. Норов увидел огромные камни, увенчанные пеной. Среди скал пробиралась Ибрагимова дахбия, пробиралась медленно, будто слепец в толпе.

За Асуаном пейзаж переменялся. Аспидные скалы нависли над рекой. Рифы, подстерегая плователей, злобно щерились, река вскипала, пузырилась. Селения нубийцев попадались редко.

Так вот она какая, эта Нубия. Норов подумал, что назовет будущую книгу не «Путешествие по Египту», а «Путешествие по Египту и Нубии». Миновав Асуан, он открыл другую тетрадь, толстую, прекрасной бумаги, в кожаном переплете, и записал свои первые нубийские впечатления.

«Нубийская семья, черная как уголь, сидела под скудной тенью. Несколько полосок песчаной земли, слегка посыпанной береговым илом, на котором виднелись черенки уже пожатой дурры, дают им хлеб насущный. Жилища нубийцев нельзя назвать деревнями, это род земляных таборов, прислоненных то к развалинам, то к пальмам, то к скале. Мужчины ходят совершенно нагие и имеют только нечто похожее на пояс; носят копья, луки и щиты, обтянутые кожей гиппопотама или носорога. Женщины носят покрывала, их черные волосы тщательно заплетены, перебраны железными кольцами и смазаны густым маслом, походящим на деготь; солнце топило этот состав; я не мог постигнуть, как они это выносят, по потом узнал, что это масло есть предохранительное средство от жары. Увидев, что я рассматриваю их прическу, некоторые закрывались покрывалами, а другие убегали.

Изредка меня развлекали дети нубийцев. Они резвились вокруг меня, когда я обедал, сидя в тени. Девушки показывали мне свои стеклянные ожерелья, роговые и медные браслеты. Лакомства, которые я раздавал им щедрою рукою, сдружили их со мною. Одна бедная мать привела мне большую чахоткой дочь и просила лекарства, воображая, что каждый европеец есть или чародей, или медик. Я передал ей все, что знал, для лечения этой болезни...»

Норов отложил перо и перелистал записи. Право, изрядно накопилось. А возвращаясь, он еще пополнит свои тетради. Сдается, не дурен будет его отчет о земле египетской, о ниль-

ских городах и селениях... Но к Пушкину, пожалуй, негоже отправлять послания. Надобно еще долго и тщательно обрабатывать слог. А в нынешнем виде, ей-богу, стыдно. Александр Сергеевич такой эпиграммой почтит, что взвоешь! Вот уж когда типограф выдаст в свет книгу, тогда и увидит ее Пушкин. И будь что будет...

Дахабия поднималась вверх по Нилу. Спокойное плавание радовало Дрона, как пахаря радует добрая погода. Норова, напротив, иной раз досада брала. Уж больно все тихо да гладко происходит. И даже в тот день, когда барка пересекла незримую нить Северного тропика, даже в такой день не случилось никаких особенных происшествий...

Надев темные очки, Норов прислонился спиной к передней мачте и смотрел на реку, блиставшую под солнцем, на высокое, чистой голубизны небо, на береговые скалы... Как резки краски, как ослепителен свет! Прекрасна Африка, прекрасна. И вдруг подкатывает к горлу тоска по далекой, совсем-совсем иной красе, тихой, до грусти милой. «Ну что ж, — усмехнулся Норов, — одно мановение руки, и Ибрагим послушно повернет судно. Одно мгновение... Однако нет! Надо достичь знаменитых скал. Надо...»

11

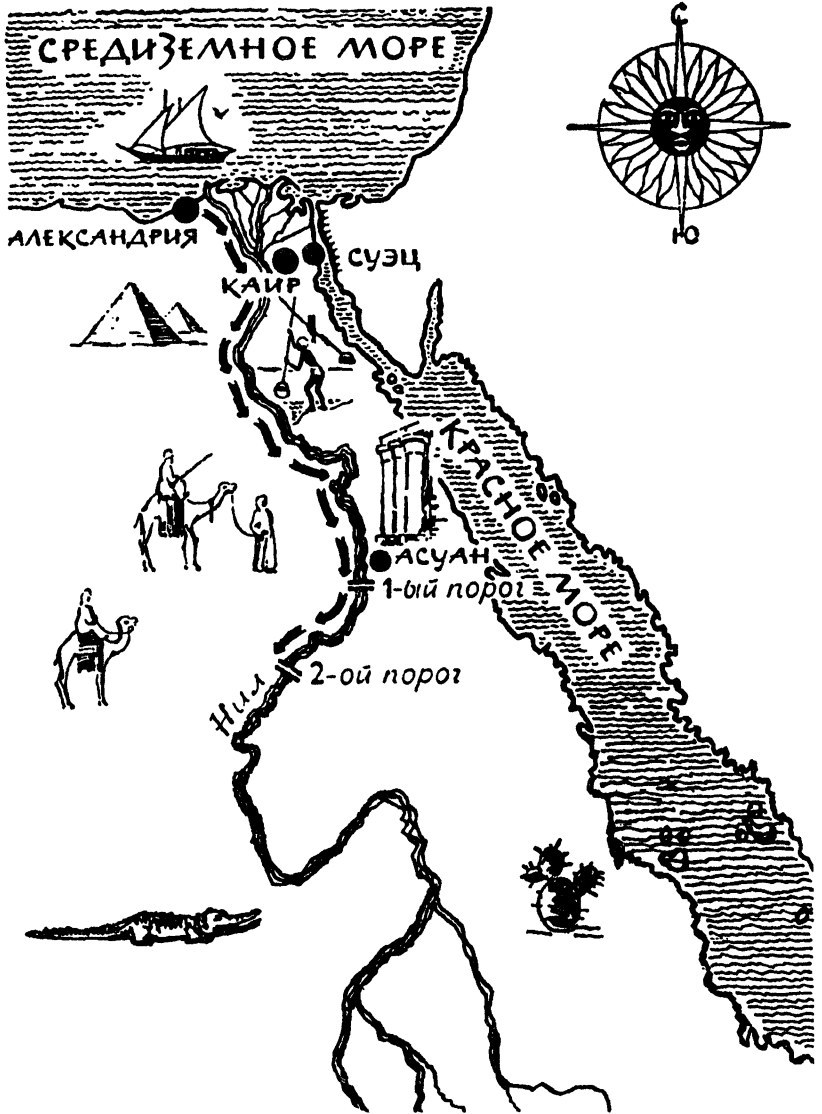
Были изгибы нильского русла, были селения Куруску, где встретился Норову караван с невольниками, шедшими в Каир, и городок Дур, считавшийся главным в Нубии, с его мечетью, домиками, пальмовыми рощицами, и опять были желтые и бурые развалины древних храмов...

Но вот он занялся, тот заветный день. Норов увидел с одной стороны берег низменный и пустынный, с другой — пальмы, деревни, а впереди — темную полосу, пересекавшую Нил. Это был Большой порог. И, увидев его, Норов, который всего лишь несколько дней назад вдруг затяготился странствием, с неожиданной печалью подумал: «А ведь кончается оно, путешествие в глубь Африки». И впрямь немного уж оставалось до Большого порога, где барка повернет и, выражаясь по-морскому, ляжет на обратный курс.

Из селения Вади-Хальфа отвалила лодка. Араб-чиновник прибыл на судно. Вид у него был недовольный: он не терпел путешественников-франков. Мандат, выданный Норову самим пашой, сделал чиновника сладким, как рахат-лукум, и Авраамию Сергеевичу пришлось выслушать цветистое изъятие его радости.

Чиновник предложил «дорогому гостю» два способа обозрения Большого порога: либо лодки, либо верблюды.

Норов сказал: верблюды. Чиновник спросил: почему имен-



Путь А.С. Норова

но верблюды? Норов объяснил, что барки и лодки ему прискучили, а на верблюдах он никогда еще не гарцевал. Чиновник ослабился, высказал несправедливую похвалу норовскому остроумию и обещался немедля прислать проводников и верблюдов.

На берег Норов отправился с Дроном. Вскоре прибыли верблюды. Проводники заставили их лечь, пригласили франков садиться. Те кое-как взгромоздились. Норов беспечно махнул рукой: трогай, дескать. И тут... тут произошло что-то непонятное. И Норов и Дрон почувствовали сильный толчок, будто пнули их пониже поясницы, и едва не грянулись оземь. А позади взорвался хохот нубийцев. Норову с Дроном не до смеха было. Они знать не знали, что эта чертова скотина, подымаясь с места, встает сперва на задние ноги, а секунду спустя вскидывает передние. Норов с Дроном ничего этого не знали. И вот — съехали набок, судорожно и нелепо вцепились в мохнатые верблюжьи шеи, и вид у обоих был отнюдь не геройский. А нубийцы все не могли успокоиться. Норов с досадой глянул на Дрона.

— Ничо... — конфузливо пробормотал тот, усаживаясь в седле и выпрямляясь. — Ничо! — И вдруг поднял голову, кудлатая борода торчком встала, сунул два пальца в рот да и зашвыстал так оглушительно и яростно, что верблюды в испуге мордами в песок ткнулись, а проводники разом умолкли.

Отведя душу, Дрон рассмеялся и тронул каблучком «проклятую животину».

За прибрежными скалами рыжим пламенем полыхала пустыня. Она словно бы курилась, воздух над ней трепетал и струился, будто над жаровней с горячими угольями.

Отъехали версты три. Стал слышен смутный гул, похожий на тот, что бывает при лесном верховом пожаре.

Версты через две гул обратился в гром. И тогда в стороне вымахнула, точно самим этим громом исторгнутая, высокая крутая гора. Она была в трещинах, как в морщинах, бурожелтая, горячая, в редких пучках выгоревшей травы.

Проводники остановились и указали копытами на гору.

— Там!

Норов и Дрон слезли с верблюдов. Слезали не без опаски: мало ли что втемяшится в голову «животине». Однако слезли благополучно. Норов подвигал деревянной ногой, словно испытывая ее надежность, бросил Дрону:

— Пошли.

Легко слово молвится, нелегко дело делается. Обоим восхождение на Этну припомнилось. Там и удары подземные пугали, и смрад душил, а все ж не столь тяжело пришлось. Впрочем, может, это только так теперь казалось...

Они карабкались, спотыкались, обливаясь потом и зажмуриваясь. Норов задыхался. Дрон поначалу все в спину его

подталкивал, потом плечо подставлял, а потом чуть ли не на руках тащил. И когда уж вконец обессилели, когда уж без мыслей, машинально, как заведенные, они лезли да лезли, потеряв представление о времени и пространстве, тогда вдруг расступились скалы.

Путники выпрямились, ошеломленные: в лицо им, как вода из ведра, хлестнул свежий ветер, и они ощутили прохладное, щекочущее, несказанно отрадное прикосновение невидимой водяной пыли.

И внизу они увидели Нил. Великий Нил, который с такой щедростью нес благоденствие Египту, великий Нил, воспетый беднейшими из бедных и богатейшими из богатых, Нил, в водах которого отражались царственные храмы и лица склонившихся над ним египетских крестьян, этот легендарный, несравненный Нил ярился, воздымая вихри водяного дыма, дробя солнечные блики, сверкая короткими радугами... Там, внизу, под горой, на которой стояли, задыхаясь и онемев, Норов и Дрон, великий Нил бился с неподвижными каменными громадами Большого порога. И, прогремев над ними, прокатив с ревом, белый, в пенной кипени, стремительно несся дальше на север.

На север!.. Норов вынул из ножен короткий стилет, купленный в Каире, и, налегая на рукоять, начертал на скале приветствие родине. И, пряча стилет, припомнил пушкинское: «Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России...»

БЕЛЫЙ ВСАДНИК

1

— Дальше солнышка не уедем, — рассудительно отвечал Иван Терентьевич в ответ на Илюшкино беспокойство, далеки еще путь.

«Так-то оно так, — думал Илюшка, — да уж, кажись, куда дальше?» Ну и завез же уральский начальник, корпуса горных инженеров подполковник Егор Петрович Ковалевский, ну и завез своих помощников Ивана Бородина да Илью Фомина! И пароходом-то они ехали из Одессы в Александрию, и опять пароходом ехали от Каира до Асуана, а потом все нильскими водами плыли вверх, все вверх до самого Куруску, и на вот те — доехали! Их высокоблагородие Егор Петрович лучшего придумать не мог, как тащиться пустыней. А тут, в пустыне, такое окаянство, хоть вой, дышать нечем, во рту точно кляп из мешковины застрял.

— Эх, дядя Иван... — вздохнул Илюшка и осекся: пронзительный рев сотряс воздух.

Верблюды ревели во всю мочь, будто из них щипцами жилы тянули. Сотня верблюдов стояла на коленях и вопила: не было для них ничего ненавистнее погрузки.

Ковалевский щелкнул серебряной крышкой массивных дорожных часов. Часы показывали восемь утра. Егор Петрович достал из футлярчика карманный термометр. Столбик поднимался до отметки «34». Ковалевский сокрушенно покачал головой: «И это январь!» — сунулся в палатку:

— Тридцать четыре, Лев Семенович! Каково, а?

Лев Ценковский, питомец Петербургского университета, с тем сосредоточенно-восторженным выражением на худощавом и некрасивом лице, какое не раз замечал Егор Петрович у начинающих естествоиспытателей, попавших «на натуру», ответил молодцом:

— То ли еще будет, Егор Петрович... — и рассмеялся.

— Ахти как весело! — проворчал Ковалевский.

— А я, знаете ли, о чем? Число-то нынче какое?

— Число? Двадцатое... Ну и что?

— Как что? Нынче весь чиновный Петербург жалованье получает. Морозище, должно быть, а жалованье греет.

— Ах, вот оно что, — отозвался Егор Петрович. — Нда-с. —

И прибавил лукаво: — А вот коллекция вашим, Левушка, приращения тут не будет. Ни черта лысого нет в этой Нубийской пустыне.

Ценковский улыбнулся одними глазами. Глаза у него были голубые и очень чистые. «Славный малый, — добродушно подумал Егор Петрович. — Есть в нем что-то совсем дитячье. Другой бы ходил тучей: препоручений множество, а денег малость».

Ковалевский вспомнил петербургских академиков: они и ему понаписали пространные наставления. Подумать можно, что Ковалевский не подполковник корпуса горных инженеров, а ходячее отделение Академии наук.

Жарища, однако... Конечно, куда приятнее было бы добираться до Бербера на дахабия: полеживай в тенечке под навесом да услаждайся влажным плеском воды за бортом. Но тогда пришлось бы дать здоровенный крюк. Ох уж эти реки, что бы это бежать им прямехонько... Он отлично представляет тяготы пустыни, но времени нельзя терять, потому что в мае под экватором грянет дождевой потоп. А посему торопись, Егор Петрович, поспешай!

— Ну как, орлы-соколы! — Ковалевский постарался придать голосу эдакую армейскую лихость. — Тронули, что ли?

Бородин ответил тускло:

— Да куда уж денешься?

А Илья только раздул щеки:

— Фу-у-у...

Арабы-проводники заголосили гортанно: они зывали к духу — покровителю караванов.

И пустыня приняла караван. И час, и другой, и третий она была все та же — песок, и только. Ковалевскому с Ценковским и Бородину с Фоминым казалось, что они медленно погружаются в злое марево, в зыбкую желтизну...

На другой день все возликовали: огромное озеро блеснуло вдали — живое, приманчивое, и они глядели на него не отрываясь.

— Море дьявола, — сказали погонщики.

«Бесовское наваждение», — понял Иван Терентьевич.

— Мираж, — мрачно молвил Ковалевский.

Озера сменялись полноводными реками в зелени прибрежных зарослей. Еще какой-нибудь час пути — и ринься в воду, взметни ее полными пригоршнями, припади лицом, грудью и пей, пей, пей.

Но час, и другой, и третий, а все — пески.

Стараясь отрешиться и от этих песков, и от мучительных видений, и от мерной поступи каравана, и от жажды, и от этого неприятнейшего ощущения, когда чудится, будто кожа твоя обратилась в шелуху, Егор Петрович размышлял о... сооружении канала, который спрямил бы излучину Нила, пере-

сек бы пустыню... И тогда, о, тогда жизнь ударила бы артезианской струей под этим бледно-серым, пожелтым от зноя небом!.. Длина канала? Верст триста, не больше. Песчаные ложа умерших рек сократили бы земляные работы. Будь Ковалевский пашой Египта, уж он бы, честное слово... И, сделавшись «пашой», Егор Петрович размышлял: ему грезилась распаханная буйно-зеленые поля и селения феллахов на месте бывшей Нубийской пустыни.

Вдруг он явственно ощутил прохладу и в первую секунду подумал, что она тоже порождение его грез, но тут же увидел, что солнце уже перевалило зенит, и чуть-чуть потянул северный ветерок. «С милого севера в сторону южную», — подумалось Егору Петровичу, и он отер платком лицо.

Видения рек и озер, колыхаясь, бледнели. Вот они начали никнуть к пескам, меркнуть, рассеиваться. Еще немного, и они сгинут, как призраки при пенье петухов.

Лишь однажды попались колодцы. Горькая мутная жижа мертвенно поблескивала в глубине. Но кожаные мешки были наполнены, животные и люди пили эту жижу.

Мерно и твердо шествует караван соловых и белых одногорбых верблюдов. Мерно и твердо шагают погонщики. Владеет ими древний ритм караванных дорог. Только караван и движется посреди великого безмолвия и великого покоя. Только он да солнце.

На десятый день темная точка появилась в пустом, блеклом, будто пылью припорошенном небе. Она быстро катилась в вышине навстречу каравану. Все ближе, все ближе... Коршун пронесся низко, был слышен роковой шелест его крыл. Но арабы и русские улыбаясь следили за полетом коршуна. Недалече, стало быть, Нил, совсем недалече! Ибо даже коршуны не смеют залетать в просторы Нубийской пустыни.

Егор Петрович обернулся к Ценковскому, обвел рукой горизонт:

— Вот уж поистине, Левушка, куда и ворон костей не заносит.

— Не говоря о пресловутом Макаре с его телятами, — в тон ему отвечал Ценковский.

2

Опрятная Александрия напомнила Ковалевскому европейские города; скрип сакий на берегах Нила — скрип украинских колодцев-журавлей в родном селе Ярошовке. А теперь, приближаясь к столице Восточного Судана, Ковалевский вспомнил... реки Сибири: взбаламученную Катунь, чистую Бию. Бия и Катунь рождали Обь, но, слившись, много еще верст текли словно бы порознь — струей илистой, плотной и

струею, пронизанной светом, плавно играющей. Так и здесь, в Судане, разноцветье было отчетливым: справа струились светлые воды, слева — голубовато-зеленые.

Неделю спустя после перехода Нубийской пустыней Ковалевский подплывал к Хартуму. Хартум лепился ближе к Голубому Нилу, но Белый Нил был виден чуть ли не из каждого уголка этого города, вот уже четверть века как завоеванного пашой Египта.

Не впервые случалось Ковалевскому подъезжать к чужому, незнакомому городу. Мало ли повидал он за годы странствий? Вот уж почитай второй десяток лет он по праву может называть себя путешественником. Начинаящим горным инженером скитался по кряжам Алтая. Всей грудью вдохнул полынный настой Оренбургских степей. Приаральское солнце, шершавое, как язык верблюда, лизало его лицо. Шумели над ним кедры и пальмы Кашмирской долины, дивил мрамор Лакхора, столицы сикского государства в Индии, пели славянские песни горные реки Балкан...

Начальником оружейного завода жил Егор Петрович в Златоусте. Урал пришелся по душе — ядреные зимы и жаркие лета, тропы старателей, воинский звон железа в полутемных и приземистых заводских корпусах, адские отблески плавильных печей... По душе Ковалевскому был Урал и уральцы, и дел у него в Златоусте было неспорно, но все же томила душу тоска по дальним путешествиям. И тут-то вдруг свалилось неожиданное поручение: подполковнику Ковалевскому ехать в Африку! Ждут не дождутся его в краях черт-те знает каких двое молодых африканцев, его, Ковалевского, выученики.

Приказ был получен летом сорок седьмого года. На радостях Егор Петрович сунул фельдъегерю целковый. И закрутился как бешеный в Златоусте: сдавал завод новому начальнику, прощался с сослуживцами, утешал дам; они теряли «такого Чацкого», а любительское представление «Горя от ума» было на носу.

Распоряжением из Петербурга Ковалевскому разрешалось взять с собою помощников. И вот он их подыскивал. Не только помощников, не только мастеров, нет, сотоварищей высматривал среди «людей ведомства горного».

Высмотрел Бородина Ивана Терентьевича и Фомина Илью. Иван Терентьевич человек богатырской стати, залюбуешься открытым, в честных морщинах лицом. Под пятьдесят ему, Ивану-то Терентьевичу, и рудникам отдал он всю жизнь. Погонщиком хаживал в медных шахтах, рудознатцем был, штейгером сделался на Златоустовских заводах. А Фомин? Тот в сыновья годился Ивану Терентьевичу. Русые волосы у Илюшки аккуратно в кружок подстрижены, весь он ладный, проворный, шустрый. Недаром знаменитый изобретатель

Аносов держал его подручным, когда сооружал новую золото-промывальную машину...

Вот с этими-то «людьми ведомства горного» и молодым петербургским ученым Ценковским Егор Петрович и подъезжал в феврале 1848 года к городу Хартуму, что стоит при слиянии Белого и Голубого Нила.

Хартум обдал клубами пыли. Отплеываясь и жмурясь, углубились они в узенькие искривленные улочки. Глиняные домики были без стекол в окнах, без замков и запоров на дверях. Один из таких домиков Ковалевский снял на два дня для экспедиции.

Что же он такое, этот суданский город?

Разноплеменные войска под командой турецких офицеров? Генерал-губернатор, чиновники? О, это еще не Хартум.

Хартум — это сами суданцы, это базары, это сады у Голубого Нила. Барки и верблюжьи караваны везут в Судан жгучий ром и отборный рис, добротное сукно и сирийский табак, маты сосновые и маты еловые; а Судан отгружает душистый кофе из Эфиопии и добрую медь с берегов Белого Нила, страусовые перья, бивни слонов и шкуры леопардов, черное дерево и черных невольников.

Голубой Нил поит хартумские сады. В садах лунно отсвечивают лимоны, гранаты наливаются сладкой кровью и никнут тяжелые связки бананов. Сады перемежаются полями. На полях сеют хлеб, четырежды в год снимают жатву.

А жители Хартума? Много народов и племен повидал Ковалевский, а таких не видывал. Африка! Что уж говорить про Ценковского и Бородина с Фоминым!

Ценковский все время что-то нашептывает Егору Петровичу. Иван же Терентьевич с Илюшкой стараются не выказывать удивления. Как ни чудно им, а порешили они, что так оно и должно быть, ежели люди живут, одеваются и пищу варят своим манером.

Вот у здешних мужиков что штаны, что исподнее: белые. И короткие, до колен. Должно, в таких-то по жаре способнее. Или вот таскает каждый по два копья, а нож через плечо подвешен. Значит, есть резон остерегаться чего-то. На ногах же у них... как это... сандалии, что ли, называются. Опять же попробуй тут в сапогах пощеголять. Свету не взвидишь. А бабы... Ну и чудесницы! Волосяные башни на головах, в носу — кольца большие. Из золота, что ли? Да нет, медные. Ох и придумают! Впрочем, чем бы ни тешились... А губы, губы-то у них синие. Словно утопленницы, ей-богу. Ну а если взять супружниц сидельцев да купчишек на Руси — те зубы чернят...

Вечером Ковалевский и Ценковский отправились в гости. Посыльный принес им записку по-французски. В записке после поздравления с благополучным прибытием говорилось,

что местные жители-европейцы будут рады видеть соотечественников.

— Соотечественники? — удивился Ценковский.

Ковалевский, прилаживаясь с бритвой у зеркальца, ответил:

— Это ведь как понимать следует? Представьте: вы, петербуржец, где-нибудь, скажем в дебрях Сибири, встречаете петербуржца. Вы, разумеется, радостно пожимаете ему руку: земляк! Теперь вообразите: путешествуя по Италии, вы, петербуржец, встречаете сибиряка. И что же? Восклицаете: «Здравствуй, земляк!» Не так ли? А теперь представьте: в черной Африке вы натываетесь на итальянца. И что же? Вы в восторге: европеец — стало быть, соотечественник. Так-то, Левушка, меняются представления.

Вскоре они ушли.

— Вона, — обиженно заметил Илья, — отправились...

Бородин поднял на него спокойные глаза:

— А ты думал, тебя возьмут? Пожалуйте, дескать, сударь.

— Не думал... А все ж...

— Чего «все ж»?

— Тут ведь не дома... Вместе так вместе...

— «Не до-о-ма». Чудак ты, паря, право, чудак, — усмехнулся Иван Терентьевич. — Да ты с ними на дне морском очутись, а все одно — гос-по-да.

Иван Терентьевич тяжелым своим шагом заходил по комнате. Комната была пустая. Ни стола, ни лавки, ни табуретки. И лба перекрестить не на что. По глиняным стенам, суча клейкими лапками, постреливая огненными язычками, сновали ящерицы. Бородин усмехнулся:

— Ишь ты, мух ловят, что кот мышей.

Илья, помолчав, заметил:

— Ты, дядя, лучше на пол глянь. Как спать-то поляжем?

По земляному полу перебежали скорпионы и тарантулы.

Иван Терентьевич безглаголиво повел лопатками:

— Надо б, Илюха, постелю устроить.

— Постелю? — нехотя отозвался Фомин. — А вот придет их высокородие, пусть и распоряжается. Наше дело маленькое.

— Да брось ты, паря, — рассердился Бородин, — брось, говорю, бестолочь пороть.

— А чего ж бестолочь? — заупрямился Илья, но тут в комнате появился хозяин.

Это был рослый, мускулистый суданец. Старательно пережевывая табак, отчего нижняя губа у него оттопырилась, он проговорил что-то непонятное. Илья переглянулся с Терентьевичем.

— Найн, — медленно ответил Фомин, — найн ферштейн. — Он мучительно вспоминал те несколько немецких слов, кото-

рые слышал на Урале от заезжего инженера. — Найд, — повторил он с силой, но тут же сообразил, что немецким не можешь, и сказал: — Нэ понимай...

Суданец жестом пригласил их следовать за собой. Терентич потянул Фомина за рукав:

— Не робей.

Хозяин выставил обильное угощение. Теплые лепешки из дурры, вкусом похожие на пшениные, лежали в красивых тарелках из пальмовых листьев, украшенных соломенным узором. Жареные куры плавали в масле, а жареные голуби тонули в соусе. В стеклянных бутылках были мериза — хмельной напиток и что-то напоминающее лимонад.

Хозяйка, темно-бронзовая и крутобокая, в переднике из множества ремешков, встретила гостей. Голопузые мальчуганы, не дичась, уселись рядом с Иваном Терентьевичем. Он ласково потрепал их тяжелой ладонью, покосился на Илью:

— Нехристи, а по-людски принимают, семейно...

3

Егор Петрович с Ценковским сидели под навесом просторного дома негоцианта Никола Уливи в окружении дюжины «соотечественников». Стол был уставлен бутылками. В ровном пламени свечей с меланхолическим треском гibly какие-то крылатые твари.

Уливи, седой и хитроглазый, произнес тост. Тост был столь же длинен, сколь и невесел, хотя негоциант произнес его самым непринужденным тоном. Он приветствовал сынов великой северной державы, рискнувших проникнуть в столь южные широты и посетивших город Хартум, в коем за пять лет умирает три четверти европейцев от изнурительной жары, болотных испарений и еще черт его знает от каких болезней.

Высказав все это, Уливи чокнулся с Ковалевским и Ценковским. Когда бокалы были опорожнены, он добавил, что просит русских располагать его домом как собственным. «Соотечественники» согласным хором предложили свои услуги путешественникам.

Егор Петрович и Ценковский рассыпались в благодарностях столь душевным и сердечным людям. Они не замечали усмешки, с какой посматривал на Уливи и его собутыльников молчаливый шатен с высоким лбом и орлиным носом. Даже не сведущий в медицине человек догадался бы, что этот юноша едва оправился от приступа тропической малярии — таким изможденным и желтым было его лицо. Одетый в турецкое платье, он расположился несколько в стороне и после тоста Уливи лишь приподнял свою рюмку и поставил, не пригубив.

Альфред — так звали юношу в турецком платье — был удивлен, что русские, такие, по-видимому, серьезные и положительные, принимают за чистую монету болтовню всей этой компании. Впрочем, еще месяц назад ему, Альфреду, все они тоже казались чрезвычайно милыми. Да, месяц назад, приехав в Хартум с бароном Мюллером, Альфред Брем не подозревал, что все эти Уливи, Лумелло, Вессье и прочие не кто иные, как мошенники и убийцы.

Узнал он про них от них же. Как все негодяи, они не стеснялись, когда речь заходила о «друге-приятеле». Уливи, например, ничуть не таил, что аптекарь Лумелло, обдывая свои тайные делишки, связанные с перепродажей слоновой кости, отравил, как крыс, несколько соперников, а Вессье, торговец черным деревом и шкурами леопардов, держит гарем и до смерти избивает невольниц. Лумелло и Вессье, в свою очередь, охотно рассказывали, что Уливи, этот седовласый итальянец, часто потчующий их ромом и сигарами, этот примерный католик наживается торговлей рабами...

Альфред тихонько поднялся, подошел к краю террасы и, опершись спиной о столб, поглядел в сад. Сад был в лунных отсветах, в четких тенях. Брем вздохнул: точь-в-точь как дома. И увидел усадьбу в Тюрингии, лица отца, матери, братьев. Нынче ему особенно взгрустнулось. Днем этот задиристый барон Мюллер распек препаратора Брема за то, что тот изготовил мало птичьих чучел. «И ведь отлично знает, — обиженно думал Альфред, — как меня терзала малярия. Так нет: сто тридцать чучел ему мало...»

— Простите, я решился нарушить ваше уединение... Барон, с которым вы имеете удовольствие путешествовать, сказал мне, что вы тоже натуралист. Очень приятно встретить коллегу.

Брем протянул Ценковскому руку:

— Вы льстите мне, господин Ценковский. Я, право, дилетант.

Ценковский шутливо погрозил Альфреду пальцем:

— Эге, да вы скромник! А что скажете о «Материалах к познанию птиц»?

Брем и обрадовался и смутился.

— Да... но... Но книги, о которых вы упоминаете, написаны не мною.

— Позвольте, позвольте, — смешался Ценковский. — Неужели мне изменяет память?

— Только на имя.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что автор их Брем. Но не Альфред, а Людвиг.

— Ах, вот оно что, — протянул Ценковский. — Он ваш родственник?

— Людвиг Брем — мой отец, — со сдержанной гордостью отвечал юноша.

Ценковский хлопнул себя по лбу:

— А я, однако, хорош! Как было не сообразить? «Материалы» выданы в свет, кажется, лет двадцать, двадцать пять тому назад, а вы в то время, должно быть, еще и не родились. Правда?

Все это было сказано дружески просто, с доброй улыбкой, и Брема потянуло откровенно поговорить с этим худошавым, некрасивым голубоглазым человеком, потянуло рассказать ему и о нынешней стычке с бароном, и о своих нильских впечатлениях, и даже о сокровенном — о замыслах написать когда-нибудь такую поэтическую книгу про жизнь животных, чтобы ее прочли многие люди, далекие и от науки, и от природы, прочли и ощутили бы волшебство лесов, рек, степей... Альфред даже немного испугался своего внезапного душевного порыва и быстро глянул на Ценковского с застенчивой полуулыбкой.

Догадался ли тот, как одиноко этому юноше среди хартумских «соотечественников», а может, просто надоело Льву Семеновичу слушать болтовню на террасе, но только взял он Брема под руку и пошел с ним сквозь рваный лунный свет по черным садовым теням.

Егор Петрович вскоре заметил исчезновение молодых людей и позавидовал им.

«Соотечественники» пили обстоятельно и пьянели с тупой неуклонностью, как офицеры в русских захолустных гарнизонах. Егор Петрович принужденно улыбался и обдумывал благовидный предлог ретирады. Ну, что, в самом-то деле, сидеть у разливанного ромового моря? Да и персона господина полковника — Ковалевский дважды или трижды уточнял: он-де подполковник, но все упрямо величали его чином выше, — кажется, не занимает больше «соотечественников». Он ведь уже доложил, куда и для чего направляются четверо русских. При слове «золото» Уливи стал прозрачно-трезв, подобрался, напрягся. Но так длилось не больше минуты. Потом Егору Петровичу пришлось выслушать пространное и мрачное рассуждение о «невероятном коварстве негров» и о том, что белый, появившийся в долине реки Тумат, непременно будет умерщвлен отравленной стрелой. Ковалевский пробовал возражать: у него, дескать, найдется охрана.

— Из кого же? — осведомился Уливи.

— Негры-солдаты, — отвечал Ковалевский.

Негоциант сделал красноречивый жест: они-то и прикончат уважаемого полковника... Не все разделяли предсказания хозяина. Однако все утверждали, сочувственно покачивая головой, что экспедиция вряд ли обернется счастливо: и золота полковник не сыщет, и заболет наверняка.

Рассуждения на эту тему заключил аптекарь Лумелло.

— Оставайтесь-ка с нами, — улыбался он, показывая дурные зубы. — Нет? Ну так выпьем, господа!

И вот они пьют уже второй час.

Доктор Пенне, склонив лысую, желтую голову, перебирал струны гитары и порывался тянуть фальцетом песенку Беранже «Мои дни осуждены...».

Слово «осуждены» не нравилось отравителю Лумелло.

— Осуждены? — негодовал пьяный аптекарь; его маленькие, близко посаженные глазки буравили доктора. — Осуждены? Эт-то мы еще поглядим!

Доктор отмахивался. Барон Мюллер, плотный, мясистый человек, оглядывался вокруг с таким видом, будто поджидал обидчика, которого он, барон Мюллер, видит бог, вздует как следует. Торговец черным деревом Вессье рассказывал что-то сальное о «прелестницах абиссинках»; при этом он целовал кончики своих пальцев и все пытался хлопнуть Ковалевского по плечу.

Наконец Егор Петрович стал откланиваться.

— Куда же вы? — изумился Уливи, и Ковалевскому, как давеча, когда речь зашла о золоте, показалось, что негоциант мгновенно стал прозрачно-трезв. — Куда же вы, дорогой полковник? Мы еще грянем баркаролу из «Фенеллы». Мы тут отлично все спелись, — добавил он с двусмысленной улыбкой.

Егор Петрович остался: неловко было обидеть гостеприимного хозяина. Веселье, если только все, что происходило на террасе, можно было назвать весельем, продолжалось.

И вдруг вся компания притихла.

Он всегда появлялся внезапно, этот иезуит, — длинный, постный, с узким лицом и недобрыми умными глазами. И в этих внезапных его появлениях всегда было нечто устрашающее.

Падре Рилло привычно поднял руку для благословения, но, увидев красные лоснящиеся физиономии своей паствы, опустил руку и сказал:

— Добрый вечер. — Голос у него был звучный, энергичный.

— Добрый вечер, падре, — послышалось со всех сторон, — добрый вечер.

Рилло направился к Егору Петровичу.

— Рад видеть вас еще раз, — сказал падре по-русски, к великому удивлению всех присутствующих.

Не удивились двое: Ковалевский и Никола Уливи.

— Кофе, падре? — спросил хозяин.

— Да, кофе, — ответил Рилло, не взглянув на Уливи и сядя рядом с Ковалевским.

Они познакомились утром. Едва барка подвалила к Хартуму, как на борт поднялись миссионеры, среди них был и

Рилло. Но еще задолго до хартумского знакомства Ковалевский был наслышан об этом неутомимом слуге Ватикана — имя его частенько появлялось в европейских газетах. Особенно громко прозвучало оно после ловких политических комбинаций падре Рилло в Сирии.

Утром на дахабия Ковалевский узнал из уст Рилло, что отныне падре со своей братией приступает к широкой миссионерской деятельности именно там, где Егору Петровичу, по просьбе египетского правительства, поручалось разведать золотые россыпи. Но падре, впрочем, умолчал о том, что его миссия печется не столько о вящей славе господней, сколько о пополнении ватиканской казны, а сверх того, и о проникновении некоей европейской державы в Судан и Эфиопию.

Егору Петровичу иезуиты с их девизом «цель оправдывает средства» были, мягко выражаясь, неприятны. Все это, впрочем, не помешало Ковалевскому еще утром оценить Рилло, обширную его начитанность, познания в русском языке.

Теперь, сидя рядом с горным инженером, прихлебывая мелкими глоточками горячий мокко, Рилло повел речь о том, не согласится ль Егор Петрович... Он умолк и обвел своими суровыми глазками «соотечественников».

— Я хочу, — сказал падре, — говорить с нашим гостем на его языке. Язык этот нравится мне чрезвычайно. А говорить на нем приходится, к сожалению, редко. Надеюсь, вы извините?

— О, пожалуйста, пожалуйста, — ответил за всех Никола Уливи.

А доктор Пенне бодро предложил:

— Господа, сразимся?

Все поднялись и перешли гуськом в комнаты. Питие было окончено, начинался вист.

— Я ваш избавитель. — Падре метнул презрительный взгляд в спины удалявшихся гостей. (Ковалевский пожал плечами.) — Итак, Егор Петрович, — продолжал иезуит, отчетливо выговорив имя и отчество Ковалевского, — я убежден, что имею в вас человека просвещенного и добросердечного. Поверьте, — он сделал протестующий жест, — это не пустая похвала...

Рилло отхлебнул кофе и начал выстраивать фразу за фразой по всем правилам хорошо затверженной русской грамматики.

Мысли, высказанные им, сводились к следующему: различия меж церковью католической и православной, к каковой принадлежит уважаемый Егор Петрович, не могут, разумеется, помешать им, то есть господину Ковалевскому и ему, падре Рилло, не могут помешать им объединить свои усилия, дабы нести свет Христова учения в африканскую тьму...

Егор Петрович затеребил ус.

— Господин Рилло, я не миссионер.

— Знаю, — остановил его иезуит. — Мы и не просим, чтобы вы читали проповеди или совершали требы. Но помогите это сделать другим.

Ковалевский почувствовал раздражение.

— Господин Рилло, говорите прямо.

Падре посмотрел ему в глаза.

— Благодарю за откровенность, — сказал он очень спокойно. — Говорить прямо. Как сие? Без обаяков?

Ковалевский не удержался от улыбки:

— Без обаянков.

— Благодарю вас. Итак, без обаянков. — Он опять взглянул в глаза Ковалевскому. — Я прошу вас взять с собою наших священников.

Егор Петрович откинулся в кресле. Его коробило от этого заглядывания. Он забарабанил пальцами по колену. «Тэк-с, тэк-с... Так вот куда ты метишь, птичка божья». И, подумав, ответил:

— Не могу. Без разрешения каирских властей не могу.

Рилло поджал губы. Такого поворота он не ждал. Но падре великомерно владел собой.

— А местный генерал-губернатор вам не указ? — спросил он медленно.

— Нет, господин Рилло, не указ, — отрезал Ковалевский.

Рилло допил чашку кофе.

— Очень жаль, — произнес он бесстрастно. — Жаль, когда интересы высшие, — он возвел глаза к потолку, — уступают в нашем сердце низшим.

— Совершенно справедливо, — с подчеркнутой значительностью ответил Ковалевский.

— Ну хорошо, Егор Петрович, — вздохнул падре. — А не поможете ли вы мне в другом?

— В чем же?

Рилло улыбнулся:

— Что нового в российской словесности?

— О! Вы и за ней следите? Очень приятно. Вот теперь вы найдете во мне миссионера. — И он придвинулся к Рилло...

Когда дом наконец опустел и затих, Никола Уливи торопливо прошел в глубину сада. Там среди мимоз в беседке ждал его Рилло.

— Послушайте, Уливи, — устало проговорил падре, — мне с каждым днем все хуже...

Уливи знал, что Рилло жестоко страдает дизентерией. «Однако, черт побери, — злобно думал Уливи, — нашел время распространяться о своих болезнях».

— Я говорю не для того, чтобы вызвать ваше сочувствие, сын мой, — иронически сказал Рилло, — хотя, конечно, вы сострадательный христианин.

— Ну-ну, — пробурчал охотник за рабами. — К чему это, отец?

— А вот к чему, Никола. — Голос падре стал жестким. — Если меня не станет, карты повезете вы.

— Они согласны? — громко прошептал Уливи. — Согласны?

— Боже мой, боже мой, — кротко проговорил Рилло, — какая алчность сожигает вашу грешную душу.

Уливи криво ухмыльнулся.

— Вы сами отвезете карты в Рим, — повторил Рилло властным тоном.

— Конечно, падре. Но...

— Что «но»? — недовольно спросил иезуит. — Какие еще «но»?

— Я хочу сказать... — Уливи проглотил слюну. — Я хочу сказать — в том случае повезу, если мне дадут эти чертовы мужланы.

— Вы возьмете карты у молодого. Его не пришлось долго уговаривать. — Рилло поднялся. — Доброй ночи, сын мой.

4

Голубой Нил бывает красным: в период бурных дождей он несет глинистую землю Абиссинского нагорья. Но теперь, в феврале, Голубой Нил отражал безоблачное небо.

По выходе из Хартума открылось желтое блюдце плоского островка. Зеленоватыми осклизлыми бревнами крокодилы млели под солнцем.

Поля и сады левобережья уступали натиску ив и тамарисков. Ивы и тамариски были в цепких тенетах ползучих растений.

Журавлиные стаи покидали ночлег. Шумной армадой уходили они на север — к Средиземному морю и далее, далее, к берегам Волги.

Ковалевский провожал их взглядом.

— Домой, — вздохнул он.

— В этих перелетах есть нечто таинственное, не познанное еще наукой, — ученым тоном сказал Ценковский. — Вчера мы говорили с Бремом...

Ковалевский наморщил облупившийся нос.

— Они домой улетают, — повторил Егор Петрович укоризненно: как, мол, вы, Левушка, не понимаете.

— Мда-с, — рассеянно отозвался тот. — А знаете, Егор Петрович, жаль, вы не познакомились короче с Альфредом. Отличный юноша, честное слово.

— Зато я короче познакомился с падре Рилло, — обронил Ковалевский. — Вот и еще, еще летят, домой, к нам домой...

Разговор с иезуитом оставил неприятный осадок. Смутная тревога овладела Ковалевским. Почему? Он и сам не знал. Но избавиться от нее не мог.

Вот если бы Фомин, двадцатилетний Илюшка Фомин, уральский мастеровой, рассказал о своей давешней беседе с падре, если бы рассказал... Но Илюшка и не думал рассказывать. Он слонялся по барке, глазел на берега и посвистывал с видом человека, которому сам черт не брат.

Все еще ощущая смутную тревогу и не понимая причин ее, Ковалевский принялся измерять скорость течения реки. Ценковский помогал. Оказалось, Голубой Нил бежал шибче главного Нила.

— На версту с половинкой, — объявил Егор Петрович.

— Ну, вот... — сказал Левушка с таким видом, точно внушал Ковалевскому: «Видите, Егор Петрович, как оно, а вы что-то не в себе».

— Гм... гм... — пробормотал Ковалевский, и это означало: «В самом деле, чего я хмару на себя напустил?» И, повеселев, окликнул Ценковского: — Смотрите-ка!

Над баркой реял и всплескивал трехцветный русский флаг.

— Картинно, — сказал Ценковский.

— Не в том суть, Левушка.

— А в чем?

— Ужели не догадываетесь? На Голубом Ниле — впервые! Ай да мы!

— Это уже слава, — полушутя ответил Ценковский.

Барка шла медленно. Вода в реке стояла низко, мели проступали, как лысины. Нильская синь густела, принимая малахитовый оттенок, к берегам теснился, поднимаясь все выше, тропический лес.

Ночами выли гиены. У Бородина по спине бегали мурашки: он полагал, что гиены — это что-то из геенны, из адской преисподней. Гиппопотамы тяжело возились в воде и оттискивали следы на прибрежных полянах. Фомин, разглядывая глубокие вмятины, скреб подбородок: «Вколачивают, что сваю...» Цапли цепенели среди водяных лилий; Егор Петрович не мог решить, кто изящнее — птицы или цветы... А Лев Семенович Ценковский страдал от того, что скопища саранчи обглаживали листву великолепных деревьев... И все четверо хохотали до слез, когда жители какой-то деревни показали, как они ловят обезьян.

Способ был уморительно прост. В лесной чаще выставлялся жбан с хмельным напитком. Обезьяны сбегались толпой, пихаясь и скаля зубы, припадали к жбану. И пили. Ух и пили, пропойцы! Потом дурачились и куражились, потом засыпали и в эти минуты весьма походили на тех, кто произошел от обезьян. Охотники преспокойно запихивали пьяниц в мешки. Бал был кончен, попугаи насмешничали в ветвях.

Но плеск гиппопотамов в реке, вой гиен, проклятая саранча, захмелевшие обезьяны — все было пустяком в сравнении с ночным львиным рыком.

Едва он раздавался, Ценковский крадучись сходил на берег. Он шел с ружьем и обмирал со страху. Но именно потому он и отправлялся в одиночестве, что его одолевал страх. Он хотел приучить себя к «гласу царя зверей». Ведь наступит время, он останется один в бедной деревушке собирать этнографические и ботанические материалы для Академии наук и Географического общества. Ему придется совершать продолжительные походы по лесам. Он, Лев, должен — должен, и баста! — победить свой страх перед львами.

А еще — впрочем, он не очень-то верил в удачу — у него была тайная цель: сразить «царя» меткой пулей и насладиться почтительным восхищением не только арабов-матросов, не только Бородина с Фоминым, но и Егора Петровича. Особенно Егора Петровича... И вот, услышав львиный рев, натуралист сходил на берег и, сжимая потными руками ружье, затаясь, сознавал, что думает не столько о шкуре львиной, сколько о своей собственной.

Но однажды Ковалевский открыл Левушкино самоистязание. Егор Петрович колюче заметил что-то о двух львах, один из которых, видимо, старательно избегает другого. И вдруг, как это часто бывало с ним, вспыхнул и раздраженным тоном сделал Ценковскому начальственный нагоняй. Натуралист горделиво заметил, что он-де сам за себя ответчик.

— Ответчик? Вы, сударь, ответчик перед Академией наук. Не так ли?

Левушка понурился. Лицо его приняло выражение такой детской обиды, что Егор Петрович тотчас смягчился.

— Ну вот, батенька, — торопливо заговорил он, — как же так, а? Я ведь для пользы дела. А? Ну, ну... Полно, пойдем чай пить. Эй, Терентьич, кипит? Идем, идем... А вы заметили, Левушка? — Он взял Ценковского под руку. — У здешней природы русский характер.

Ценковскому хотелось отплатить обидчику. Он сказал мстительно:

— Простите, но так утверждать может лишь тот, кто совершенно несведущ ни в ботанике, ни в зоологии.

Ковалевский улыбнулся:

— Да я не об том... Вы поглядите-ка. — Он широко повел рукой вокруг себя. — Тут есть где плечи развернуть! Всем места хватает: и человеку, и зверю, и птице. И какое разнообразие в произрастаниях! Раздолье, а? К тому же и от властей предрержащих есть где укрыться, не то что бедному феллаху в низовьях Нила.

— От властей, Егор Петрович, — серьезно ответил Ценков-

ский, — нигде спасу нет. Грабителям не суть важно, какие широты и какие долготы, было бы что грабить.

— Да и то, пожалуй, — согласился Ковалевский. — И так, чаек?

Два дня спустя после этого разговора и три с лишним недели спустя после отплытия из Хартума барка-дахабия пришла к деревне Росейрес.

Хижины с коническими крышами разбрелись по холмам. Рядом был лес густоты чудовищной. Иван Терентьевич, увидев дубы, радостно всплеснул руками.

— Ну так что? — небрежно бросил Фомин. С некоторых пор он держался с Бородиным, как старатель, которому пофартило, со старателем-неудачником, снисходительно и высокомерно. — Ну и что?

— Ведь дуб же, — опешил Иван Терентьевич. И прибавил, внимательно поглядев на товарища: — Экий чалдон ты, Илюшка. С чего это ты нос драть стал, а?

Фомин загадочно улыбнулся и сплюнул.

Бородин обозлился: в тропиках дубы не росли, там росли пальмы дулеб с листвою, удивительно похожей на листву дуба. Но плод пальмы дулеб вовсе не напоминал желудь. От него исходил прохладный аромат ананаса и дыни, мякоть его была волокнистой, а вкус — терпкий... И еще были тут баобабы. При виде корявых гигантов Ковалевский подумал о мамонтах, а Левушка вспомнил репродукцию со знаменитой античной скульптуры, изображающей гибель Лаокоона и его сыновей.

За лесом, за деревней, за холмами дымчато синели отроги гор.

— Вот и Росейрес, — молвил Ценковский.

— Нда-с, Левушка... — Голос Егора Петровича прозвучал сочувственно: он вообразил, каково-то будет молодому человеку, когда при возвращении экспедиции придется ему остаться в Росейресе. — Нда-с, особенно в период дождей, — добавил Егор Петрович.

— В период дождей? — переспросил Ценковский. — Наверное, не ахти как. Но мои коллекции! — воскликнул он. — Нет, Париж стоит мессы.

— Вы, кажется, готовы хватить камаринскую?

Ценковский прищелкнул пальцами:

— Что-нибудь вроде.

Тут были горы, реки и лихорадка. И как будто бы тут было золото. Его искали, исполняя грозный наказ паши, два египетских инженера. Золото таилось в песках Тумата, притока

Голубого Нила, поблескивало в ручьях, впадающих в Тумат. Надо было идти вверх по реке. Но там бродили, спускаясь с гор, галла, воинственные уроженцы Эфиопии. И они не очень-то жаловали пришельцев-северян.

Генерал-губернатор плевать хотел на золото: оно ведь потечет в казну Мухаммеда-Али. Генерал-губернатор разбил лагерь в местечке Кезан, на границе Судана и Эфиопии, и знать больше ничего не знал.

— Какое золото? — Гамиль-паша поводил жирными плечами. — Пфф... — Он тыкал пальцем в небо, где плавилось солнце. — Вот оно, золото! Так и пишите в Каир.

Инженеры Али и Дашури предпочитали сдохнуть от лихорадки, нежели хрипеть в петле-удавке. И они отписали в Каир, что нашли много золота, хотя россыпи, на которые им указали местные жители, не были богаты.

Но своим сообщением в Каир инженеры накликali еще большую напасть. Им приказали ставить фабрику для добычи благородного металла. Инженеры схватились за голову: требовалось, чтоб фабрика была рассчитана ни много ни мало, а на две тысячи рабочих.

Гамиль-паша лениво пожал жирными плечами:

— Я говорил вам, безрассудные: пишите — золота нет. Ставить фабрику? Разве вы чудодеи, чтоб извлекать золото из какого-то паршивого песка? И разве вы чудодеи, чтоб обратиться черномазых в механиков?

Али и Дашури отлично помнили, как действует механизм для промывки золотоносных песков, изобретенный на Урале русским инженером Аносовым. Ну хорошо, здесь, в Кезане, есть и модель машины, изготовленная в России, и паровой двигатель на восемь лошадиных сил, именно такой, какой нужен, и шестерни, и железные хомуты, и чугунная подушка, и медные подшипники. Но как вдвоем управисься?

Гамиль-паша нехотя обещал прислать солдат-суданцев. Едва упросили генерал-губернатора исполнить обещание. Солдаты явились. Они умели стрелять из ружей, они не знали устали в изнурительных переходах, но они ничего не смыслили в этих колдовских колесах с крокодилыми зубьями. И как бы офицеры ни лупцевали солдат, не могли солдаты тотчас обратиться в мастеровых.

Али и Дашури отчаялись. Генерал-губернатор сонно шурился: «Мухаммед-Али хочет золота? Хе-хе! Он получит трупы двух дураков, которых посылал учиться всякой дьявольщине!»

Это верно — учиться посылали. Только не «дьявольщине», как искренне полагает генерал-губернатор, а способам разведки и добычи золота.

С половины августа до половины сентября восемьсот сорок пятого года, ровно месяц, Али и Дашури жили в Петербурге, в гостинице Кулона. День у них начинался с того,

что заспанный номерной вносил странную машину, под названием самовар, и, кивая на окна, залитые дождем, беззлобно торжествовал: «Брр!.. Вот то-то...» В десятом часу являлся наставник, опекун и рачитель — русский горный инженер. Он возил молодых египтян на заводы столичные и подгородные, в лаборатории Горного института, что на Васильевском острове, близ Невы; он свел их со своими приятелями, как и сам он, людьми небогатыми, скромными, дружелюбными, и, наконец, представил их автору одного из первых русских трактатов о Египте, и господин Норов любезно преподнес Али и Дашури экземпляры своего труда с дарственной надписью.

А на зиму глядя офицер горной службы повез египтян в такие места, где, наверное, отродясь ни один африканец не показывался. Проездом видели они кремль и пузатые лабазы Нижнего Новгорода, видели русский Нил — реку Волгу, посеннему печальную, медленную и гордую. Мрачный Екатеринбург встретил Али и Дашури белым слепящим вихрем, и они узнали, что вихрь этот зовется метелью. На Березовских заводах с застенчивым радушием приняли их закоптелые, как нубийцы, мастера. В крещенскую стынью, когда потрескивали и лопались старые ели, Али и Дашури, закутанные так, что без поводырей и шагу ступить не могли, осмотрели горнозаводской район Кушву, а когда дунул апрельский ветер, пахнувший подснежниками, египтяне ушли на поиски золотишка вместе с бородачами-старателями.

Семь месяцев набирались Али и Дашури ума-разума на Урале, и семь месяцев был их наставником и учителем русский инженер, с которым познакомились они в Петербурге и которого не позабудут до самой смерти.

В июне сорок шестого года Дашури и Али стояли на борту грязного турецкого судна. Черное море чмокало бурый берег. На круче лежала бело-зеленая Одесса. Али посмотрел на Дашури и в глазах друга прочел свои мысли. Это была радость: они возвращались. И это была печаль: они возвращались. Возвращение: Нил, мой Нил, голубой на рассвете, желтый на закате, и пальмы Каира, и мимолетная встреча с любимой. Возвращение: грозный наказ владыки: золото! И страх пред жестоким наказанием будет жечь сильнее нубийских песков, терзать, как львы на берегах реки Тумат терзают добычу.

Минуло три недели. Али и Дашури появились в Каире. Написали отчет о поездке в Россию. Потом их призвали в цитадель на скале. Старик тяжело хворал. Его скручивали внезапные конвульсии, и тогда он выл, как дюжина гиен. Инженерам сказали: если с его высочеством случится припадок, не смейте и виду подать, что вы хоть что-нибудь заметили.

Мухаммед-Али говорил медленно. Голова в белоснежной чалме мелко дрожала. Он пристально смотрел на инженеров. В глазах вспыхивали совиные огоньки, будто отражались в

них желтые крупницы вожеленного золота, о котором он говорил, — золота легендарной страны Офир, африканского Эльдорадо.

На сборы им отпустили неделю. Хлопот было немало. К тому же надо было исполнить просьбы господина Норова: передать письма и книги доктору Клот-бею, передать подарки какому-то Ибрагим, капитану нильской барки-дахабия. Исполнить первое труда не представляло: главный медик Клот-бей часто приезжал в Каир. Исполнить второе оказалось невозможным: вот уж года два как раис Ибрагим переселился в город мертвых.

Неделя была быстролетной. Али и Дашури знали, что медлить нельзя. Приказ ясен: найти золото.

Вот и искали. Искали сперва в Нубии, потом здесь, на берегах реки Тумат. Время от времени посылали они в Каир слезные просьбы, умоляя пашу просить русское правительство о командировании в Африку горного инженера Ковалевского. В ответ же слышали: ищите!

Золота на Тумате было немного. Судачили, что в верховьях реки значительно больше. Но там бродили воинственные галла, а дурак Гамиль-паша, генерал-губернатор, отказывал в охране. А теперь в довершение всех бед велено ставить на Тумате золотопромывальную фабрику. Али и Дашури ходили как потерянные. Страшно подумать, какую смерть уготовит им беспощадный каирский тиран: он, как слышно, совсем рехнулся, мечтая о богатейших золотых россыпях...

В те дни, когда Дашури свалился в лихорадке, а его друг совсем выбился из сил, в те самые дни, когда оба молодых человека втайне уже примирились окончательно со своей плачевной участью, военный лагерь в Кезане огласился ревом навьюченных верблюдов и ослов.

Али опрометью выскочил из палатки, а больного, ослабевшего Дашури подняла на ноги какая-то неведомая сила. В лагерь входил караван. К нему сбегались суданцы, турки, арабы. Генерал-губернатор, покинув свой шатер, семенит, придерживая саблю. Но Али и Дашури ничего не замечали. Ничего, кроме всадника, соскочившего с коня. Они боялись поверить своим глазам. А всадник, разминаясь, приветственно махал им рукой. И тогда, не помня себя от радости, Али и Дашури ринулись к приезжему.

— Учитель! — только и смогли они уговорить, глядя на Ковалевского сияющими глазами. — Учитель!

Их волнение передалось Егору Петровичу. Он подумал: «Ах черт, до чего довели моих мальчиков», — и обнял за плечи Али и Дашури.

Гамиль-паша важно выступил вперед. Тут-то его и увидел Егор Петрович. «Экий павлин», — с насмешкою подумал Ковалевский, роясь в дорожной сумке. Он протянул генерал-гу-

бернатору фирман. Егор Петрович не раз уже испытывал магическое действие бумаги, скрепленной увесистой сургучной печатью Мухаммеда-Али. При одном его имени пот прошибал даже вот таких надутых спесью сатрапов, как этот Гамиль-паша.

Эге, глядите, как он расплывается в улыбке. А теперь начнет задавать бессчетные вопросы: о здоровье уважаемого путешественника, каков был путь и окажет ли уважаемый путешественник высокую честь Гамиль-паше, расположившись под его кровом... Но Егору Петровичу не терпелось уединиться с Али и Дашури. Одну минуту, он ответит паше, превежливо ответит, и уйдет в палатку инженеров.

В палатке инженеров разговор не сразу сладился. Слишком многое накопилось на душе у Али и Дашури, слишком сильные страхи одолевали их с тех пор, как они прибыли в этот проклятый Кезан. «Пусть успокоятся», — решил Ковалевский и заговорил о себе, как добирался от Хартума до Росейреса, как потом, оставив барку-дахабия, шел по-над берегом Тумата, как услышал шум Кезанского военного лагеря...

Али и Дашури плохо соображали, что говорил Егор Петрович, и даже не заметили, как подвинулись его познания в арабском языке, но они жадно слушали хрипловатый, такой знакомый и как бы врачующий голос. Теперь дело пойдет на лад, а если и не сбудутся упования каирских сановников, то репутация русского подполковника спасет инженеров от расправы. Теперь они спасены. Спасены! И, до конца осознав это, Али с Дашури заговорили наперебой.

— Ну-ну, ничего, — примолвливал Егор Петрович, качая головой, — ничего, ребятки. Посмотрим, посмотрим... Может, еще и так выйдет, что Гамиль-паша не палец, а всю пятерню в рот отправит от удивления.

Полог колыхнулся, в палатку просунулась седеющая борода.

— А! Терентьич! Заходи, братец. Зови всех наших, консилиум учиним.

Ивана Терентьевича и Фомина инженеры помнили по Уралу, поздоровались весело. Ценковского представил Егор Петрович. Инженеры поклонились натуралисту равнодушно: букашки да цветочки — это для них ровно ничего не значило. А вот штейгер Бородин и золотопромывник Фомин, помогавший Аносову слаживать машину, — вот кто был им люб.

Ковалевский предложил перебраться на чистый воздух. Перебрались, уселись в тени бамбуковой рощицы. И Егор Петрович открыл «консилиум». Толковали недолго. Порешили так: Дашури с Фоминым приступят к устройству фабрики,

остальные отправятся вверх по реке Тумат разведывать золото.

— Но галла? — осторожно заметил Дашури.

— А милейший Гамиль-паша на что? — ответил Ковалевский. — Пусть дает охрану.

— Откажет, — грустно сказал Али.

— Это мне-то? — рассмеялся Ковалевский. — Впрочем, тупость вашего начальства известна... Но, ребята, слово Мухаммеда-Али, оно у меня вот где. — Ковалевский похлопал ладонью по горячей коже дорожной сумки. — Нынче и приступим. Чего медлить?

Все поднялись.

— Дозвольте, ваше высокородие, — остановил Ковалевского Илья Фомин.

— Да?

— Дозвольте, ваше высокородие, мне с вами на поиск идти вместо Ивана Терентьевича.

— Это почему же, братец? Не желаешь здесь оставаться?

Фомин смотрел в сторону.

— Да мне, Егор Петрович, все едино где службу сослужить, а вот он, — Фомин быстро глянул на Бородина, — вот он, Егор Петрович, малость отдохнул бы с дороги-с.

— Ишь ходатай, — растерянно прогудел Иван Терентьевич, скрепящая на груди могучие руки. — Да кто тебя просил прощения на мой счет подавать, а?

— Знамо, не просил, — мирно рек Фомин, — да уж вижу — притомился ты, Терентьич, чай, не молод.

Бородин потерялся: он действительно помышлял об отдыхе, но заботливость Илюшкина показалась ему непонятной. А Егор Петрович, напротив, умилился: экое милосердие.

— Добре, — сказал Ковалевский. — Добре. Ты, Бородин, с Дашури оставайся, а ты, Илья, со мной пойдешь.

— Старый конь борозды не испортит, — растерянно прогудел Иван Терентьевич, но Егор Петрович только улыбнулся. «Консилиум» закончился.

На закате начали ладить вашгерд¹. С наступлением темноты запылали факелы. Солдаты пели:

И-эй, хо, хо! Мы работаем!

Легла густая роса. Месяц вышел на стеклянно-синее небо. В лужах обмелевшего Тумата дышали крокодилы, и желтые осколки месяца тихо тлели в их сосредоточенных глазках.

И-эй, хо, хо! Мы работаем!

И-эй, хо, хо! Работай!

Ия-я! И-я! Работай!

Ковалевский сидел в шатре Гамиль-паши. Ковалевский

¹ Вашгерд — простейшее устройство для промывки золотоносных песков.

смотрел на его толстые бабы икры; Егору Петровичу казалось, что если он будет смотреть на одутловатое, глупое, нездоровое лицо генерал-губернатора, то скоро потеряет терпение и вспылит. Будет лучше, думал Ковалевский, коли этот сатрап согласится по доброй воле.

Как и предсказывали Али с Дашури, Гамиль-паша упрямылся. Он сразу же выдвинул свой основной и, как ему представлялось, совершенно неопровержимый довод:

— Никто там не был.

Ковалевский ответил беглыми выстрелами: на то и путешественники-географы, сказал он, дабы проникать туда, где никто не был; вашим солдатам, сказал он, и климат, и ландшафт привычны; проводники, сказал он, не нужны, ибо, хотя на картах Тумат обозначен предположительно, пунктиром, вожатым будет само русло; наконец, вся ответственность ляжет на него, подполковника Ковалевского...

— Хорошо, — медленно процедил генерал-губернатор. — Хорошо. Но там никто не был.

Ковалевский, сдерживая раздражение, медленно выпил пятую чашку кофе. И начал все сызнава.

Настойчивость чужестранца докучала Гамиль-паше. Все шло так покойно! Когда бы не приказ Каира, он бы вытолкал в шею этого господина.

«И-эй, хо, хо! Мы работаем!» — донеслось из темноты вместе с ветром. Гамиль-паша обернулся в сторону реки. Там плясали, раскачивались факелы. Генерал-губернатору вспомнились огни, вражеские огни, что вспыхивали в горах, когда египетские отряды шли сюда, к среднему течению реки Тумат.

— И потом, — сказал паша, — есть на свете галла. Вы слышали?

Он грозил русскому. Пусть подумает про галла, если хочет еще раз в жизни увидеть свои снега и своих белых медведей. Смерть стережет в неведомых землях. Пусть пьет кофе и думает.

Ковалевский пил кофе и думал. Он надумал испробовать последнее средство.

— О, конечно, — сказал он, — кто же не слышал про галла, но кто же не слышал и про храбрость Гамиля-паши? Однако какой прок такому отважному военачальнику сидеть генерал-губернатором в диких дебрях, когда он мог бы заслужить особенное благоволение его высочества и получить под свое мудрое руководство лучшую округу?

Гамиль-паша шевельнулся, его толстые икры одрябли.

— Мой дорогой гость устал, — заворковал паша. — Пусть отдохнет мой дорогой гость. Утром будет ответ...

Утром Гамиль-паша дал согласие на снаряжение экспедиции.

Сборы в дорогу Ковалевский предоставил бинбаши и юзбаши — майорам и капитанам. У него и без того забот был полон рот.

Поначалу Ковалевский предпринял несколько разведывательных экскурсий в окрестностях военного лагеря. Ему сопутствовали Али и Ценковский. Возвращаясь вечером в Кезан, Ковалевский просматривал чертежи будущей золото-промывальной фабрики. Над ними корпели Дашури и Фомин. Фомин удивлял инженера ловким обращением с чертежными инструментами: Илья не позабыл уроков, преподанных ему на Урале Аносовым.

В гористых окрестностях Кезана Егор Петрович напал на обнажения зеленокаменного порфира.

— Видите? — торжествовал он, обращаясь к Ценковскому. — Видите, черт возьми! — Отбил молотком кусок породы, подбросил на ладони.

Левушка смотрел на Ковалевского виновато: натуралист мало смыслил в геологии.

— Это, знаете ли, — быстро объяснил Ковалевский, — как у нас на Урале или на Алтае: самый благонадежный указатель — ищи золото здесь!

— Уже искали, учитель, — вздохнул Али, сожалея, что ему приходится разочаровывать Ковалевского.

— Когда? Вы искали?

— Нет, учитель, не мы. Мы уж и не пошли сюда. До нас, задолго до нас. Тут ведь действовала целая комиссия — французы, немцы...

— А! Ну хорошо, поглядим, — сухо отозвался Ковалевский.

Они возились весь этот жаркий день в ложе высохшего протока. Ковалевский заставил заложить несколько шурфов. И золото обнаружилось. Правда, сперва золота было очень мало, но все же оно было, и Егор Петрович не отступился.

Покинув ложе протока, пласт тянулся к скату горы. Тут-то и притаилась россыпь. Хорошее золото, ярко-желтое, на глубине совсем незначительной.

Ковалевский отер лицо.

— Вот, Али, — сказал он весело. — Никогда не доверяйся «комиссиям», будь самовидцем. И потом вот еще что: кто знает, хотела ль сия комиссия открыть золото? — Он помолчал. — Надобно еще вычислить, хоть приблизительно, каков запасец.

Вечером Егор Петрович черкал карандашом в записной книжечке. И эти торопливые подсчеты, и сама эта маленькая записная книжечка, точно такая, какими он всегда запасался, и поза его, согбенная, с подтянутыми коленками, на которых

и лежала книжечка, — все это вызвало в нем приятное ощущение привычной работы.

В том месте, где он нынче обнаружил пласт, можно было добыть пудов двадцать пять золота. Егор Петрович, почесывая карандашом переносицу, подумал, что для фабрики, пожалуй, маловато. Однако, рассуждал он, Мухаммед-Али может позволить себе этакую роскошь: рабочие руки дармовые, содержание черного солдата обходится казне меньше пиастра в день — копеек шесть на русские деньги. А потом, ведь место для фабрики выбрано удачно, дорога до пласта удобна и коротка, версты полторы, а фабрика послужит образцом для иных, ей подобных.

Как только были закончены чертежи и Бородин сказал Ковалевскому: «Уж вы, Егор Петрович, не сомневайтесь: сделаем», Ковалевский отправился к Гамиль-паше и заявил, что готов выступить с отрядом в путь.

Тринадцатого марта 1848 года в лагере загремели барабаны. Еще едва светало. Звезды медленно блекли, ложилась густая роса, отроги дальних гор всплывали из сумрака.

Тысячи людей вскочили на ноги. К алему шатру Гамиль-паши подвели мухортую кобылу. Взревели верблюды. Верблюдам вторили ослы, ослам — офицеры.

— Экий, однако, табор... — смеялся Ковалевский. — Ну, Левушка, что, по-вашему, слаще таких минут? Хоть и тринадцатое, а выступаем.

— Ей-богу, хорошо! Мне теперь дико вспомнить: сидел в Петербурге безвыездно.

Подошли египтяне-инженеры и Бородин с Фоминым. Ковалевский погрозил пальцем Дашури:

— Смотрите, чтоб к нашему возвращению намыли тыщу пудов!

Дашури, измученный лихорадкой, желтый, худой, казалось, еще более долговязый, чем прежде, слабо улыбнулся.

— Сдюжим. Как пить дать, сдюжим, — вмешался Бородин.

Он отвел в сторону Фомина, положил ему на плечо ручищу и, глядя на Илью сверху вниз строгими глазами, стал читать нотации. Фомин, которому было неловко под тяжестью бородинской чугунной длани, изогнулся и, страдальчески шевеля бровями, поддакивал.

— А главное, паря, не дури. Понял? Не ду-ри, — внушал Иван Терентьевич.

— А чего «не дури»? — запетушился Илья.

— А ничего, — строго продолжал Бородин. — Вижу, фертом ходишь.

— А чего «фертом», ну, чего?

— Да уж так, вижу... Одним словом, чтоб все было... Ну да сам знаешь. Гляди за Егор Петровичем, чтоб, спаси бог, чего на пути не вышло. Понял?

— Понял, — с сердцем отвечал Илья, высвободившись наконец из-под руки своего товарища. — Ясное дело, понял. Что я, малолеток, что ли?

— Ну ладно, прощевай, — ласково сказал Бородин. — Прощевай, Илюшенька.

— Да и ты тут не тужи, дядя Иван. — Голос у Фомина дрогнул.

Бородин перекрестил Илью, как только, перед смертью, перекрестил его батька, диковатый мужичина-старатель.

А барабаны гремели уже на другой манер. Барабаны били «поход», и солнце, вставая из-за гор, выиграло на лошадиной сбруе, на копьях и ружейных дулах. Гамиль-паша, ловко сидя в седле, важно наклонил голову. Бинбаши и юзбаши закричали команду. Конники и вьючные животные взяли с места. Гамиль-паша поехал в голове колонны.

— Бог в помощь, — проговорил Иван Терентьевич, поддерживая стремя и глядя на Ковалевского.

— Бог-то бог, Терентьич, да и сам не будь плох. — Ковалевский сел на жеребчика. — Ну, Серко, пошел!

Он с особенным удовольствием выговорил кличку, которой сам наделил коня; этот Серко был точно близнецом жеребца, памятного с детства: на таком вот раскатывал в Ярошковке отставной секунд-майор Петр Иванович Ковалевский, отец девятерых детей, из которых самым младшим, а потому, стало быть, и баловнем всеобщим, был Егорушка.

Пришпорив лошадь, Ковалевский догнал натуралиста. У того ноги болтались, а крестец и плечи задеревенели.

— Видать, в манежах не езживали? — съязвил Ковалевский, вырываясь вперед.

— А... черррт... — прорычал Левушка.

На пригорке Ковалевский остановил Серко. С пригорка был виден весь отряд в его мерном и правильном марше.

Отряд был черный и белый. Суданцы, обнаженные до пояса, шли впереди, их кожа лоснилась. Разнообразные костюмы белых изобличали национальность залетных воинов: под знаменем Гамиль-паши служили албанцы и черногорцы, черкесы и греки. Следом за конниками и пехотинцами вышагивали вьючные верблюды, семенили ослы, понукаемые арабами.

Били барабаны. Солнце жгло. Гамиль-паша покачивался в богатом седле. Но вот он осадил лошадь. Отряд остановился. Егор Петрович подскакал к паше.

— Я поручаю отряд вам, — важно сказал паша Ковалевскому, — а вас поручаю отряду.

Ковалевский ответил церемонно:

— Доверие вашего превосходительства — честь для меня. Наперед скажу: имя Гамиль-паши останется не только в истории военной, но и в истории науки.

Гамиль-паша расплылся в улыбке. Насладившись лукавой лестью Ковалевского, он жестко глянул на окруживших его офицеров, поднял плеть из гиппопотамовой кожи, и слова его были как удары плетью:

— Ослушникам обещаю смерть!

Майоры и капитаны приложили руку к сердцу.

Гамиль-паша поворотил лошадь и поскакал в Кезан.

— Командуйте «вольно», господа, — распорядился Ковалевский.

Барабаны смолкли. Стали слышны стук копыт, всхрапывание, шелест трав, голоса — разнохарактерный походный шум большого отряда.

Шли едва приметными тропами. Было жарко, но не душно, не знойно; подъемы в горах вились некрутые, затененные деревьями; стоило копнуть пересохшие ручьи, как показывалась вода, и когда отряд оставлял позади песчаное ложе какого-нибудь протока, на нем отраднo поблескивали сотни лунок, полных холодной водою.

Путешественники, как и поэты, любят сближать не близкое. Ковалевский видывал прежде Уральский хребет и Балканские горы, Гималаи и Альпы. Теперь перед ним были окраины Эфиопского нагорья. И Егор Петрович подумал, что они похожи на Южный Урал, и подобие это его умилило.

Задолго до темноты Ковалевский велел располагаться на бивак. Кто-то из майоров возразил: можно, дескать, пройти еще несколько верст.

— Вы не знаете этих скотов. Они выносливее верблюдов. — У бинбаши была снисходительная улыбка, означавшая, что начальник отряда чересчур мягкосердечен.

Но майор тут же сообразил, какого он дал маху. Лицо у начальника окаменело, он дернул черный ус, крикнул:

— Молчать! — И прибавил с тихим бешенством: — Я готов выслушивать лишь дельные советы. Идите!

Ковалевский был доволен: он дал понять этим турецким офицерам, что отрядом командует подполковник корпуса горных инженеров, и командует по долгу совести и собственному разумению.

А вечером, когда лагерь угомонился, когда небо опять сделалось густо-синим и часовые вышли в дозор, Ценковский молча указал Егору Петровичу на горы.

В горах горели огни. Они двигались, они вспыхивали все выше, все дальше. В этой беззвучной эстафете была тревога. Ковалевский, заложив руки за спину, смотрел, как перебежали, скрывались и вновь возникали сигнальные огни, зажженные горными жителями.

— Да-с, — грустно вымолвил Егор Петрович, — вот так-то... Вообразите, как они теперь покидают в страхе свои ту-

кули и бегут, бегут в ночь с женами, ребятишками... А ведь знают, что идет не вражеское племя, но правительственный отряд. — Ковалевский невесело усмехнулся.

— Все это так, Егор Петрович, но самое непонятное вот что: негры-солдаты грабят своих собратий столь же нещадно, как белые. И знаете ли, о чем вождельно говорят в нашем отряде? Нет? Они только и думают — равно и негры, и белые, — как бы какое-нибудь здешнее племя напало на отряд. И уж тогда-то они, мол, зададут острастку: пограбят, пленных захватят. Каково?

Ковалевский, помолчав, ответил с какой-то особенной серьезностью в тоне:

— Нам ли сему удивляться, Лев Семенович?

Натуралист понял: разве история любой европейской страны не знает жестоких междоусобиц?

— Да, да, — задумчиво вздохнул Ковалевский и, как показалось Льву Семеновичу, без всякой связи с предыдущим послал какого-то кавалериста собрать офицеров.

Ковалевский был краток.

— Господа! — обратился он к офицерам, хмурая брови и покусывая губы. — Я слышал, есть пословица: где проходит турак, трава не растет. Я хочу, чтобы после нас в здешнем крае росли травы. Властью, врученной мне его высочеством, строжайше воспрещаю какие-либо враждебные действия против туземцев. Мы явились сюда не ловить негров, не разорять деревни. Если вам чуждо человеколюбие, помните: исполнение поручения его высочества требует и от вас, и от меня мирного проникновения в долину реки Тумат.

Офицеры разошлись с недовольными лицами. «Человеколюбие»? Они никогда не слыхивали про этого вельможу. «Мирное проникновение»? Да разве нельзя совместить приятное с полезным! И лишь одно поняли они ясно: с белым всадником, как еще в Кезане прозвали этого русского инженера, с белым всадником шутки плохи.

7

Егор Петрович думал не только о золоте. Он думал и об истоках Нила. То была загадка древняя, как Сфинкс, а может, и еще древнее.

«Источники Нила в раю», — предполагали арабы.

«С кем я ни говорил из египтян, а также из мидийцев и греков, никто ничего не знал о них, кроме хранителя священного имущества храма Нейж в Саисе, который уверял меня, что знает о них, но мне казалось, что он подшучивал надо мною», — писал Геродот.

Мудрый Эратосфен силился проникнуть в тайну Нила не

только в тиши Александрийской библиотеки. Он плывал до первого порога, опрашивал странников, купцов, нубийцев.

Римляне тоже пытались разгадать загадку. Во времена императора Нерона горстка римлян проникла далеко на юг по Белому Нилу. Их остановили бескрайние гибельные болота.

Спустя столетия пришли арабы. И боже мой, какие изумительные сказки и легенды сложили они! Но География сердито поджимала губы: ничего определенного об истоках великой реки дознано не было.

В XVI веке португальские миссионеры, обретавшиеся в Эфиопии, объявили о важном открытии. Они, воины Христа, они, отцы-иезуиты, наконец-то, наконец-то сподобились узнать тайну, которую создатель сокрыл от язычников и еретиков. Возрадуйтесь, ученые мужи, ликуйте, картографы! Нил животворящий, Нил прекрасный берет начало в горах Эфиопии!

И возрадовались ученые мужи. И возликовали картографы.

Но спустя многие годы, когда отцы-миссионеры давным-давно горели в адском пламени за свои бесчисленные прегрешения, много лет спустя в Европе поняли, что эфиопский исток — это не сам Нил, а Голубой Нил.

Поиски продолжались...

Обо всем этом читал Егор Петрович в доме старого путешественника и книголюба, в доме бородинского ветерана Авраамия Сергеевича Норова. Читал накануне отъезда в Африку.

Просторная, о три венецианских окна зала была уставлена книжными шкафами с бронзовыми инкрустациями и бюстами латинских классиков. Годами все было неизменно в том зале: и круглый стол посредине, и вольтеровские кресла, и зеленые шторы, и стойка с трубками, и золоченый письменный прибор в виде барки-дахабия со старинным арабским изречением на борту: «Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь воина».

Замученный почтенными академиками, чиновниками штаба корпуса горных инженеров, встречами и разговорами, Егор Петрович навещался вечерами к Норovu. Там ждали его четыре тома Фредерика Кальо: путешествие по Белому и Голубому Нилу; сочинение Руссегера, посетившего Судан; новенькое издание, присланное Норovu из Лейпцига: странствия по Судану араба Зеин-аль-Абадина.

Ковалевский уходил из этой залы так, как уходишь после быстролетных часов, проведенных над книгами, — в приятной усталости и в неприятной растревоженности из-за того, что знаешь так мало, и жаждой вернуться, чтобы узнать больше.

Они говорили с Норовым о вековой загадке. Авраамий Сергеевич склонялся к тому, что открытие это навряд по плечу одному путешественнику. «Это уже одиссея многих, и

это еще будет одиссеей многих. Каждый внесет свою долю», — говаривал Норов.

А Ковалевский вопрошал себя: «Что сделаешь ты?» Он мог сделать немало: подтвердить или опровергнуть утверждение о том, что колыбель Нила в Лунных горах. В старом учебнике Арсеньева, который любил перелистывать в молодости Егор Петрович, было напечатано: Нил берет начало в Лунных, или Эфиопских, горах. Перед тем как приехать в Каир, Егор Петрович вычитал во французских газетах, что братья д'Аббади открыли истоки Белого, то есть настоящего, Нила в той же широте, куда должны были привести Ковалевского поиски золотых россыпей. Итак, Ковалевский Егор подтвердит или опровергнет укоренившееся мнение.

Двоякая, стало быть, цель влекла его в долину Тумата: золото и нильский исток. Что было важнее ему? По чести, второе. Вот об этом-то и размышлял путешественник и на походе, рассеянно вслушиваясь в песни своей «гвардии», и на привалах, когда горели костры, а в медных котлах варилось мясо, и в синий вечерний час, когда вокруг лагеря сторожко бродили часовые и гиены...

На горной гряде Бени-Шанглу он увидел вблизи и во множестве чернокожих. Ковалевский вошел в деревню. У бамбуковых хижин-тукули были островерхие крыши, похожие на колпаки ярмарочных петрушек.

Его сопровождали Ценковский и солдатик, знающий наречие местного племени. Он был не дурак, этот босоногий воин со стареньким, но вполне исправным ружьем: он сразу же сказал перепуганным горцам, что белый всадник никому еще не делал зла.

Этого было довольно. Пусть белый всадник будет гостем, сказали горцы, пусть он переступит порог любой тукули или сядет вот там, под деревом, где собираются деревенские сходки, пусть отведаст все лакомства. И они наклоняли головы, и в густых курчавых волосах клонились разноцветные перья, и на груди постукивали ожерелья из слоновой кости.

«Так вот они, эти «страшные черные люди», вот те, коих многие европейцы ставят на последнюю, самую низшую ступень рода человеческого. И даже Руссо, свободолюбец Руссо. Какое самодовольное заблуждение!..»

Ковалевский тронул за руку солдата:

— Скажи, мы хотим посмотреть их жилища. Скажи, нам не надо никаких даров. Скажи, если есть больные, мы можем пособить. Спроси: они видели галла? Правда ли, что галла умеют добывать железо?

Два дня и две ночи провел отряд в деревнях Бени-Шанглу. Два дня посещали горцев Ковалевский с Ценковским. И две ночи от селения к селению сигнальные огни несли удивительную весть о белом всаднике, который не обижает никого. Не-

слыханная, поразительная весть летела эхом, обгоняя Ковалевского.

Спустившись с Бени-Шанглу, отряд опять вышел к Тумату. Здесь никогда не показывался ни один египтянин, ни один европеец. Ковалевский усмехнулся, вспомнив Гамиль-пашу: «Но там никто не был».

На песчаном, высохшем ложе реки громоздились огромные глыбы мелкозернистого гранита. Что за великан, озоруя, набросал их в беспорядке да и оставил добрым людям на изумление? И что за кудесник изукрасил берега? Странный кустарник, совсем без листвы, но весь усыпан цветами, пахучими, как жасмин.

— *Asclepias laniflora*, — сказал Левушка, жрец ботаники.

— *Laniflora* так *laniflora*, — согласился Ковалевский. — А уж золотишко всенепременно-с имеется!

Эх и засуетился Илюшка Фомин, заблестели у него глаза.

— Шурфы, — говорил, — шурфы закладывать надо.

— Чуешь? — засмеялся Ковалевский.

— Без промашки, ваше высокородие, как есть без промашки. Можно бы прямо и вашгерд ладить да и намывать, намывать. Не думаячи.

— Не думаячи... Не думаячи, братец, только пиво пьют, да и то, ежили задаром... Закладывай шурфы. — Он легонько подтолкнул Фомина и посмотрел на Али: — Вот вам, Али, еще сюрприз. Однако посмотрим. Но полагаю, ошибки нет.

Золото было. И опять же, как близ Кезана, ярко-желтое. Хор-рошее золото. И — по расчислению Егора Петровича — много. Он подумал: «Знать бы о сем раньше, так не в Кезане, а вот здесь самое место для большого прииска. Ну, что ж, пометим...» Он стал определять координаты местности. Потом достал из толстого кожаного футляра походную карту. Илья Фомин помогал ему...

Огружая в песках, спотыкаясь о каменный щебень, отряд двигался вверх по сухому ложу Тумата, словно по дурной, но все ж сносной дороге. Дорога сужалась, все чаще преграждали путь гранитные завалы.

Настал день, когда бинбаши и юзбаши объявили, правда в очень осторожных выражениях, что ни верблюды, ни лошади дальше идти не могут. Офицеры не врали. Ковалевский не спорил. Спросил только:

— А пешком можно?

Турки нехотя:

— Можно.

Ковалевский улыбчиво:

— Пойдем пешком.

— А караван?

— Мы пойдем — мои соотечественники и пехотинцы. Вы будете ждать нас здесь.

Офицеры перевели дух. Что-то ехидное мелькнуло на их лицах. Егор Петрович насторожился:

— Мой приказ не забыли? (Капитаны и майоры смотрели агнцами.) Прошу помнить: никаких враждебных неграм действий, — сказал Ковалевский сухо: он догадался о замыслах офицеров — поохотиться за рабами в его отсутствие.

В тот день белый всадник спешил. Припасы были взяты на шесть дней. Солдаты взвалили мешки на спину, и маленький отряд пошел дальше.

Теперь лишь от избытка почтительности можно было величать Тумат рекой. «Прости господи, дохлый ручей. Но корень в ином, — думал Ковалевский, — ведь совсем неподалеку места, где французы д'Аббади полагают начало Нила. Вот в чем корень!»

Чернокожие солдаты шли так, будто не было палящего зноя, будто не было за плечами тяжелых мешков с припасами, а руки не затекали от ружей.

— Вот, — теребил Егор Петрович Левушку, — вот полюбуйтесь-ка. Да нет, нет — вот! Что за соколики! Идут себе как ни в чем не бывало. Трын-трава. Таким бы солдатушкам да дельных офицеров — ого-го-го!

Ценковский, до смерти усталый, вяло кивал.

— А Илья наш что гончая — все впереди бежит, — весело говорил Егор Петрович, чувствуя необыкновенный душевный подъем и радостное возбуждение. — А все отчего? Старатель, кровушка играет. У него дед старатель, отец тоже. Потомственный...

Крики и выстрелы позади заставили его обернуться в испуге. Что такое приключилось? Оказалось, солдаты изловили пятерых горцев. И вот на тебе: валят толпой, подталкивая пленников.

Ковалевский насупил брови:

— Переводчик найдется?

— Да, господин. — Вышел вперед молодой солдат. — Я могу, господин.

Ковалевский пытался узнать у пленных дальнейший путь по Тумату. Он чертил пальцем на песке, улыбался ободряюще. Ничего, ни звука. Егор Петрович взгляделся в неподвижные черные лица и понял, что пленники онемели от страха и горя. Тогда он махнул рукой в сторону гор и сказал:

— Идите!

Пленные не шелохнулись.

— Домой, — сказал путешественник и жестами изобразил пешехода.

Пленные и вовсе остолбенели.

— Скажи, пусть по домам идут. — Ковалевский посмотрел на переводчика.

Теперь и этот оцепенел.

— Я говорю, пусть идут домой. А нашим ребятам передай: не дело ловить сородичей.

Толмач заморгал глазами, белки у него, казалось, еще больше побелели.

— Они чужие, господин. Их надо Хартум. Продать. Много денег.

Солдаты зашумели.

— Эй, Али, — досадливо и беспомощно крикнул Егор Петрович, — втолкуй им!

Али поднялся с камня, подошел.

— Учитель, приказ они выполняют, а подобру не отпустят. Они делают то, чему научились у белых.

— Приказ, приказ, — Ковалевский задергал ус. — Так будет приказ. Слышите, черти? — прикрикнул он на солдат. — Пусть убираются!

Пленные наконец догадались, что происходит. Секунда — и они пустились быстрее антилоп, затрещали кусты, все стихло...

Нетерпеливые золотоискатели Али и Фомин все время шли впереди, удаляясь от отряда на версту и более.

— Не надо, — предупреждали солдаты. — Не надо. Галла.

Однако галла пока не тревожили Ковалевского и его спутников. Но галла были где-то рядом. Это ощущалось, как задуха перед грозой. Несколько раз они скользнули в кустах со своими щитами из слоновой кожи и шкурами, наброшенными на плечи.

Галла были смелые, гордые, сильные люди. Они умели добывать железную руду и медь. Они знали, что такое дисциплина, когда грохочут барабаны войны. В сухое время года галла совершали переходы по шестьсот — семьсот верст. Проносились, словно смерч, и уходили столь же стремительно, нагруженные добычей.

Как ни хотелось Ковалевскому познакомиться с галла, он, однако, предпочитал, чтобы его отряд с ними не встретился. И не раз выговаривал Илье и Али за то, что отдалялись они от экспедиции. Фомин в ответ школьничал: дескать, пугали нас на Ниле-реке крокодилами, а мы вечерами купались, и ничегошеньки страшного не приключилось, так, Егор Петрович, и с этими галла.

— Ну, ты, брат, оставь, — приструнивал его Егор Петрович, — знай посматривай.

— А то как же, — отвечал Фомин, корябая ногтем обгорелый нос.

Еще в Златоусте Али с Фоминым исподволь стакнулись. Разговаривали они мало и кратко, пользуясь немногими русскими словами, которые выучил Али, изобильно уснащая

свою речь жестами. Но и в молчании, сидя подле либо идучи обок, молодой египетский инженер и уральский старатель чувствовали какое-то особенное расположение друг к другу. Так было в Златоусте, так получилось и в Кезане, так было и теперь, на походе.

В тот мартовский день сорок восьмого года Али с Фоминым, как уж повелось, шли скорым шагом впереди всех, помогая один одному одолевать каменные завалы.

И вдруг остановились и... побежали к отряду.

Первым заметил их Ценковский, тревожно подтолкнул локтем Егора Петровича. Оба увидели, как Илья, подняв руки и потрясая ими, что-то закричал. Егор Петрович скомандовал отряду «в ружье», выхватил пистолет и, ощущая, как в голову ему упруго и сильно прилила кровь, бросился навстречу Фомину и Али.

— Эге-ге-гей! — орал Фомин, размахивая на бегу руками. — Разновилье-е-е-е...

Вот они уже были рядом.

— Разновилье, — выдавил Илья задыхаясь.

— Говори, — рявкнул Ковалевский. — Ну!

— Разновилье... — повторил Илья, никак почему-то не находя других слов.

Тут вмешался Али, объяснил толком. Егор Петрович просиял.

— Поди догадайся, — сказал он, глядя на растерянного Илюху, и передразнил: — «Разно-вилье»...

Полчаса спустя экспедиция была на том мосте, откуда Илья и Али ударились в бегство. Тут действительно было «разновилье»: ложе Тумата двоилось, одно уходило на юго-запад, другое — на юг. Юго-западное звалось Дегези, южное считалось Туматом.

— Ну, братцы, — весело сказал Ковалевский, — скоро!

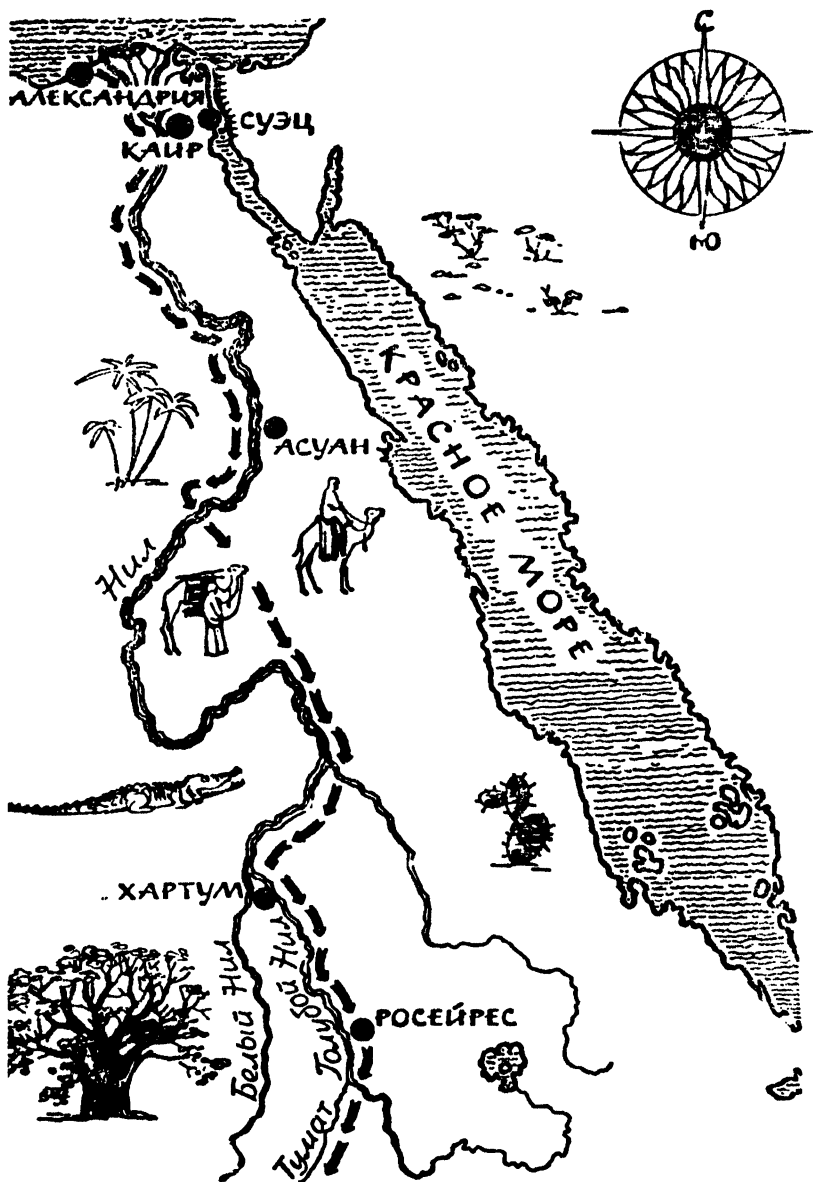
Отряд пошел к югу. В тот же день он достиг истока Тумата. Солдаты открыли ружейную пальбу, грохнули в барабаны, закружились в пляске.

Путь по реке Тумат был окончен, золотые россыпи найдены, нанесены на карту, запасы примерно вычислены. Все? Нет, не все. А истоки Нила? А общее направление горных отрогов?

Надо взобраться повыше и оглядеть окрестности. Внимательно, неторопливо, подзорной трубой. Оглядеть первым из европейцев. Оглядеть в первый и в последний раз, потому что, наверное, никогда уж больше не доведется побывать в здешних краях. Оглядеть так, чтобы все-все, доступное взору и линзам, запечатлелось в памяти.

— Дневка, — приказал Ковалевский солдатам. — А вы, господа, за мной. И ты, Фомин, тоже.

Ценковский, Али, Фомин понимали, что полнит душу



Путь Е. П. Ковалевского

Егора Петровича. Ведь и они испытывали ту острую радость, то сладостное удовлетворение и гордость, какие испытывает открыватель. Они прошли в такие глубины Африки, о которых не слыхивало великое множество людей на земле.

Солнце садилось. Был тот предвечерний час, когда жара отпылала, воздух перестал струиться, дали прояснели, а травы, кусты и камни затаились в предвкушении ночного роздыха.

Ковалевский не посматривал в подзорную трубу — он озирали окрестности. И они разворачивались пред ним желтовато-зелеными и синеющими пятнами, в линиях то плавных, то резких.

Влево и позади — плоскогорье: травы и острова кустарников. На востоке исполинскими призраками Эфиопские горы, подпирая горизонт, преграждали путь в таинственные страны. На западе тоже толпились горы, два острых пика отчетливо и грозно вонзались в небо, уже прихваченное полымем вечерней зари.

Но дольше всего, но пристальнее всего Ковалевский озирали юг, там, где, по свидетельству братьев д'Аббади, начинался Нил. Да, вот они голубеют, эти горы, одно имя которых — Лунные — очаровало Егора Петровича в молодые лета, когда перелистывал он учебник Арсеньева. Да, вот они, Лунные горы. Где же, однако, Белый Нил, настоящий Нил, где он? Нет его у подошвы Лунных гор. И быть его там не может.

Д'Аббади утверждают: народившись у Лунных гор, Нил течет на юг, засим — прямо на запад. Так что же, по-вашему, получается, господа? Новорожденный поток, слабенький, немощный, может прошибить необоримую толщу гор? Сие противно законам естества. Есть реки, стекающие в период дождей с северных склонов Лунных гор. Но они устремляются на север. На север — к Голубому Нилу. Ох, как вы ошиблись, братья д'Аббади...

Аббади «открыли» истоки Нила. Ковалевский открыл их ошибку. Его лепта в великий вопрос Географии оказалась лептой отрицателя. Он подумал, что в этом отрицании есть нечто положительное: другие исследователи изберут иные пути. Он поймал себя на мысли, что чуточку радуется ошибке французов, и усмехнулся: «человек слаб». Впрочем, как бы там ни было, он сделал свое дело.

То, что открылось в тот день взору путешественников, не было обозначено на картах. Горы и доли лежали перед ними, расцветенные закатом, в ретуши теней, прекрасные и безымянные.

— Так как же с обрядом крещения? — негромко спросил Ценковский.

— В святцы заглянем, — хмуро отшутился Егор Петрович. Еще в Петербурге ему дали понять, чье имя непременно

должно появиться на карте. Он не спорил. Но теперь Егору Петровичу было как-то неловко, даже стыдно объявить это имя своему спутнику. И он спросил:

— А вы как полагаете, Лев Семенович?

Тот помолчал, потом ответил:

— Из названия должно быть ясно, какой нации были путешественники. Может, Новая Московия?

— М-да... Уж больно знакомый рецепт: Новая Голландия, Новая Англия...

— Ну хорошо, хорошо, — согласился Левушка. — Тогда так: Страна Ковалевского. И гадать нечего!

— Э, нет, — возразил Егор Петрович. — Это уж, батенька, оставьте.

Ценковский пожал плечами:

— Не вижу, почему «нет»... Впрочем, время позднее. Идемте, Егор Петрович, утро вечера мудренее.

В лагере близ истока Тумата горели костры. У огня сидели и лежали солдаты. Ослы были стреножены, ружья составлены в пирамиды.

День быстро мерк. Неподалеку затрубил слон. Потом другой, третий. Торжественно и победно. Они шли на водопой к Тумату.

Река пересохшая? О, слоны знали, как добыть воду. Они ложились на песок, поднимались и ждали, пошевеливая ушами, а во вмятины с беззвучным натиском набегала вода.

— Слоны! Слоны! — кричали суданцы, вскакивая и разбирая оружие.

— Погодите, — остановил их инженер Али. — Не надо, ведь они трубят в нашу честь...

Поутру отряд выступил в обратный путь.

— Так как же? — спросил Ковалевского Лев Семенович.

— Уже, — нехотя ответил Егор Петрович, не глядя на Ценковского.

— И на карту нанесли?

— И на карту нанес, — с приметным раздражением сказал Ковалевский.

Ценковский не понял причины его раздражения и обиженно умолк.

— Страна Николаевская, — вымученно, но решительно, заранее пресекая возражения, отрезал Ковалевский и прибавил шагу.

«Боже мой, — растерялся Ценковский, — человек гуманного направления и вот... называет страну именем императора, да еще такого императора...» И Левушке стало и досадно, и как-то сумеречно на душе. Натуралист посмотрел вслед Ковалевскому, казалось, Егор Петрович шагает очень прямо и напряженно.

Инженера Дашури изводила лихорадка. Когда бы не этот уральский бородач, пришлось бы ему с фабрикой худо. Инженер Дашури дивился на Ивана Терентьевича: исконный северянин, а суданское пекло его не берет.

Суданское пекло, однако, «забирало» Ивана Терентьевича. Порою ломило его и познабливало, под коленками жила какая-то ослабла. «Спаси господь обезножить», — тревожился Бородин и лечился способом самоличного изобретения: наливал в стакан рому, настаивал на нем три добрых понюшки табаку и выпивал залпом. И вроде бы «отпускало». Впрочем, не вчистую. Недостаточное действие «лекарствия» объяснял Иван Терентьевич дурными качествами рома.

По правде говоря, вызволяла его из хворости не табачная крошка, настоящая на роме, а непрерывная забота о фабрике. Крепость данного слова почитал Иван Терентьевич как заповедь. Он посулил Егору Петровичу поставить фабрику, и он ставил ее. И даже не из того бился и хлопотал, что обещал Ковалевскому «сдюжить», а потому, что слово дал не кто иной, а именно он, штейгер Терентьич, известный на всех Златоустовских рудниках и заводах.

Биться же и хлопотать приходилось с утра до ночи. Бедняга Дашури стал как жердь. Трясет лихоманка, того гляди, пополам переломит. Гамиль-паша со своими офицерами-турками знай твердят: «На все воля Аллаха, а фабрика не получится». Черные солдаты стараются всюю, да где же вскорости машиной-то овладеть? Промывают за день пудов триста — четыреста песку, а на Урале ребята проворачивали в три-четыре раза больше. Беда... Мало-помалу, как казалось Ивану Терентьевичу, а в действительности весьма скоро люди из военного лагеря в Кезане наловчились управляться со всеми этими чашами разных размеров и форм, по которым проходил разжиженный туматский песок, с этими грохотами и отсадочными корытами и не только перестали пугаться огнедышащего чудища, но старались уразуметь, что у него там, внутри.

День ото дня количество пудов промытого песку, а стало быть, и количество золотников благородного металла увеличивалось. И когда отряд Ковалевского, встреченный барабанами и трубами, пришел в Кезан и Бородин протолкался наконец к Егору Петровичу, то Егор Петрович услышал:

— А мы, ваше высочорodie, за тыщу переваливаем.

— За тыщу пудов в день? Ей-богу? — с радостным недоверием воскликнул Егор Петрович, но, взглянув на спокойно-удовлетворенное лицо штейгера, выдохнул ласково: — Спасибо, старина!

— Да и вы, чай, не с пустыми руками? — Заулыбался Бородин.

— Не с пустыми, Терентьич. И не только что золотишко, но и магнитный железняк нашли. Такой, братец, — пальчики оближешь. — Ковалевский рассмеялся и махнул рукой: — Ну, да об этом после. Соловья баснями не кормят. — Он подозвал Ценковского и предложил соорудить ужин, «дабы взбрызнуть окончание Туматского похода».

С того самого дня, как экспедиция пустилась в обратный путь, а вернее, с того дня, как на карте была помечена Страна Николаевская, инженер и натуралист были в натянутых отношениях.

Не то чтобы враждовали или выказывали открытое неудовольствие друг другом, но задушевность, возникшая с самого начала путешествия, исчезла. У каждого были свои резоны касательно имени на карте, и каждый понимал резоны другого, но объяснений на сей счет они старательно избегали. Потом желание объясняться пропало, оба тяготились «неувязкой», понимая, что надо перешагнуть какую-то черту.

И теперь, глядя в глаза Ковалевского, глядя на своего несколько смущенного старшего сотоварища, Ценковский явственно почувствовал, как дорог ему стал за месяцы трудов и скитаний этот горный инженер и что без прежней задушевности им не прожить.

Егор Петрович испытывал то же, что и Ценковский, но ему было досадно своей сконфуженности, которая — он это понимал — была теперь в его глазах.

— Надо взбрызнуть, — согласился Ценковский, краснея.

— Вот и хорошо, — сказал Егор Петрович и, как бы спохватившись, прибавил: — Вы тут, Левушка, распорядитесь, а я пойду к нашему сатрапу. — Он иронически сдвинул брови. — Начальство надо чтить.

Егор Петрович отправился к Гамиль-паше, а Ценковский, провожая его взглядом, догадался, что Егор Петрович, говоря о почтении к начальству, насмехался над самим собою за это имя на карте: «Николаевская»...

До «открытия навигации», как Егор Петрович в шутку называл период тропических дождей, оставалось меньше месяца, а надо было еще исследовать гористый район к юго-западу от Кезана. То был край, где господствовала крепость Дуль.

«О Дуль!» — твердил старый правитель Египта, беседуя с Ковалевским в Каире. «О Дуль!» — говорил он вздыхая, и его выцветшие глаза подергивались влагой... Окрестности Дуля распяляли воображение паши. В старинной рукописи читал он, что именно из тех мест шли караваны с бочками золота во времена древних фараонов. Там, именно там, в глубине Судана, считал он, была «страна Офир».

Однако ни один подданный, посланный в Дуль, не пролил бальзам на его душу. Бананов, дикого зверя и черного дерева — вдоволь, а золота так мало, что и говорить обидно.

Но старик верил: приспеют сроки, и «страна Офир» осчастливит его своими сокровищами. Тянулись годы. А заветный срок не приспевал. Иной предел был близок, кончалась жизнь. Он это знал и решился: если русский ученый скажет «нет», крепость Дуль будет покинута, «страна Офир» предана забвению...

«Страну Офир» увидел Ковалевский в апреле. И тогда же впервые увидел облака на суданском небе. Они предвещали ливень.

Отряд двигался напрямиком. Цепкие заросли, усеянные колючками, как ежи иглами, накиннулись на путешественников. «Вот тебе и терновый венец, мученик», — невесело думал Ковалевский, продираясь за проводником-арабом.

Вокруг горы Сода было множество пещер. В пещерах, рассказывал проводник, укрывались горцы, известные своим мужеством и свободолюбием. Не сладко приходилось от их копий и стрел египетским завоевателям. Когда же воинов загнали в эти пещеры и обложили, как диких зверей, они предпочли самоубийство сдаче в плен. Теперь, говорил проводник, гора Сода почти обезлюдела: часть жителей истреблена, часть уведена в рабство, а те, что остались...

— Они, господин! — воскликнул араб и показал на каких-то людей, вышедших из зарослей, павших ниц и целовавших землю в знак покорности.

Егор Петрович велел им встать. Первым поднялся старик, должно быть вождь. От макушки до пят он был выкрашен в красный цвет. Даже брови у него казались густыми мазками сурика. Он стоял потупившись, боясь, что чужеземец увидит на лице его бессильную ярость. И вот так, потупившись, с бессильной яростью на лице, вождь молился богам об избавлении его людей от гибели и не сразу даже понял то, что говорил ему со слов Егора Петровича проводник-араб.

А тот говорил «краснокожему», что отряд не тронет его людей, что им не нужно невольников.

— И, — заключил переводчик уже от своего имени, — верь нам, ибо ведет нас тот, кого здесь зовут белым всадником. Вот он, перед тобой, хоть ныне и пеший.

Тогда вождь поднял голову, на лице его отобразились радость и изумление. Егор Петрович не удержался от улыбки и, покосившись на Ценковского, мальчишески смущенно сказал:

— Что и толковать, завидная у меня репутация!

— Завидная, — серьезно ответил Ценковский. — Будь она иной, я перестал бы уважать вас.

Ночью грянул ливень. Его пролили облака — предвестники затяжных тропических дождей. К утру ливень стал стихать, как колымага, проехавшая бревенчатый мост и покотившая по мягкому большаку.

И опять палило солнце, духота густела. У Егора Петровича было такое ощущение, точно его посадили под стеклянный колпак. Он завидовал Левушке. Левушка собирает гербарий, недосуг думать о себе.

И точно: у Ценковского была та сосредоточенно-восторженная мина, какая всегда появлялась на лице его при виде «роскоши и неги натуры».

Тропические заросли, изможденные многодневными жарам и напившиеся воды лишь давешней ночью, роняли тяжелые, словно скатный жемчуг, дождевые капли. Тут все было в полный рост, все в полную силу и меру, ибо возрастало на могучей земле, под могучим солнцем и могучими дождями: баобабы и черное дерево, дикий виноград и дикая слива, дикие бананы и дикие абрикосы.

Отряд выбрался к широкому сухому руслу. В дождливое время здесь ревела река Дуль. За рекой тянулась новая гряда гор. Там была крепость Дуль.

Не прошло и часу, как из-за скал вынеслись кавалеристы в белых свитках, в распахнутых красных камзолах, в алых шапочках. Они стреляли на скаку из длиннствольных ружей, черные клубочки дыма висели позади кавалькады. Егору Петровичу на миг показалось, что он вновь в милой его сердцу Черногории. Вон же идут на рысях переники — стражники из города Цетинье, что сопровождали его, молодого тогда инженера, в странствиях по Черногории... Ба, да это и впрямь черногорцы!.. Егор Петрович вспомнил: в крепости Дуль служат и славяне, и греки, и турки.

Первым подлетел командир крепостного гарнизона. У него были вислые черные усы, его глаза метали искры, вся его стать выдавала в нем бесшабашного удальца.

Егор Петрович приветствовал его по-черногорски; Омар-ага скатился с седла, бросил поводья подоспевшему адъютанту, враскачку подбежал к Егору Петровичу и обнял его.

Они пошли рядом. Омар, ковыляя на кривых кавалерийских ногах, торопливо осведомлялся, зачем пожаловал в эти распроклятые края ученый русский господин, и, слушая Ковалевского, удивленно и радостно цокал языком, пожимал Егору Петровичу локоть, прихлопывал себя по бокам.

Скоро показалась крепость Дуль. Ее мог назвать крепостью лишь тот, кто умеет строить замки из воздуха. Егору Петровичу она напомнила захудалые фортеции, которые торчали в Оренбургских степях. Ров, не страшный и младенцу, плетень, не страшный и курице, две пушечки «времен очаковских» — вот вам и крепость Дуль. А в фортеции — тукули, огороды, верблюды да две-три беленькие мазанки: точь-вточь как под Харьковом, в селе Ярошовке.

Омар-ага хотел было закатить пирушку в своем домике,

убранном коврами и оружием, но Егор Петрович просил повременить с празднеством.

Ковалевскому был памятен недавний ливень. Такие могли зарядить денно и ночью, и тогда изыскания взяли бы бог знает сколько времени.

Омар-ага не перечил. Напротив, поспешность русского инженера его только радовала. Омар-ага знал: золота здесь что доброты в сердце турецкого бея. И если русский убедится в этом, гарнизон немедля покинет Дуль.

Жизнь здешняя вконец опротивела Омару. Уж на что он неунывающая душа, а зачастую готов взвыть. И давно уж не на радость ему дульские увеселения: ни несчастный мальчишка, которого он поит допьяна и глядит, тоскуя и злобствуя, на его штукарства; ни рабы, которых стравливают, как бойцовых петухов; ни танцы невольников в кандалах; ни фальшивая любовь чернокожих красавиц, изловленных в соседних деревушках... Шесть лет стоит во глубине Судана чертова крепость Дуль, и за плетнем ее больше покойников, чем живых в гарнизоне, потому что каждодневно хоронят в Дуле умерших от подлой лихорадки и злодейки тоски.

— Все перемрем, — убежденно говорил Омар-ага Ковалевскому, и глаза у него меркли, — если вы, эфенди, не выведете нас отсюда.

Нет, Омар-ага не удерживал Ковалевского. Пусть русский инженер поскорее убедится в истине его слов: может, и было золото в окрестных горах, но только, наверное, еще до потопа, а нынче на месте древних приисков лишь кучи пустой породы, да и те давным-давно обросли кустарником и деревьями, как — «помните, эфенди?» — развалины венецианских башен на побережье Адриатики... Да, да. Омар-ага не лжет. Он готов поклясться в том и Христом-спасителем, а Аллахом, и «в придачу дюжиной негритянских боженят»...

— Не надо клясть, — засмеялся Егор Петрович. — Не надо, потому что, если ты ошибешься, все боги мира ополчатся на тебя.

Передохнув в фортеции, Ковалевский и Бородин ушли в разведку, от результатов которой зависело осуществление и заветных чаяний правителя Египта, и надежд безвестных гарнизонных служителей.

Три дня спустя Егор Петрович и Бородин почти уверились в правоте Омар-аги. В «стране Офир» когда-то существовали прииски. Теперь золота не было. А еще несколько дней спустя и горный инженер, и штейгер готовы были биться об заклад, что ставить фабрику в Дуле может лишь тот, кто рехнулся.

Но Ковалевский не спешил оглашать радостное известие. Он опасался, и не без оснований, как бы Омар-ага тотчас не увел гарнизон из опустылевшей ему крепости Дуль. А Кова-

левский с Левушкой хотели получше познакомиться с окрестными племенами.

Наконец Егор Петрович открылся Омар-аге. Удальца захлестнуло такое счастье, что он не сдвинулся с места, и лицо его стало суровым.

В ту минуту светло затрепетала молния, ударил гром и пошел себе громыхать молодым басом. Омар-ага встрепенулся, сорвал с головы алую шапочку, кинул ее под ноги, выхватил из-за пояса пистолет и выпалил, ликуя.

10

Падре Рилло умирал от дизентерии.

Будучи короток с богом, Рилло говорил: «Право, вы могли бы найти более благородный способ вытряхнуть душу из моего брэнного тела». Господь неостроумно шутил: «Надоумить, что ли, аптекаря Лумелло?» Сдохнуть от зелия хартумского отравителя падре Рилло не нравилось. Он обиженно поджимал сухой блеклый рот: «Я всегда служил вам, а вы не захотели уготовить мне иной кончины». — «Послушай, Рилло! А разве я мало для тебя сделал, а? Терпи: скоро будешь на небесах». — «Да, но у меня пропасть забот в Хартуме», — возражал иезуит. Господь терял терпение: «Черт возьми, как только дело доходит до точки, вы все норовите заменить ее многоточием». И оба умолкали, недовольные друг другом.

Падре лежал на широкой постели в доме, занятом миссионерами. Дождь на дворе хлестал рьяно, молнии, полыхая за окнами, выхватывали из темноты стол с книгами, стул, деревянное распятие на стене.

Падре думал о смерти. Он не боялся ее, когда жил. Теперь же, умирая, боялся. В сущности, падре лукавил, когда перечислял богу неотложные свои заботы: дожидаться русских, заполучить карту... Рилло знает: все будет так, как задумано. Мастеровой выкрадет карту у Ковалевского, а Рилло отдаст мастеровому кожаную суму с золотыми монетами. Падре Рилло всегда платил сполна. Да, карту он добудет. В Ватикан повезет ее Никола Уливи. И разумеется, какие-нибудь подставные лица сумеют обосноваться там, где русский инженер найдет золото... Все, что задумано, исполнится. Но какой в том прок ему, падре Рилло? «Суета сует и всяческая суета...»

Рилло уснул под утро. Он лежал плоский, с черными тенями под запавшими глазами, на шишковатом лбу проступали капли пота. Помощник Рилло падре дон Анджело Винко, зайдя в комнату утром, осенил себя крестным знамением: дону Анджело показалось, что Рилло мертв. Он приблизился на цыпочках к широкой постели. Веки у Рилло дрогнули.

Одно мгновение он безучастно глядел на дона Анджели, потом прошелестел сухими губами:

— Я еще здесь.

Дон Анджеоло возблагодарил бога: падре Рилло очень нужен именно здесь, на земле; на небесах же... падре Винко сильно сомневался, нужен ли там падре Рилло.

— Они прибыли, — прошептал дон Анджеоло, складывая и прижимая к груди жилистые руки. — Они в Хартуме.

Рилло рывком приподнялся на постели.

— Не теряйте времени, — сказал он с тем энергичным напором в голосе, который заставил дона Анджели в сотый, если не в тысячный раз позавидовать несокрушимости падре Рилло, столь ценимого Ватиканом. — Не теряйте времени. Пошлите за Уливи. Скорее.

Уливи примчался, его глазки блестели, бегали, седые волосы взмокли.

— Вы видели их, Никола? — спросил Рилло.

— Видел, падре. Видел. Ковалевскому не жить... его выворачивает наизнанку... рвота непрерывно...

— Погодите, — оборвал Рилло. — Этот молодой человек с ним?

— С ним, падре, с ним. Все там, кроме натуралиста. Тот, говорят...

— Вы ему не сказали... — Рилло не договорил, вспомнив, что Уливи не знает по-русски. — Сколько они думают пробыть в Хартуме? Торопятся? — Падре устало откинулся на подушки. Он почувствовал, что ослабел еще больше и погружается в забытье, как в теплую ванну.

Барка, на которой экспедиция Ковалевского возвращалась с Тумата, пришла в Хартум ночью. Егор Петрович хотел нынче, хотя бы к вечеру, плыть дальше. Он спешил, ибо ему, как и говорил Никола Уливи, действительно было худо. Престарелой лихорадкой и желудочной болезнью расплачивался он за свое путешествие.

Хартум... А путь на родину еще так далек. И Левушки не было рядом. Свидятся ль когда-нибудь? Если выживет Егор Петрович, то свидятся в Петербурге. Но ведь и Левушка не из железа кованный.

В низенькой каюте было сумеречно. Слышались всплески, шум дождя, шлепанье босых ног. На барку грузили провизию.

— Терентьич, — позвал Егор Петрович. — Ты как?

— Слава богу, — тихо отвечал Бородин из угла каюты.

Ковалевский печально улыбнулся: «Помирать будет, не признается». Егор Петрович отлично знал: штейгера тоже скрутила лихорадка. И не помогал Терентьичу ром с табаком, совсем не помогал.

— Нам бы, ваше высокородие, только бы до дому добраться.

— Я загадал, Терентьич: если нынче уйдем из Хартума, будет хорошо.

— На все воля божья, — вздохнул Бородин. Помолчал и сказал: — Дозвольте Илюшку кликнуть.

— На что он тебе?

— Спросить, скоро ль с погрузкой кончит?

Илья Фомин нетерпеливо присматривал за работой матросов. Ему нужно было отлучиться, но он не решался оставить барку и вот бегал по палубе, покрикивал, пособлял, а сам все посматривал на берег.

Нет, Илюшка Фомин не позабыл про свой сговор с тем высохшим попом. Не-ет, не позабыл. Отдаст он ему карту. Пусть берет. Ух и пофартило, вовек не снилось! И заживешь ты, Илюшка, в славном городе Златоусте, заживешь кум королю, сват министру.

Илья услышал голос Терентьича и поспешил в каюту. На вопрос дяди Ивана отвечал, что с погрузкой вот-вот будет покончено, а после побегит он на торжище приобрести что-нибудь из съестного отдельно для его высокородия.

— Возьми денег, — сонно сказал Ковалевский. — Аптекаря найди. Медикаменты...

— Чего? — не понял Фомин.

— Лекарства спроси, — вяло пробормотал Ковалевский, протягивая ключ от сундука.

Сундук стоял в головах у Егора Петровича. Илья шелкнул замком, приподнял крышку. Справа были бумаги Егора Петровича, стопка маленьких записных книжечек, кожаный футляр с картами. Рядом — инструменты чертежные, термометры и барометр, секстан и компасы, а вот и деньги.

— Да ты фонарь засвети, — глухо сказал Бородин из дальнего угла сумеречной каюты.

— Ничего... ничего, — бормотал Фомин, шаря в сундуке. — Я так... так...

Ковалевский застонал от пронзительных болей, скрипнул зубами, отвернулся к стене.

— Ключ, ваше высокородь, куда ключ-то? — спросил Фомин.

— Под... подушку, — процедил Ковалевский не поворачиваясь.

Илья вышел из каюты, притворил дверь.

В полдень барка была изготовлена к дальнейшему плаванью, и Фомин, не мешкая, сбежал на берег.

Дождь перестал, сквозь тучи глухо светило солнце, было парко, как на банном полке. Сердце у Илюшки колотилось,

под ложечкой екало. Карта с отметками местонахождения золота лежала у него на груди, под рубахой, сложенная вчетверо, и Фомин чувствовал, как толстая шершавая бумага щекочет тело. Он шел быстро, не оглядываясь, думая только о том, как бы поскорее обделать все, после сбегать на торжище и к аптекарю да и воротиться на барку, чтобы тут же отшвартоваться.

Едва Фомин переступил порог дома, где жили миссионеры, как ему попался Никола Уливи. Фомин сказал:

— Мне Риллу надоть.

Уливи затряс головой, указал на двери, пропустил Илюшку вперед, сам пошел позади.

Падре Рилло пребывал в странном состоянии: сознание то прояснялось, будто вспыхивал в душе какой-то яркий светоч, то опять меркло, заволакивалось гудящей мглой. Падре чудилось, что он в одно время и погружается в теплую ванну, и всплывает, но совсем всплыть не может и опять погружается, и хотелось ему лишь одного — либо уж всплыть, либо уж вовсе погрузиться. И вдруг Рилло явственно услышал голос Уливи:

— Падре, он здесь.

Падре собрал остаток сил. Фомин стоял в двух шагах от постели. Рилло молвил:

— Приблизься, сын мой.

Он говорил по-французски. Фомин попятился: «Этот совсем не тот». Но это был «тот», хоть и донельзя измененный болезнью. Рилло не мог припомнить русские слова. Пот проступил на его шишковатом лбу. Он пошевелил пальцами, развел ладонями, стараясь объяснить: карту, давай карту. Наконец память подсказала нужные слова.

— Ты исполнил обещанное, сын мой?

Фомина бросило в жар, он кивнул, сглатывая слюну, и молвил нетвердо:

— Пусть господин-то выйдет, а?

Падре мигнул Уливи, тот ушел.

— Скорее. — Рилло чувствовал, что еще немного, он потеряет сознание, и пролепетал, запинаясь: — Давай.

Илюшка поддернул штаны.

— А наградные-то, ваша милость?

— Покажи, — недоверчиво сказал Рилло.

— Ишь вы какой, — заколебался Илюшка.

— Покажи из своих рук.

Илья подошел к постели и, выпростав из-за кушака рубашку, осторожно извлек карту.

— Ближе, — прошипел падре. — Еще ближе. Разверни.

Рилло увидел линию реки Тумат. К югу от ее верховьев были помечены отроги Лунных гор. Там, на отрогах, сидели жирные паучки, около каждого — градусы, минуты, секунды:

широты и долги месторождений золота... Рилло опустил глаза, Илюшкины руки, державшие карту, приметно дрожали.

— Подвинь левую руку, сын мой, — с неожиданным спокойствием произнес Рилло.

Илюшка послушался, и падре увидел размашистую, в завитушках подпись: «Ковалевский»... И ниже — дату. «Ну что же, слава богу, слава богу», — вяло подумалось Рилло, он уже терял сознание.

— Деньги под постелью. — Падре едва ворочал языком. — Давай карту.

Но Илюшка сперва заглянул под кровать. Там, выпятив кожаное брюшко, лежал мешочек. Илюшка почтительно тронул его большим пальцем. В мешочке звякнуло золото. Илюшку проняло радостью, и опять засосало под ложечкой.

— Карту, карту, — шептал Рилло. — С нею ты отсюда не выйдешь.

— Получай, ваше степенство. Пользуйся.

Илюшка ловко выволок мешочек, любовно опустил его в корзинку, прихваченную на барке для закупки провизии, и поспешил вон. В дверях он едва не столкнулся с Уливи. Торговец больно стукнулся о косяк и вскочил в комнату падре Рилло. На пороге миссионерского дома стоял дон Анджело. Он скосил заблестевшие по-собачьему глаза на корзинку, прерывисто вздохнул и певуче пустил вдогонку Фомину:

— O figlio mio, la strada della saluta e apperta per voi!¹

— Угу, — ответил Илюшка, — прощайте. — Завернул за угол и полетел, как на крыльях, с удовольствием ощущая тяжесть плетеной корзины.

Часа через два, когда барка Ковалевского уже отдавала швартовы, на пристани появилось трое носильщиков. Они принесли Ковалевскому подарки и письмо от Никола Уливи. Торговец живым товаром желал «сыну Севера» избавления от болезней и умолял черкнуть хотя бы два слова хартумским «соотечественникам», сохранившим о нем самые лучшие воспоминания. Егор Петрович растрогался и написал благодарственную записочку «уважаемому господину Уливи».

Как только записка была отправлена, барка отдала швартовы, и прости-прощай город Хартум.

Ковалевский и Бородин тихонько и устало переговаривались, лежа в низкой полутемной каюте. Путь впереди еще тяжкий: переход Нубийской пустыней, длительное речное плавание в Каир, морем из Александрии в Одессу, пусть многое еще впереди, но и Егор Петрович, и Иван Терентьевич почему-то уверовали, что теперь, миновав Хартум, живыми доберутся до дому.

¹ О сын мой, путь к спасению открыт для вас! (ит.)

Но вместе с этим чувством облегчения и радости гнездились в душе Егора Петровича грусть по оставленным навсегда землям африканских племен, по Али и Дашури, осиротевшим вновь, по реке Тумат, что в период дождей набухает мутными водами и несется с ревом.

Фомин тем временем забрался в укромное местечко. «Нету мочи терпеть до ночи», — складно бормотал он себе под нос, развязывая тесьму и запуская руку в мешок. Наклонив голову, как в дуду игрец, он прислушался к звону золотых монет. Две-три вытащил наобум, куснул зубом и удовлетворился: настоящие, чистые.

Эк, лихую штуку удрал он! Не зазря чертил в Кезане карту, покамест его высокородие с Терентьичем в отлучке были. А теперь пускай поп ищет ветра в поле. Срамота, а не поп. Удумал его, Илюшкину, душу грехом покрыть. Умный, умный, а дурак...

Илюшка улегся под навесом. Барку нес попутный ветер. Все дальше уходила барка вниз по Нилу, все дальше был Хартум...

А в Хартуме, в доме с верандой, где столь часто пьянствовали «соотечественники», метался Никола Уливи.

Получив записочку Ковалевского, он сличил почерк Егора Петровича с надписями на карте, переданной Фоминым, и жесткие седые волосы торговца поднялись дыбом. Почерки были разительно не схожи!

Правда, Уливи тут же спохватился: может, этот малый передал копию карты? Но еще раз взглянув на записку Ковалевского и прочтя в ней, что экспедиция доходила до восьмого градуса северной широты, убедился, что они с Рилло заполучили фальшивку. Черт побери, пометки — жирные крестики — были разбросаны по отрогам Лунных гор и на шестом, и на пятом, и даже на четвертом градусе.

Уливи забегал по комнате, расшвыривая стулья. Как быть? Устроить погоню? Сказать Рилло?

Он пропустил стакан, постоял и вдруг тихо сел в кресло.

Никола Уливи сидел в кресле и смотрел, как вздрагивает листва в саду под потоками дождя. Слуга скрипнул дверью, сказал, что ужин подан. Уливи не ответил.

Идти к падре Рилло? Он не станет огорчать умирающего.

Больше полувека падре дурачил других, а перед смертью одурачили падре. Погоня, убийство? Тьфу, какие страсти! Все куда проще: он, Никола Уливи, которого эти иезуиты держат на привязи, зная за ним кое-что предосудительное, он поедет в Рим и отвезет им карту. Пусть тешатся. Никола получит отпущение грехов, прошлых и будущих, а сверх того — что гораздо важнее — изрядную мзду. И какое ему дело до того, что карта неверная? Он мог бы и не знать этого. Не Рилло со своими попами догадался заполучить письмецо Ковалевского,

чтобы сличить почерки, а он, Никола Уливи. Вот так-то, господа, и не о чем больше думать.

Уливи поднялся с кресла и пошел ужинать, насвистывая баркаролу из «Фенеллы».

11

Давно уж оставили Африку Егор Петрович и два его помощника-уральца, а Ценковский, изучавший тропические леса на берегах Голубого Нила, с немалыми злоключениями добирался из деревни Росейрес в Александрию.

В Александрию прибыл он в конце июля 1849 года, совершенно больной и обессиленный. Дожидаясь парохода, чтобы отплыть если и не прямо в Одессу, то хотя бы в Константинополь, он остановился в гостинице, сожалея, что нет в Александрии ни друзей, ни знакомых.

В один из томительных и пустых дней в номер вошел молодой высоколобый человек с орлиным носом и густой шевелюрой. Ценковский взглянул на него с удивлением и вдруг признал: признал своего хартумского собеседника.

На лице же молодого человека при виде русского натуралиста отобразились такая растерянность и такое сочувствие, что Лев Семенович только руками развел и сказал тихо:

— Что поделаешь, друг мой: Париж стоит мессы.

Как и тогда в Хартуме, в саду Николы Уливи, они беседовали долго, доверительно и задушевно.

А потом Альфред Брем, путешественник и будущий автор знаменитой «Жизни животных», продолжая свои африканские заметки, писал в дневнике:

«Несколько дней назад приехал сюда наш старый знакомец из Судана — профессор Ценковский, посланный Петербургской Академией наук. Во время своего путешествия во внутренней Африке он терпел не только всевозможные неудачи, но еще самую жестокую лихорадку, которая иссушила его так, что едва можно было узнать. Неизбежный недуг Восточного Судана вовсе испортил ему здоровье. Кроме того, в Египте он потерпел кораблекрушение и потерял большую часть естественноисторических коллекций, которые он собирал так долго, жертвуя для этих сокровищ своим здоровьем и не раз рискуя жизнью. Я охотно верил его рассказам обо всех пережитых страданиях, потому что по опыту знал Судан с его адским климатом».

12

Пролог петербургской зимы уныл, как дворы-колодцы этого города. Кажется, нет ни утра, ни дня, а есть одни только сумерки. И в этих сумерках захлебываются водосточные

трубы, в этих сумерках слабо дымят трубы печные, а окна домов, как и глаза прохожих, слезятся, слезятся...

Петербург в конце октября никто не признает местом, врачующим недуг. Но врачует воздух родины. И Егор Петрович избавился от болезни. Он избавился от нее незаметно, словно бы потерял где-то, как теряешь носовой платок.

За окном зяб день, нахохленный, взъерошенный, как воробы на карнизах. Немало обреталось в Питере людей, впадавших от этих безнадежных сумерек в отчаяннейшую хандру. Но Егору Петровичу именно они, сумерки эти, были приятны: его зрение отдыхало от резкого пронзительного света и красок Африки, и это чувство «отдыхающего зрения» радовало.

Он работал неустанно, как нильские сакии, и, как некогда французский ученый Кювье, взбадривался переменой занятий. Статья о геологическом строении Нильского бассейна, потом очерк об Африке для «Современника». Рапорт об итогах экспедиции в Штаб корпуса горных инженеров, потом обработка метеорологических наблюдений.

Редакция «Современника» приняла его очерк с такими похвалами, что они почти могли бы заменить гонорар. Редактор журнала поэт Некрасов прислал письмо: «Ваша статья прекрасна и чрезвычайно всем нравится. Все жалеют только, что мало. Нужно еще».

Егор Петрович тоже думал: «Нужно еще». Правда, он не знал, кто напечатает его статью — журнал «Современник» или «Отечественные записки», но знал, что должен ее написать. И она, статья эта, должна прозвучать отповедью колонистам-европейцам.

На Петербург валил мокрый снег. Печь в комнате дымила. Егор Петрович отворил форточку. Простуды он не боялся. Когда так работается, никакая хворь тебя не берет.

Статью об африканцах он написал быстро, потому что обдумывал ее долго — и в Африке, и по дороге домой.

Берясь за перо, он вовсе не мыслил сочинить панегирик. Среди любого народа, любого племени были люди добрые и злые, поумнее и поглупее, с большими или меньшими достоинствами. Но белый всадник хотел защитить темнокожего человека от колонизаторов.

Чай стыл в стакане. Набросив на плечи форменный сюртук, Егор Петрович писал лист за листом.

«Понятие о красоте совершенно условно; предрассудки и навык глаза в этом случае часто вводят нас в заблуждение. Я не считаю себя совершенно лишенным изящного вкуса, тем не менее, однако, находил между неграми красавцев. Мы видим ниже описание их физических свойств. Говорят, что негры от рождения издают от себя им одним да некоторым животным свойственный запах. Странно, но это почти всегдашнее обвинение народа, который хотят унижить, уничто-

жить... В подтверждение такого обвинения приводят чутье собак, употребляемых для охоты за злополучными неграми. Не говорю о зверском обычае европейских колонистов, упражняющихся в подобном промысле, на который не решится негр, но замечу, что даже и в самом изобретении его мало остроумия; легко приучить по чутью узнавать невольника, потому что все негры натирают свое тело известным составом жира. Я знал одного француза, который приучил свою собаку отличать иезуитов и кидаться на них при встрече, это несколько потруднее...»

«Негр привык думать и размышлять; вопрос ваш он обнимает быстро; память его светла; скоро выучивается арабскому языку и вообще очень понятлив...»

«Своему развитию они обязаны доброй природе и врожденным способностям, которые у негров не только не ниже, чем у других людей, но выше, чем у многих...»

Черновик был готов. Ковалевский перебелил рукопись и отнес в редакцию «Отечественных записок».

Очерк напечатали. Вскоре один из читателей отметил в дневнике: «Прочитал «Негрицию» Ковалевского — весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен; когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народ на север от Греции самым климатом и своею расою осужден на рабство и варварство...»

Этого читателя звали Николай Чернышевский.

Немного времени спустя другой читатель — он, правда, предпочитал «литературу» иного рода, — узнав из официального донесения, что подполковник горной службы Ковалевский Егор вступился за поработенных, повелел посадить дерзновенного автора на гауптвахту, а после отсидки «иметь под строжайшим надзором».

Этого читателя звали Николай Романов.

СОДЕРЖАНИЕ

**ПЛАУ ВИНД,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕЙТЕНАНТОВ**

5

ИДИ ПОЛНЫМ ВЕТРОМ

143

РАССКАЗЫ

251

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАВЫДОВ
СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
Том второй

Редактор *И. Шурыгина*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Г. Шитоева*
Компьютерная верстка *А. Мынко*
Корректор *Н. Андреева*

ЛР №030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 04.04.96 г. Уч.-изд. л. 21,36
Цена 18900 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Д13 **Давыдов Ю. В.** Сочинения: В 3 т. Т. 2: Плау винд, или Приключения лейтенантов; Иди полным ветром: Повести. Рассказы. — М.: ТЕРРА, 1996. — 336 с. — (Большая библиотека приключений и научной фантастики).

ISBN 5-300-00485-5 (т, 2)

ISBN 5-300-00483-9

«Плау винд, или Приключения лейтенантов» — повествование о мужестве открывателей морского пути из Атлантического океана в Тихий океан, который зовется Северо-западным проходом.

Повесть «Иди полным ветром» рассказывает о долгом и трудном путешествии русских морских офицеров в устье Колымы. Главный герой этой повести — Федор Матюшкин, лицейский друг и однокашник Пушкина, человек бурной судьбы.

Третья часть книги — «Рассказы» — о наших соотечественниках, исследовавших Африканский континент, об африканской природе и о судьбах африканских народов.

Д 4702010000-256 Подписное
А30(03)-96

ББК 84.Р7

Scan Kreyder - 04.11.2019 - STERLITAMAK

